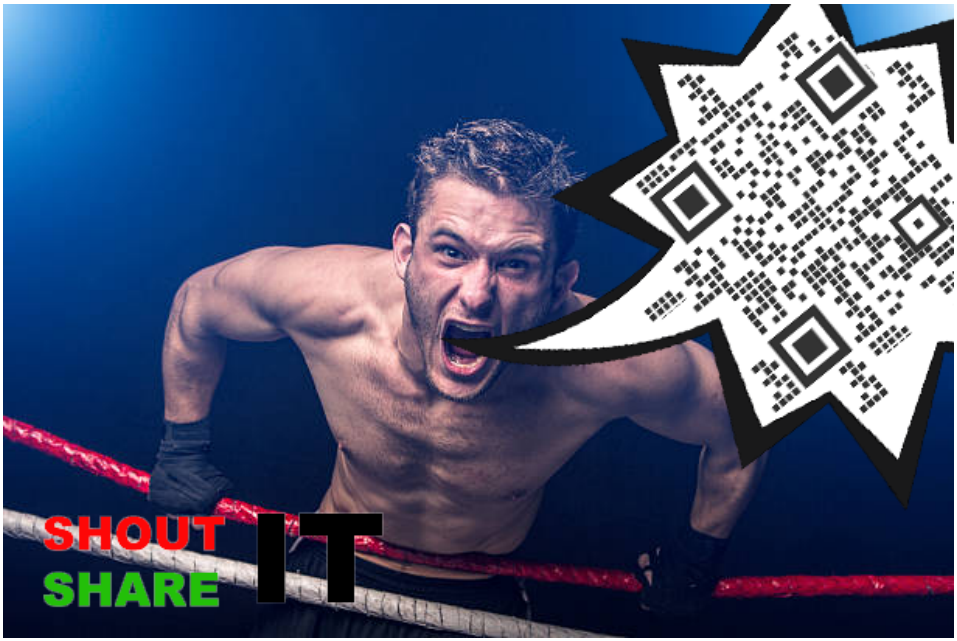
МАКС ФРАЙ + АМФОРА = ФРАМ

фрам представляет

ПЯТЬ ИМЕН • I


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В этой книге собраны тексты пяти авторов, чьи имена уже известны внимательному читателю антологий и сборников рассказов, составленных Максом Фраем. А невнимательному читателю эти имена, возможно, все еще неизвестны. Это досадное недоразумение следует исправить немедленно. Читайте же.

- Макс Фрай
  - Лена Элтанг
    - СКАЗКИ НОЛИ И КАТАЛИНЫ
      - je crois bien
      - О пожаре
      - История о бродячем цирке
      - Сказка про любовный амулет
      - Хуана и Гильермо
      - Про дух противоречия
      - Про Осу Беспокойства
      - История седьмая, самая длинная
      - ripeti ancora
      - Algiz e Mannaz
  - Лея Любомирская
    - Лавочки
      - Retrosaria[1]
      - Cafetaria[2]
      - Ourivesaria[3]
      - Livraria[6]
      - Ervanaria[7]
      - Pastelaria.[8] Fabrico proprio[9]
      - Papelaria[11]
      - Farmacia[13]
      - Loja de brinquedos[14]
      - Florista[17]
    - Соня Пиреш и К?
      - За дверью
      - Свидание
      - Лазоревые шуршики
      - Остров
      - Слишком личное
      - А теперь еще и самки
      - Луиш
      - Непарный элдер[19]
      - Ритиня

        - Жоаниня
        - Половинки
- Ольга Морозова
    - И зайчиха
        - Кот и плюшевая зайчиха
        - Я знаю, как это будет
        - На крыше
        - Шквар
        - Окно
        - Лев
        - Лягушка
        - Гештальт
        - Разговор
        - Ангел и совенок
    - Банальная истина
        - Атмосферное давление
        - Путаница
        - Играющие
        - Как солнце
        - Банальная истина
    - Герои нашего времени
        - Право на мечту
        - Варенье
        - В тумане
        - Такие, как я
        - Малыш и Эн
        - Маленькое переносное солнце
        - Bad Girls
        - Destination anywhere
        - Эшвиш
        - Та история
        - Пицца
        - Вышеград
        - Томасина Скай
        - Теплая метель
        - Посвящается тебе
- Н. Крайнер
    - Город
    - Линк
        - 1
        - 2
        - 3
        - 4
        - 5

- 6
- 7
- 8
- 9
- Эпилог

- Часть вторая
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - Эпилог

- Елена Некрасова
  - ВОВА ЧЕТВЕРОДНЕВНЫЙ
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - ГЛОССАРИЙ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18

- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23

Макс Фрай
ПЯТЬ ИМЕН - 1

Лена Элтанг

СКАЗКИ НОЛИ И КАТАЛИНЫ

je crois bien

Леандро звали именно так, и никак иначе, на простенькое Лео он не отзывался, а только поглядывал укоризненно, а поглядывать ему было чем — откуда у парня испанская грусть, не спрашивайте меня — но взгляд у Леандро был длинный, темный и немного безнадежный, как щель под дверью в комнату, где выключили свет. Натурально, если смотреть из освещенного коридора. Моего итальянского, почти похороненного под индо-европейскими тонкостями — а они, тонкости эти, что угодно похоронят, — на достойный перевод не хватило, и описание леандровых глаз так и осталось при мне… а ведь это могло изменить нашу жизнь, je crois bien.

Наши разговоры с Леандро начались утром в Ноли.

Спустившись к завтраку из своей узкоплечей комнатушки, я увидела пустую Reception и уличную дверь нараспашку, хозяин гостиницы еще не проснулся, а больше там никого не было. Кроме меня и моей кофейной ломки.

Это маленькая гостиница, сказала я себе, вернувшись через час с пустынного пляжа, с мокрыми волосами и отчетливым ощущением растущей кофеиновой дыры в подъязычьи, надо ждать, в Италии, а тем более, в приморском городишке, время должно плавиться с самого утра по направлению к сиесте, часа через два откроются кафе на набережной и ты получишь свою дозу. А заодно подсохший круассанчик. Здесь вам не тут.

Как только покорные эти слова пришли мне в голову, дверь на террасу распахнулась и появился хозяин в чем-то белом, распахнутом на груди, на ходу заплетая волосы в косу, и плавно устремляясь мимо меня к компьютеру, мерцавшему средиземноморской рябью на стойке рецепции.

— Чао, — сказал он, подняв руку в легионерском жесте, — Как ты спала?

Минут пятнадцать Леандро читал почту, шевеля медовыми устами. Ему, наверное, писали что-то смешное, и он посмеивался. Я не вытерпела, и, нашарив в памяти парочку неправильных глаголов, зашла за стойку и встала у него за плечом: Эй! Можно мне? Свою почту?

Хозяин поднял на меня глаза (см. начало текста) и, приглядевшись, устыдился немного. Ты хочешь кофе? Ragazza povera! — воскликнул он, уступил мне место за дисплеем,

выскользнул из холла и исчез на тысячелетие.

Вчера вечером, когда, расставшись со своими спутниками, я вышла из машины в Ноли, до сих пор не знаю почему, Леандро сидел на террасе с книжкой и смахивал на одинокого жильца какого-нибудь альпийского пансиона. Книжку эту я потом нашла на столе, с обложки мигали золотые фасеточные глаза, жизнь редких насекомых, говорю же — не без Набокова.

Увидев меня с дорожной сумкой у дверей гостиницы, он достал из кармана ключ, вполне годящийся для двери, нарисованной за очагом, и протянул мне, пробормотав цену комнаты. На сумку он просто махнул рукой: оставь здесь. Портье принесет, догадалась я. Но принес хозяин, у него не было портье. И уборщицы тоже не было. И повара.

Завтрак был резко не континентальным, так меня кормили на даче у бабушки, в малиновых садах детства, на сосновском направлении. Леандро резал овечий сыр, намазывал маслом разогретые бриоши, сворачивал салфетки, танцуя вокруг шаткого плетеного столика и рассказывал мне историю призрачного Ноли, свою собственную, за четвертой чашкой эспрессо, часам этак к двенадцати, своего трехлетнего сына — это уже назавтра, и еще две истории, соседские, через три дня, и еще одну, про людей, с которыми нельзя встречаться глазами в зеркале…но это позже, позже.

Кто же знал, чем все это кончится?

О пожаре

Наш город Ноли — это уже не Италия, но еще не Франция. Оттого люди здесь живут почти прозрачные и много колдунов. Так всегда бывает в местах, гда люди не очень-то могут обьяснить, откуда они родом. Вот ты поедешь дальше, в Ментону, в Антиб — там, да, Лазурный берег, шелковые зонтики, серебрянные ложечки. А у нас место мутное и опасное, сюда вообще никто не заезжает, все по скоростной дороге несутся, как тебя угораздило съехать, ума не приложу. Ну как ты ко мне попала, я понимаю, на вывеске свое имя увидела. Я ведь гостиницу недавно «Елена» назвал, после пожара. До этого она Ноли Реджина называлась, лет восемьдесят. А в прошлом году сгорела. Дом уцелел, а внутри ничего не осталось, даже мебель на террасе обуглилась, хотя весь день дождь шел. Вот ты сегодня на кровати спала с шишечками бронзовыми, да? это бабки моей, а стол вот с дыркой от зонтика — дядин, мне старую мебель в городе собрали, гостиница ведь работать должна. Как зачем? Мадонна! Это с виду только пусто, да ладно, долго обьяснять.

А сгорело все из-за Бригиты, из-за шведки.

Приехала она в июне, в самую жару, с мольбертом и стала виды рисовать. Студентка, ноги длинные, костлявые, волосы белые, совсем некрасивая — рагацца повера. Сначала на пляже сидела, у нас ведь горы цвет меняют, заметила? так это не от солнца, это от бабушки Кьязы настроения, ну, местные-то все знают, а она все светотенью восхищалась, а потом в городе принялась на стульчик свой садиться, посреди улицы прямо.

Я ей говорил, Бригите этой: осторожнее, у нас просто так людей нельзя на бумагу переносить, а тем более дома ихние, иди, рисуй эстрелиции, виноград на скалах, а синьору Чезаре не рисуй, у нее от этого лицо бледнеет с левой стороны и коса плохо заплетается, она мне сама говорила, ты же видишь, говорю у нас и фотографов нет, а ведь это дело куда безобиднее. Но она смеялась только, а зубы длинные, как у рыбы Сан-Пьетро, увидишь и спорить не захочется. Ну вот, рисовала она так с недельку, в кафе к Витторио ходила, спать с ним хотела, а Витторио, сакре ном, он такой, ему белые волосы только давай, сначала сюда к ней лазил, через ограду, потом на пляж водил, как бродяжку, потом рисовать себя разрешил, а потом вышел с братьями Тино рыбу ловить и утонул.

Синьора Чезаре ко мне пришла тогда, с мужем, и еще люди, давай, говорят, листочки эти, где они у нее лежат, не носит же она всю папку с собой. У синьоры Чезаре к тому времени цвет лица совсем пропал, она все за щеку держалась, но я их не пустил, не могу я, капити? что обо мне скажут? скажут: хозяин гостиницы девушку обыскал, пошел я на море, не могу ее найти, все скалы облазил, хотел добром попросить, а вернулся — гостиница горит.

Дождь идет, а она горит. Хочешь еще кофе, Елена?

История о бродячем цирке

Ты спрашиваешь, куда же делась Бригита? Этого тебе никто не скажет. Лет пятнадцать тому назад у нас целый бродячий цирк пропал, и то ничего.

Вот как это было. Приехали тогда с венгерским цирком три сестры (на самом деле они не сестры никакие, но так уж у них заведено, у цирковых), дрессировщицы льва (капити? у них был один лев на троих), в одинаковых алых плащах, расшитых стразами, одна — рыжая и две пестренькие, этакие перепелочки. Так вот, эти самые сестры понравились братьям Тино, а братья Тино, как раз, были настоящие братья — красавцы, низколобые, курчавые, с глазами, как у камышовых котов, итальяно веро!

старший Тино умел смеяться стеклянным смехом, как будто у него что-то крошилось во рту, младший издавал во сне невнятные звуки, по которым рыбаки узнавали место завтрашнего лова, а средний носил в кармане гвоздь, который в траттории забивал кулаком в стену, чтобы повесить свою шикарную куртку. И вот эти братья захотели девушек для себя.

Как водится у нас в Ноли, они пришли наутро к цирковым трейлерам с тремя букетами горной конопли и тремя тяжелыми кольцами, доставшимися им от бабушки, чувствительная была женщина, умела делать серебро из луковой шелухи и кораллы из рыбьих чешуек и, видать, еще кое-что умела делать, да так хорошо, что в юности увела у жены дедушку братьев Тино, поманив его пальцем в трех тяжелых кольцах, вот этих самых.

Что дальше было? Вызвали они девушек на разговор и все им изложили без экивоков. Дескать, станемте жить на берегу, глядеть в свинцовую даль зимой, летом пить вино на горячем песке, а также не ведать удержу и не чаять души. Ну уж нет, сказали на это надменные дрессировщицы, зачем нам три чернявых рыбака, когда у нас есть лев с золотой гривой и венгерское небо в алмазах. Подите прочь, сказали они, от вас пахнет вареными мидиями и сладострастием, а нам это вовсе ни к чему.

Братья спорить не стали, ушли и даже не обернулись на прекрасных венгерок, а вечером пришли на представление вместе с другими людьми и стали смотреть. Купол у цирка был тоже алый, шелковый, и держался на столбах, перевитых золочеными лентами, мольто белло, мольто бен тровато!

Выходят наши сестрички, им выкатывают клетку, а в ней лев — наголо обритый, забившийся в угол, в глазах ужас, а на хвосте алая ленточка.

И что с ним таким делать? Финито. Рагацци повери.

Зрители смеются, венгерки ругаются гортанно, директор цирка бегает вокруг клетки, машет руками, как итальянец какой…тут одна сестра, которая рыжая, вышла вперед, нашла глазами братьев Тино, это было просто — они ведь не смеялись, подняла левую руку и сказала им что-то тихое, очень похожее на проклятие.

Тут все замолчали и стали собираться домой.

А утром цирка уже не было, мы с Витторио приходили туда посмотреть, глупые мальчишки, ничего там не было, ни алого купола, ни трейлеров, ни клеток со зверями, даже трава не примята. Капити? Мольто, мольто страно.

А девушек кто-то видел потом, в Портофино, они на ярмарке пирамиду делали, на коврике, в розовых трико. Мадонна! не лей

ты это молоко в чашку, квесто э импоссибиле! дай же я тебе сделаю настоящий капуччино.

Сказка про любовный амулет

Вот ты говоришь — у нас много колдунов. Оттого, мол, к нам не ездит никто. Аллоре, я тебе раскажу, как на одного колдуна прошлым летом меньше стало.

Жила у нас девочка по имени Малина, красавица — волосы жесткие, попа большая, глаза, как лесные орехи — все на нее глядели с умилением и ждали, когда подрастет.

А дядя у нее был колдун, как и у меня, только рангом повыше: двухмачтовую шхуну мог завернуть нежелательную, скажем с грузом перца и шербета, он этим делом как раз торговал, или невесту в церковь из дома перенести, чтобы платье на жаре не помялось. Знающий был человек.

Однажды отправился он в Африку по своим бакалейным делам, а оттуда привез Малине амулет. Человечка каменного с большим хризолитовым сердцем, прикрепленным к разверстой груди. Купил в одном знакомом племени, специально для племянницы, которая в любовный возраст входила и уже вовсю по сторонам оглядывалась с вопросом в ореховых своих глазах, ну дядя и забеспокоился, капити?

Сердце у человечка прозрачным становилось, когда в дом достойный рагаццо входил, а если никчемный какой, то огоньками вспыхивало тревожными, очень удобная в хозяйстве вещь такой человечек.

Экко. Девочка его на буфет поставила и следила внимательно, первым делом позвала она в гости Эвересто, своего дружка детского, потом братьев Тино, одного за другим, потом Джино с улицы Дженова, ну…еще там кое-кого, а человечек исправно сердечком мигал.

Малина, конечно, веселого Джино больше всех хотела, у него руки и ноги были длинные, это в Италии редкость, а волосы цвета остывшего пепла, такое вообще только в Неаполе встретишь, но — вот незадача — человечку он не нравился, а нравился ему пикколо бамбино по имени Кори, живущий в нижнем Городе, равнодушный и пахнущий рыбьей чешуей.

Приходит Кори со своей лавандой — сердечко тут же цвет теряет, хоть гляди сквозь него, а божок африканский прямо светится весь, даже улыбается вроде.

Аллоре. Дядя его и приветил, Кори этого невзрачного, Малину даже слушать не стал, купили ей платье, расшитое лентами, золотые сандалии, колечко с монограммой, не прошло и

недели. Что ты думаешь? Малина ревет целыми днями, колечко даже примерять не захотела, вечерами в окно вылезает и на пляже с Джино милуется, уж больно этот Джино был ей хорош. Импоссибиле! Девочка из хорошей семьи, так и честь улицы можно уронить, не говоря уже о всем квартале Ди Дженова, рассердился дядя, привязал Малину к кровати и до свадьбы велел привязанной держать. Кормила ее нянька старая, с другого конца улицы приходила, скампи приносила, холодное соавэ, даже зуппо ди песче в фарфоровом горшочке, но девчонка ни в какую, смотрит в сторону, рта не открывает, веревки ногтями царапает, девочка из Ноли! гордячка, не чета всем этим миланези, так нянька все и сьедала сама, дяде сказать боялась, пока Малина не умерла.

От голода или от злости, этого уж никто не знает.

Потом оказалось, что амулет этот погоду предсказывал, а не любовь никакую.

Перепутали в Африке дядины знакомые колдуны.

А пикколо Кори был рыбак, и в гости приходил, когда в море не получалось, надо же чем-то заняться, ежели работы нет.

Штормовое предупреждение был этот амулет, капити? Ну не плачь, бамбина, это же давно было, прошлым летом, чего уж там теперь. Возьми вот булочку с джемом, она еще теплая.

Хуана и Гильермо

Тебе девочку Малину жалко, да? Не жалей, она попала в рай для обиженных, а там хорошо, скучновато только. Откуда я знаю? Так от Гильермо же, он всему кварталу рассказал, когда во сне являлся. Это сосед мой бывший, сын старого дона Ведардо, который всему Ноли вязал узелки на память, трудная работа, мольто компликато, но почетная. Гильермо к нему и приходил после смерти, только перепутал что-то и приснился всему кварталу ди Дженова. Инкредибильменте, какие бывают штуки!

Парень он был видный, одна беда — женился второпях, привез себе оливковую невесту из Санта-Риты, что в Андах. Мало того, что она говорила сама с собой, как это делают запойные пьяницы, так еще и в фиолетовой альпаке ходила, мольта претензионе! так у них там ходят в Санта-Рите, да что там альпака, только от ее тягучего взгляда женщины обмирали, а мужчины подбирались, впрочем, ты не поймешь, писеллино, не будем об этом.

Аллоре, наш Гильермо ее на улице увидел, когда в Санта-Риту по торговым делам приезжал, и так он ее захотел, что в тот же день к отцу явился, а отец этой самой Хуаны был известный

пиштако, это вся деревня знала, но приезжему, натурально, не сказали. Откуда ему было знать, бедолаге, что папа невесты промышляет на дорогах, отнимая у прохожих витальную силу, которая, по ихнему, содержится в жире, а вовсе не в крови, как думаем мы в Ноли, а потом ее пускает на металл для колоколов (очень звонкие получаются колокола), а мамочка зарабатывает тем, что гадает на внутренностях пустельги и лечит пеонов, проводя морской свинкой по животу и спине.

Привез наш мальчик свою Хуану домой и стал друзьям показывать, такой имбециле! иступидито! смотрите, говорит, какая грудь, какая попа, а медовые глаза какие, Хуана, посмотри сюда, подними юбку, развяжи вот тут, ну друзья, натураллементе, смотрели и радовались, а жена Гильермо все делала, как он говорил. Я там тоже был, помню ее грудь, кози-кози, ничего особенного, соски, как тутовые ягоды, и пахло от этой Хуаны скипидаром, а вовсе не эвкалиптом, как Гильермо утверждал, инесперто! да что там, разве нет хороших девушек в Ноли?

Ну что тебе сказать? Кончилось все тем, что Гильермо ее застукал.

Капити? чего еще ждать, когда раздеваешь свою женщину на глазах у всех рагацци, нашел он ее на заднем дворе с молодым Филиппо Тино и сильно побил, очень сильно, так, что кожа сошла с ее оливковой спины, а медовые глаза покраснели, как от маисовой чичи, это они там пьют такое в Санта-Рите.

Тут-то все и началось. Хуана пожаловалась папе, написала ему в тот же день, полила письмо слезами, тот приехал и долго под дверью стоял, не пустил его Гильермо, а потом плюнул на крыльцо и посыпал чего-то из горсти.

Встреться, сказал он, теперь и ты со своим зверем. Сказал и уехал.

Потом уж мы узнали, что заклятие это было простое — каждый раз, как посмотрит Гильермо на другую женщину и пожелает ее в сердце своем, то сразу на палец в землю врастает.

Надо ли говорить, бамбина, что через неделю от Гильермо одна голова осталась.

Так и торчала она из земли последние два дня, пока через двор Ведардо не прошла соседка, синьора Дионисия, с корзиной белья, она его брала стирать у старого дона, и вот, принесла обратно, качая крутыми своими бедрами, и ведь некрасивая даже, бруттина, только и есть, что бедра, но хватило и бедер, чтобы Гильермо совсем провалился.

Спрашиваешь, зачем он потом к отцу приходил? Это теперь весь квартал знает: просил, чтобы Хуану домой отослали, не может он, дескать, смотреть, что она в его доме вытворяет, и не

смотреть не может, такой вот рай для обиженных, с окошечком, семпре ла солита сториа, теперь и ты знаешь, Елена, посмотри-ка, дождь кончился, самое время искупаться, андиамо, белецца! суль трамонто делла вита.

Про дух противоречия

Вот ты над именем Леандро посмеиваешься, говоришь, отдает Декамероном? А как бы тебе имя Горацио понравилось? Горацио, по прозвищу Да.

Так его еще со школы прозвали, дружка моего, оттого, что слово нет он никому сказать не мог. Никогда не мог, капити? Такой вот рагаццо эластико.

Работал он на складе у купца Ченти, счетоводом, рыбу принимал у рыбаков, всего и дел-то — записывать цифры в столбик, а рыбаки эти, что же? тряхнут, бывало, у него перед носом скользкой связкой дорадьих хвостов, чешуйками блеснут жалобно, на жизнь поплачутся, наш Горацио и спекся, бене, говорит, амичи, и пишет, что просят.

А хватится хозяин — недостача, тут уж доброму Горацио из своего кармана платить приходится, очень это жену его, Филомену, расстраивало. И это бы еще ничего, только ведь он и жене отказать не умел: повернется к нему ночью томная Филомена, он и старается, пыхтит, бедолага, хотя ни любви, ни огня в нем на мизинец нету, одна усталость плитой на ключицах. А Филомене любви и огня хочется, чтобы все, как у людей, а не от безотказности. Вот и пошла синьора к колдуну, накопила сорок тысяч лир и пошла. Женщина она была недалекая, корпулента э пиньола, Ганса Касторпа аптечной фирмой считала, а смуглую леди сонетов — рекламой загарного крема, чего уж там, такие и в колдунов верят, феномено нормале.

Что дальше было? Аллоре. Дал ей колдун длинную булавку серебряную и говорит: это, говорит, синьора Филомена, не просто булавка, а Дух Противоречия, суть мужского естества, магиа, говорит, бьянка э натурале. Когда твой муж более всего покорен и тих? Ночью, в постели? Мольто бене. Воткнешь ему булавку в лацкан пижамы, но только один раз! а там уж сама увидишь, что делать.

Так она и поступила. Наутро Горацио Да, проснувшись, первым делом пощечину ей залепил, дескать, постель несвежая, кофе холодный и в доме пахнет вчерашним ризотто, но Филомена, знай, улыбается: мужчина в доме! так и вьется вокруг него, рагацца повера, ирритата…только до любви в тот день так и не дошло, вернулся Горацио с работы, с рыбаками всласть

наругавшись — вот уж они удивились! — да и спать в чем был завалился. Ну, подумала синьора, значит, мало было первой дозы, но ведь помогает, допо тутто! и — еще раз ночью булавку в лацкан воткнула. Заворочался Горацио, всхлипнул, но не проснулся, а уж проснувшись — пошел в свой сарайчик, затащил туда малютку Пердиту, хозяйскую дочку, изнутри дверь столом рабочим припер, и — давай ее, дочку эту, по всякому вертеть, да по разному прилаживать, бамбина про торговлю и думать забыла, к вечеру только Горацио из сарайчика вылез, рубашку в штаны заправил, сплюнул длинно в сторону моря и домой пошел, из фляжечки потягивая.

Ну что тут сделаешь? жена, натуралементе, принюхалась, губу прикусила, ладно, думает, си аспетта, начались волшебные фокусы, издержки прекрасной метаморфозы…это я с диалетто локале тебе, Елена, перевожу, а что она на деле подумала, ты все равно не поймешь.

Говорить ли тебе, что в третий раз синьора с булавкой в спальню пришла? Теперь уж, думает, естество это самое, Дух Противоречия, в нем точно проснется, а тут как раз я стою, в тонкой рубашке с воланами, погляди же на меня, адультеро ты этакий, ненаглядный изменник!..кольнула было в лацкан, да только встрепенулся Горацио Да во сне, протянул к ней жадные руки, Пердита, бамбинелла миа! прошептал, глаз не открывая, и — покачнулась Филомена, не удержалась, воткнула булавку между пижамными пуговицами, между курчавыми кустиками, прямо в сердце.

Наутро столько шуму было в доме у синьоры, квеста мелодрамма! квеста конфузионе! столько слез, что никто пропажи не заметил, а булавку-то серебрянную сорока утащила, и в гнезде спрятала, под крышей у прачки Дионисии, вот уж потом житья от нее, Дионисии этой, всему городу Ноли не было, пока не узнали в чем дело…но это уже другая история, ди пока импортанса, совсем другая история.

Про Осу Беспокойства

…но это бы все ничего, а вот с племянницей её, Франческой, и вовсе конфузия вышла, расскажу тебе, слушай.

Была у нее, Франчески этой, привычка с малолетства — сидеть с открытым ртом, вроде как задумавшись, так она и девушкой став, часто посиживала, и вот в этот самый рот к ней однажды не то пчела, не то муха залетела, прямо в этот, как его, аппарато респираторио. Вскрикнула Франческа и крепко рот

захлопнула с перепугу.

Тут-то все и началось. Стали в городе всякие вещи твориться, даже нам, местным, ко всему, как ты знаешь, привыкшим, непонятные. То, понимаешь, все циферблаты на городских часах возьмут и запотеют (а это Франческа, анима семпличе, в слезах проснулась), то все бакалейщики заснут одновременно, так что ни сахару не купишь, ни соли (а это Франческа за расческу взялась и волосок больно выдернула)… да что там — стоило ей однажды за вишневое дерево в мамином саду приняться, тут же во всем Ноли отсырели спички, и, пока она с тяжелой корзиной из сада не вышла, ни одна хозяйка не могла плиту разжечь, а рыбаки без курева чахли, кроме, разумеется, тех, кто в море.

Не сразу мы догадались, в чем тут дело, ке дьяволериа э квеста! а уж когда догадались, стало Франческе совсем туго.

Нечего и говорить, что никто ее в жены брать не собирался, хотя до этого очень даже поглядывали, такой вот случай сфортунато э фатале.

Так бы и тянулось, наверное, до сих пор, когда бы не дон Эса с Каброры, энтомолог мольто селебре, хотя ты, небось и не слыхала, персона синификанте, к тому же — собиратель халдейских рукописей, говорят, некоторые он даже прочел.

Приехал дон Эса в город Ноли, прознав про наши чудеса, поселился в моей гостинице, натуралементо (тогда как раз кофейные зерна горчили, оттого что Франческа с доньей Филоменой в лавке поругалась) и сразу, в первый же день, сказал, что знает в чем тут дело. Так и сказал, на этой самой терассе, где мы с тобой нынче сидим, с торжеством в голосе, похожим на визг старой мельницы, на слушателей поверх очков глядя и головой, похожей на перезревший плод, покачивая.

Фань гун цзы син, как говорят китайцы, ищи в самом себе! — сказал он, это в вашей барышне не пчела и не муха никакая, а всамделишная Оса Беспокойства, я за ней всю жизнь гоняюсь, в моей коллекции как раз такой и не хватает для полного моего энтомологического счастья. Берусь, сказал дон Эса, вас от напасти избавить, и необьяснимое в городе под корень извести, то есть совершенно безотказный Способ знаю… только вряд ли на это семья Франчески согласится, потому как способ этот мольто специале, я о нем в старых книгах вычитал и сам еще на практике не испытывал.

Что же это за способ, что за траттаменто такой, спросили дона Эсу, а он возьми и скажи: Осу Беспокойства из девушки только так достать можно, что после этого на ней жениться придется непременно и сразу. Впрочем, я готов и заранее жениться, уж больно мне эта штука для коллекции надобна.

Фаи коме креди, сказали ему, подумав, жители Ноли и, Франческу не спросив, отдали ее старому дону Эсе, не прошло и недели. Надо ли говорить, что на свадьбу весь город собрался, фар сенсационе! рисом и конфетти бросаться, на заплаканную малышку с умилением глядеть да граппу ди барбера всю ночь потягивать, капити? в ожиданьи избавленья. Все торговцы пришли, все рыбаки из Нижнего города, даже жена ревнивого дона Борсалино, который ее взаперти держит, через окно выбралась, даже столетняя донья Корсо, у которой такой большой горб вырос, что она со времен Монте-Кассино в постели обедает, а обед ей из лавки на веревке в корзине доставляют, короче — все пришли, ведь радость какая.

Не прошло и двух часов, как дон Эса с молодой женой в спальню удалились, а вот уж он и сам вышел — с румянцем на скулах, мольто станко, мольто рапито, видать непросто ему дался старинный халдейский метод — в руках коробочку сжимая, маленькую такую бонбоньера, вот, говорит, ваша Оса, больше ей вас не мучить, на булавку ее и под стекло! и коробочку показывает, высоко над головой поднимая, как кубок на регате, что мимо Ноли каждый год на всех парусах пролетает.

Зашумели гости, стали дона Эсу славить, кьянти ему наливать, даже качать хотели, да тут, как на грех, пьяный Филиппо Тино заявился, в двуцветных штиблетах и с угольной гвоздичкой в петлице, ему-то там быть и вовсе не следовало, потому как до всех несчастий он Франческу на танцы в Аредатто водил и леденцы ей за щеку совал… что и говорить, темпераменто интраттабиле, подошел он к дону Эсе и поглядел ему прямо в лицо, а с чего это, говорит, мы тебе верить должны, старый джиоттоне? может ты нашу глупышку аппетитоза за просто так два часа старыми костями своми мучил? может ты нам голову морочишь, показывай давай Осу! не то мы с братом тебя в осиное гнездо голой задницей очень даже сунем! такой вот грубый Филиппо, капити?

Ох, как обиделся дон Эса, квеста оффеса! весь побелел, затрясся, коробочку приоткрыл и под нос Филиппо сунул, смотри, говорит, чтоб она тебя, дурака, за нос цапнула! а из коробочки только вжжик! и мелькнуло что-то, маленькое, быстрое, золотистое…все только ахнули, а старая синьора Корсо быстро рот захлопнула.

Что тебе сказать? сильно жизнь синьоры Корсо с того дня изменилась. Но это, как ты, понимаешь, другая история. Совсем другая. К тому же, дождь кончился. Андиамо, Елена.

История седьмая, самая длинная

…Вот ты говоришь, Елена, сиеста наша в Ноли тебя утомляет, лавочки закрыты, сигарет не купишь, в кафе не посидишь, а сядешь, так не дозовешься никого, дремлют в тенечке, под полосатыми тентами, спать на жаре — итальянская наука, тут не поспоришь. Но вот что я скажу тебе на это, кариссима, захочешь кофе в полдень — зайди в кондитерию к дону Джаге, он никогда не спит, разве что ночью, но ночью спать — не итальянский обычай, дон Джага свистит на кухне и знай себе печет булочки с кардамоном, дона Джагу все знают, это ведь тот самый кондитер, что сонное наследство получил, да только без толку, или, как говорила синьора Кьяза:

даль дире аль фаре
се ди меццо дель маре!

А дело было так, Елена, садись поближе и плесни-ка мне из вон той запотевшей бутылочки, и себе плесни — станет нам прохладно, как в погребе у доньи Кьяры, торговки вином, той, что прошлой осенью спускаясь за бочонком цветочного, подскользнулась на темной лестнице и упала, что-то в ней не то хрустнуло, не то оборвалось, и — что ты думаешь? — вскоре пришли к донне Кьяре черные мысли, хотя доктор из Монтаньи твердил, что вот-вот заживет, надо только поглядывать на образок и прихлебывать медовый отвар пополам с граппой, да только ничего не заживало, и вот донья Кьяра послала за доном Джагой, а он ей племянником приходился, выставила всех из спальни и говорит ему: возьми у меня, каро мио, под подушкой одну вещь, это будет твое наследство, пер аморе о пер сфорца! пошарил Джага под подушкой, а там — шкатулка, тяжеленькая такая, медными гвоздиками клепаная, здесь говорит ему Кьяра, не записки любовные, не рецепты, ты не думай…здесь голубые диаманты хранятся, я их от своей тетушки получила, она от своей, а взяты они из тех даров, что волхвы приносили сам знаешь кому, да только открывать не торопись, на них заклятие положено: чтобы камушки достать, надобно сиесту на них провести, под подушкой уложив, переспать сладко, без просыпу, но не просто так, а с женщиной в обнимку, и женщина не все равно какая должна быть, а такая, что уно — тебя любит и дуэ — тебе не врет, иначе все они в пепел превратятся, голубой и бесполезный, капити? а теперь бери и топай домой, да подумай хорошо, бамбино, не торопись, сказала так и умерла тихонько, а дон Джага домой пошел с наследством под мышкой, да чего там домой, к своей невесте прямо и пошел, по дороге размышляя, какое кольцо он ей закажет с диамантом цвета полдневного моря,

как у синьоры из Генуи, что виллу на берегу снимает, и какая у них будет вита феличе непременно, семпре эччелента.

Ну что тебе сказать, пришел дон Джага к Мариучче, рассказал ей все, медными гвоздиками похвастался, мол, собирайся, а то солнце, гляди-ка, уже в зените, пора нам в спальню, халдейское заклятие снимать, а вечером тетушку красным вином помянем, андиамо, Мариучча!

Мариучча как стояла, так и села, рот открылся, пальцы в клубок сплелись.

Кариссимо, говорит, плохи наши дела…лгать я тебе, правда, не лгала, потому, как не приходилось пока, а что касаемо любви, так весь Ноли знает, что я с тобой через силу помолвлена, а люблю кудрявого Бартоломео-жестянщика… квесто э сегрето ди Пульчинелла! не станем же рисковать, диамантов жалко… попроси кого-нибудь другого, говорит, и заплакала, ди тутто иль куоре.

Пошел было дон Джага домой, мольто меланколико, голову повесив, но тут в нее, в голову эту, такая мысль пришла — мамма миа! не медля направился бедняга в соседний Портофино, к матушке своей, достопочтенной донье Пьетре, застал ее, натуралементе, за вязаньем, на пороге, давайте, говорит, мама, в вашу спальню скорее пойдем, задернем плюшевые шторы в цветочек, за которыми я в детстве плакал, ляжем рядышком, как бывало, скорее же, скорее, пока сиеста не кончилась, андиамо, мама!

Донья Пьетра, как сидела, так и встала, рот скривился, клубок из пальцев выпал.

Деточка, говорит, ти амо мольтиссимо, люблю, мол, и не сомневайся, только вот со вторым пунктом загвоздка выходит, тут я тебе про отца рассказывала, рикорди? мол, он честным католиком был, и на лодке, полной рыбы, в бурю перевернулся, так вот, это не совсем так, видишь ли. Ох, не гляди ты на меня так фуриозо! все равно скажу — я твоего папу один раз только и видела, на карнавале в Рапалло, и был он заезжим сефардом-аптекарем, а не пескаторе никаким, так что диамантами рисковать не станем, и все тут, ин уна парола.

Что тут скажешь? а вот что сказала донна Пьетра, наглядевшись на совсем уж убитого дона Джагу: помнишь ли ты, бамбино, рыжую малютку Инесе, с которой в детстве обдирал соседский тутовник? сдается мне, она по тебе до сих пор сохнет, а врать ей вроде и незачем, так ты пойди к ней, попробуй, тутти и мецци поссибили, любые средства в ход, значит.

Что дальше было и так ясно — пришел дон Джага к Инесе, сунув душистый аморино в петлицу, не успел на порог ступить,

она ему на шею кинулась, дио мио! плачет от радости и бьется в руках, как рыба на портовом прилавке, за руку в спальню тащит, на ходу рубашку расстегивает, поверишь ли, какие дела творятся, инкредибиле! засунул было дон Джага шкатулку под Инесину подушку, да только поглядел на часы — ан, глядь, стрелка на четырех, опоздал, финито! ну, думает, ничего, завтра женюсь на ней, а там мольто семпличементе, шкатулку откроем, диаманты как засияют, как… ну, что ты так смотришь, Елена? передай-ка лучше сыру, молодое вино горчит, первые полгода дон Джага заснуть совсем не мог, ни в сиесту, ни даже ночью, больно уж горячая женушка ему попалась, мольто пикканте, мольто арденте…а по условию халдейскому спать нужно было непременно без просыпу — дормире ла гросса — уснешь тут, как же, даже с лица спал, бедняга, а в юности был такой пуритано! Экко. Лет пять с тех пор прошло, ферворе их любовный поутих должно быть, да только теперь дон Джага в сиесту вовсе спать не ложится, воленте о ноленте!..дескать, боится, проснувшись однажды с женушкой, пепел в шкатулке обнаружить, голубой и бесполезный.

Ну и чего ты смеешься? говоришь, лукавая была у парня тетка? если и так, что с того — зато у дона Джаги в кондитерии всегда свежие булочки с кардамоном, в любое время… а так попробуй в сиесту найди, не дозовешься никого, дремлют в тенечке… спать в жару — итальянская наука, капити?

ripeti ancora

У нас в Каталине знаете ли, чудес не бывает, не то что в Ноли, или там Рапалло, вечно у них то осу сумасшедшую из девчонки достают, то львов венгерских налысо бреют…а у нас народ серьезный, женятся только на своих, колдуны-то от пришлых рождаются, или от аптекарей, а у нас таких не водится, мы сами справляемся, капити? заболел, например, зуб — первым делом ловишь живого краба, правый глаз у него вынимаешь и к зубу прикладываешь, а краба отпускаешь, только там же, где нашел, не то средство не подействует, ни-ни! а от головной боли у нас январским воздухом лечатся, его хозяйки зимой ломтями режут и в бочках запасают, если же кто животом мается — надо большую цикаду подстеречь и поцеловать, но непременно в губы! правда, если прижало где побольнее, тут уж без колодца не обойдешься…на площади у нас колодец, видели? туда листья сухие сбрасывают, мертвое время и все такое прочее, так вот в него, в колодец этот, спуститься надо, и оттуда на дневную луну посмотреть внимательно, все и пройдет, вылезать только трудно

потом, стены гладкие, не у всех получается.

Экко, все у нас хорошо в Каталине, одно плохо — порто неро совсем перевелись.

У соседей в Альфиери их хоть уполовником черпай, а у нас был один почтальон хромой, да и тот под високосную лошадь попал, а еще говорят, что порто неро триста лет живут, вранье бессовестное, а похоронили его под гладкой доской без надписи, имени-то не знал никто, потому как нельзя их по имени звать, не любят они, а если на улице встретишь — пальцы рожками выставляй скорее или уж в кармане крестиком сложи, иначе беду накликаешь, ну да вы сами знаете… а какая, спрошу я вас, деревня на Сицилии без порто неро? церковь есть, джоиллерия есть, даже сборщик налогов есть, хотя его никто не видел, а порто неро нету ни одного, непорядок.

Бене. Стали мы по сторонам оглядываться.

Может, думаем, лишний где обьявится — поискать надобно, должность-то хитрая, старинная, кого попало не назначишь. Месяц, другой оглядываемся — никого, совсем было мы огорчились, а тут мальчишка один возьми да и нарисуйся…утром еще и духу не было, а к вечеру уже всем примелькался — на островного даже издали не похож, волосы, как пепел с паприкой, нос стручком ванили, ноги чаячьи, а глаза все будто к вискам завалиться норовят — так вот, бамбино этот вечером на площадь пришел, в кафе у дона Семпре на плетеный стул сел, прямо как взрослый! хочу, говорит, у вас порто неро послужить, а то слух прошел, неувязка у вас с этим делом.

Гляжу я — рагацци наши будто онемели, вот же нахал! импоссибиле! а тут как раз донья Агнеса мимо шла, остановилась, руки в бока свои тугие уперла и давай возмущаться — посмотри, говорит на себя, ну какой из тебя порто неро? тот ведь только искоса поглядит — и шлеп! как мокрой тряпкой по лицу, а у тебя ухмылочка неуверенная, только и всего, опять же изьян должен быть непременно, вот и почтальон наш с палкой ходил, альфьерский мусорщик заикается до слез, а бакалейщик в Сиракузах так тот вообще горбун, а с тебя какой толк? ты небось и порчу наслать не мо…тут она будто поперхнулась, за карман передника схватилась, а оттуда маленькие слоники как посыплются, как побегут в разные стороны, с мизинец мой примерно, розовые, тяжелые с виду, у бабки моей Виргинии точь в точь такие на камине стояли…разозлилась Агнеса, хвать большою своей рукою мальчишку за ухо и давай выкручивать, а ухо хрусть! и в руке у нее осталось.

Зашевелились рагацци тогда, зашумели, чего же еще, говорят, ну — не красавец собою, так не в воду же его бросать, хотя есть

еще способ старый — в мешок с кошками засунуть и шиповником сверху похлестать, только кто же возится станет? экко, к вечеру мальчишка должность получил, накидку черную и ключи от медзоджорно…а! про медзожорно-то вы и не знаете небось, это ящик такой, в него у нас в Каталине записочки бросают, если кто чего плохого кому пожелает, ну там, чтоб деньги в доме взяли вдруг и кончились или чтоб дочка за миланца выскочила, что по чести сказать одно и тоже, как ни крути.

Напишут, фантиком свернут и кидают в щелочку. Вроде как почта такая. Иногда сбывается.

Если порто неро в ящик заглядывает, если не лень ему. Ну, новенький наш во все углы заглядывал, так и мелькала пепельная голова по Каталине, даром, что одноухая… каждой винной бочке затычка, каждому конопляному корешку вершок.

Дело это было в агосто, а к концу сеттэмбрэ народ странное замечать стал, слухи разные пошли. Вот, скажем, донья Берга в ящик записку бросила — хочу, мол, чтобы у соседа моего негодяя Жильи крыша прохудилась и в тот же день дождь бы сразу пошел, и шел бы сорок один день без передышки, и что вы думаете — через неделю грандиссима дыра в крыше у Жильи образовалась! как раз когда худая жена его Тинтина в спальне с заезжим аптекарем заперлась, подвязки от депрессии примерять, как хлынуло им на постель, как полилось отовсюду, как завертело по комнате все аптекарево барахло…на улицу выплеснуло и еще несло до самого колодца на площади, ну, вы знаете до какого.

Молочник Жильи от жены своей уж не чаял избавиться, а тут — квеста оказия! — живо к мамочке отослал, в полном своем праве потому что. Или вот еще — дон Латтайо ростовщику Фрателло никак не хотел трэ мильони дуэчентомила долгу отдавать и такую записку написал: хочу, чтобы у Фрателло начисто память отшибло, чтоб даже имени своего не помнил, не то что трэ мильони сосчитать в кассе недостающие. Прошла неделя — Фрателло в конторе своей не появляется, фарфоровый маятник в наследных часах не постукивает, в чернильнице стрекоза утонула, забеспокоились в Каталине, зашептались: убийство? адультеро? отыскали — сидит себе на пляже босой, ухмыляется, сигаретки скручивает, мне, говорит, от вас ничего не надо, ну и вам от меня…море челестэ, песок джалло…сердце, говорит, пьяное от страсти, своему паденью радо…низко пав, оно основу под ногами возымело.

Что тут говорить, когда театр из Таормины приехал, а там герой-любовник Пелетьери, вечно инаморато, вечно под шафэ, шляется по Каталине, красоток на кружку граппы зазывает, в трейлер свой тесноватый, где на стенке Офелия с васильками

намалевана, хотя — тьфу! смотреть не на что — глаза бесцветные, как морская вода зимой, волосы как гусиный пух, вечно торчком, северянин, одно слово, одна радость — бассо-остинато такой, что на Мальте слыхать

Правда, синьорины наши очень даже соглашались, шестерых знаю, по крайней мере…квеста сенсационе! вот когда записки-то посыпались в медзожорно декабрьским дождем, столько работы у новичка одним махом скопилось, что он неделю носу из казы не показывал.

Поди тут разберись, когда все шестеро просят седых волос и усохшей груди для соперниц, а малютке Пелетьери желают смерти или, в крайнем случае, чтоб был только мой! ох, то есть только их…тут даже опытный порто неро растеряется, а уж новенький и подавно.

Однако и недели не прошло, как театрик обратно в Таормину засобирался, оранжевый купол быстренько свернули, трейлеры один за другим отьезжать начали, уно, дуэ, трэ! и нету никого, финито. Прибежали девушки на поляну, а там только трава помятая. На траве, правда, коробка картонная, вроде из под пива, а в коробке дитя плачет, волосики, как гусиный пух, глаза цвета зимнего моря еще не открылись толком, зато голос подает басовито, ни с кем не спутаешь. Надо ли говорить, что шестеро гневных красавиц ловко меж собой договорились.

Люнеди, мартеди, мерколеди…сабато. А по воскресеньям дитя у доньи Агнесы в парикмахерской пребывало, с папильотками забавляясь, весьма собой довольное и вечно в алой помаде с ног до головы.

Мольто, мольто бене! сказали на это каталинские рагацци, а те, что постарше, только головами покачали. Осень кончилась, дженайо наступил, а порто неро наш все суетится, все чужие каштаны из жаркого пепла таскает, небесные свары улаживает, совсем в Каталине тихо стало.

Раньше, бывало, поссорятся два благородных дона из-за полосатой юбки, и понеслась кровавая фильма с поджиганиями, успевай только смертельные новости слушать на рынке Доменико…или, скажем, воду в фонтане кто-то втихомолку спустил и все монетки серебрянные со дна-то и выгреб, вот потеха разбираться! все своих бамбини выгораживают, на чужих пальцем показывают, народу на площади как во время карнавала, или вот еще…э! чего там говорить, заскучали мы понемногу, никто и не удивился, когда порто неро вдруг исчез в конце феббрайо, в середине високосного дня.

Будто и не было.

Потом уже, весной, когда колодец чистили, сами знаете

какой, он, натурально, там и оказался, мертвенький порто неро, безымянный. По голове одноухой опознали.

Видать, сильно его прихватило, коли в зимний колодец полез на дневную луну смотреть, это ведь средство сильное, мольто компликато, вот если бы зуб, например, у него заныл, так и что? вышел на пляж, поймал сонного январского краба, и дело с концом, или вот, скажем мигрень… хотя донья Агнеса и говорит, что он из любопытства туда залез, мертвое время поворошить, что до меня, я так понимаю — через край перегнулся, подскользнулся и сам по себе упал, бедолага.

Что я говорил? А! какая же, говорю, деревня на Сицилии без порто неро? Непорядок. Мольто странно. Вот и стали мы снова по сторонам оглядываться.

Algiz e Mannaz

У нас в Каталине, знаете ли, чудес давно не бывает, не то что в каком-нибудь Рапалло или в Ноли, хотя я уже это говорил, кажется.

А вот раньше — раньше да, бывали чудеса, небольшие такие, деревенского значения.

Тетка моя, Агата, рассказывала всякое, когда я баловался и спать не хотел. Про ворона, что ночью у одного грека изо рта вылетал, это его, грека, душа была, только она не всегда возвращалась вовремя, и грек тогда в кровати лежал и ждал с открытым ртом, и про желудь, который в кармане нужно было носить, чтобы не состариться, его еще крали все друг у друга, много синьор тогда перессорилось, но состарились все все равно, ун казо страваганте! и про то, как грехи за умершими с красным вином допивали, и как дочку аптекаря от кашля лечили, голову ей побрив и волосы на кустах развесив, а она от этого внезапно замуж вышла — так и венчалась лысая, нон э тутто! еще про неразменный динарий, от которого у всех в деревне деньги завелись, только вот незадача — плотник Габбаре динарий этот на рапальском рынке в дурака проиграл, когда его очередь была богатеть, теперь у рапальцев денег хоть уполовником ешь, а у нас в Каталине с этим так себе.

Правда, одно чудо было вроде как и не чудо совсем, но… дель ресто, сами посудите.

Затеяли как-то у нас в Каталине через арку лазить.

Или как правильнее — сквозь? поперек? Арка эта в роще за мельницей сама собой в рябиновом дереве получилась, ствол грозой расщепило, а ветки потихоньку с соседним остролистом переплелись, вот и получилось будто бы кольцо такое, верде и

гранде. Началось все с того, что каталинский пастух, тот самый, у которого жена с бродячим цирком сбежала, странную штуку заметил — овечки, особенно те, что помоложе, под сплетенными ветками норовят пройти, ядовитый алый остролист на ходу пожевывают, горечь этакую, ну вот он и сообрази, браво рагаццо — пройду-ка и я, и прошел, два раза — туда и обратно. Вернулся домой — а у него под дверью письмо от жены, мол, возвращаюсь к тебе, кариссимо, надоело по веревке ходить, сколько, мол, веревочка не вейся… любовь, мол, нутро гложет, чисто краденый лисенок, и все такое прочее.

Рассказал он об этом вечером в кафе у дона Семпре, покачали головами каталинские сеньоры, мольто, мольто страно! умник дон Латтайо как всегда обьяснять принялся — мол, зернышки в ягодах у рябины непростые, этой, как ее, пентаграммой расположены, оттого и порчу отводят, да только при чем здесь порча, когда жена от пастуха с акробатом сбежала, у него рука одна, как пастух весь целиком, да еще с овцою на плечах.

Экко. Повадилось население под арку ходить, капити? Как у кого в амурах неудача, или жажда телесная иссякает — уно, ду! пройдет через кольцо и готово дело! это теперь в Каталине про древесные руны каждый пескаторе знает и дриады все в мэрии наперечет, кроме, разумеется, тростниковых, а тогда дремучий народ был — все на веру принимали.

Что ни сабато — то свадьба в Каталине, что ни вечер — то гулянье, девицы покладистыми стали, нарумянятся и сами в орешник приходят, уговаривать вовсе не надо.

Все бы хорошо, белиссимо! транквилло! да только с женой ростовщика неувязочка вышла. Жена у дона Фрателло, надо сказать, была синьора необычайной белизны и пухлости, ну чисто пирожное с двумя вишенками и лесным орехом на верхушке, немного таких синьор на Сицилии — кожа у наших девок смуглая и в пупырышках — да и животик такой сливочный в Каталине при Пьетро Арагонском последний раз видали, да и тот был с изьяном — в пупке колечко.

С тех пор, как у дона Фрателло память отшибло, и он на пляже поселился, жена его загрустила немного и стала по сторонам оглядываться. В январе на молочника поглядела, в марте на булочника, у мэра Джильи браслетку серебряную приняла, а там и пошло — погнали наши городских! как один заезжий дервиш говаривал.

Принялись влюбленные рагацци под зеленую арку бегать и сеньорино имя под ветками шептать — сначала один, потом двое, а там глядишь и наперебой, идешь, бывало, через рощу, непременно у рябины переминаются, влажные ладошки

стискивая.

Прендере уна котта — у нас называется, а по вашему как — не знаю.

Несладко донье Фрателло приходилось — повера, поверита! и ведь не откажешь никому, куда ей, простушке, против рунической силы, да еще иностранным ветром занесенной…уж она и платок непроглядный купила, и в горячем молоке с мелиссой купаться перестала, как все местные сеньоры по утрам делают, даже на рынок Доменико перестала за рыбой приходить, а уж кто на рынок за рыбой не приходит, тот, считай, и не живет в Каталине.

Да только ничего не помогало.

Как ни крути, пришло время, заволновались каталинские жены, стали в сторону рощи поглядывать, с колдуньей Тессарией советоваться — старейшая на острове старуха эта Тессария! ленивая страшно! из дому и не выходит почти, в крыше у нее дырка для воды, под дыркой посудина стоит, и в дырку эту у нее дождь идет когда помыться надо, так вот — послушала донья Тессария женщин и руками развела — нон не со ниенте, говорит, фаи коме креди, сами разбирайтесь, грубой, говорит, натуральною силою.

Екко. Пришли каталинские красотки в рощу с палками, с факелами — и давай по рябиновому стволу стучать, огнем размахивать, выходи, говорят, дриада! вылезай, кельтское отродье! убирайся, говорят, в свою Шотландию, ихних беспорточных мужиков портить, а не то сама, говорят, знаешь чего….час постояли, покричали, другой, не выходит никто, тут аптекарева жена и ткнула факелом рябине в самое сплетение, а день был сухой, сеттембре только начался, фрррр! и вспыхнула арка, и сгорела — престо, моментанео, ни пепла, ни карбоне не осталось.

Ну что тут скажешь, сгорела и сгорела, разошлись синьоры по домам, а дома — никого, мужей как рукой сняло — ни тебе записки, ни денег на пане бьянко э вино россо, уж не знаю, куда они девались, да и никто не знает.

Один парроко, отец Таисио, в Каталине остался, да дон Фрателло — дурачок пляжный, они-то через арку не лазили, сдалась им эта арка.

От священника — сами знаете — толку никакого, а от Фрателло этого мы все и произошли, каталинцы нынешние, чего уж тут скрывать.

Квеста фавола э тутта ква.

А дриада бездомная, говорят, в саду у Тессарии поселилась, в старой яблоне, ох и яблочки там поспели на следующий год, но

это, уже другая история, сами понимаете.

Лея Любомирская

Лавочки

Retrosaria[1]

Мария Эужения встает в половине девятого.

Можно было бы, конечно, в восемь, а то и без четверти: вымыть голову, поесть по-человечески, за столом, и, может, даже подкраситься, а почему бы и нет?

Но Мария Эужения никак не может заставить себя встать раньше.

"Какой смысл вставать без четверти восемь, — думает Мария Эужения, — если магазин все равно нельзя открыть раньше десяти?"

Мария Эужения выскакивает из постели и начинает метаться по дому.

Можно было бы, конечно, все приготовить с вечера: снять с вешалки блузку, повесить на стул брюки, вытащить из машинки чистые трусы.

Но Мария Эужения не любит загадывать заранее.

"Допустим, я приготовлю себе зеленую блузку, — думает Мария Эужения, — а утром мне захочется надеть розовую. И что тогда?"

Мария Эужения выходит из дому в девять.

Можно было бы, конечно, и попозже, Мария Эужения ни перед кем не отчитывается — во сколько пришла, во столько пришла.

Но Мария Эужения не понимает, что ей делать дома, раз она уже все равно встала.

"Если расписание существует, — думает Мария Эужения, — то его надо соблюдать. Даже если отчитываться не перед кем."

Мария Эужения заходит в автобус, садится у окна и засыпает.

Можно было бы, конечно, и постоять, не цаца, не развалится.

Но Марии Эужении не нравится спать стоя.

"Если бы я умела спать стоя, — думает Мария Эужения, задремывая, — я была бы лошадь. А разве я — она?"

* * *

Без десяти десять Мария Эужения подходит к магазину.

Без пяти поднимает последнюю металлическую штору.

Без двух минут со скрежетом поворачивает ключ в замочной скважине, считает про себя до трех, зажмуривается, и, толкнув тяжелую дверь, входит в магазин.

В магазине Мария Эужения осторожно подходит к стене, наощупь вытаскивает большую картонную коробку, ставит ее на прилавок и только после этого открывает глаза.

Коробка до половины заполнена резными костяными пуговицами.

Мария Эужения по локоть погружает руки в коробку и восхищенно вздыхает.

Cafetaria [2]

Дона Алзира сидит за столиком в маленьком кафе и крошечными глотками пьет кофе из белой чашечки. Кофе мало, и хотя дона Алзира старается изо всех сил, растянуть его надолго не удается.

Дона Алзира со стуком ставит чашечку на стол и лезет в карман. Где-то в кармане у нее была монетка.

"Если это евро, — думает дона Алзира, роясь в кармане. — расплачусь и возьму еще чашечку".

Дона Алзира нащупывает монетку, и, не глядя, зажимает ее в кулаке.

"А если два евро, — торопливо додумывает она, — возьму и кофе, и кокосовую булочку."

Дона Алзира разжимает кулак и смотрит на монетку.

Монетка оказывается бесплатным жетончиком из супермаркета.

— Надо же, — бормочет дона Алзира, обращаясь к жетончику. — Вот ты где. А я тебя вчера в кошельке искала…

Доне Алзире очень стыдно, у нее даже щеки горят. Ей кажется, что люди вокруг знают, как она распланировала два евро, и теперь они смотрят на нее и посмеиваются.

Дона Алзира сует жетончик обратно в карман, подносит ко рту пустую чашечку и делает вид, что допивает кофе.

Потом она смотрит на часы и вскакивает из-за столика.

— Ну, надо же! — вскрикивает дона Алзира, — совсем забыла! Я же опаздываю!

Она поворачивается к прилавку и неуверенно смотрит на хозяйку кафе — дону Сидалию, которая аккуратно режет сливочный торт.

— О, Сидалия… — говорит она.

— Бегите, дона Алзира, бегите, потом заплатите, у меня

сейчас руки заняты! — дона Сидалия подмигивает доне Алзире и слизывает с ножа сливочную кляксу.

Дона Алзира с облегчением улыбается, желает Сидалии приятных выходных и выходит из кафе. Быстрым шагом доходит до угла, сворачивает в переулок и останавливается.

— Кофе, — печально бормочет она себе под нос. — Где бы выпить кофе…

Ourivesaria [3]

Дона Лурдеш приходит к магазину задолго до конца перерыва.

Прислоняется к выложенной зеленой плиткой стене и терпеливо ждет.

Солнце греет стену и дону Лурдеш, легкий ветерок пахнет океаном, и доне Лурдеш кажется, будто ванна уже вычищена, полы вымыты, ужин сделан, и даже простыни поглажены, и все это — само собой, без ее, доны Лурдеш участия.

От этого доне Лурдеш делается так хорошо, что она даже глаза слегка прикрывает, и ее лицо становится похоже на изображение Богоматери Праведных Удовольствий.[4]

В три часа дня с разных сторон к магазину подбегают две молоденькие продавщицы.

— Опять эта тетка, — нервно шепчет Бела, отпирая металлическую дверь. — Давай, ты с ней разберешься? У тебя лучше получается.

— Перебьешься, — хмуро отвечает Нела, отключая сигнализацию. — Твоя клиентка, ты с ней и разбирайся.

Дона Лурдеш делает последний глоток ветра и солнца и решительно открывает глаза.

Она вспоминает, что на самом деле, ванна не вычищена, полы не вымыты, для ужина еще ничего не куплено, а простыни придется гладить ночью, когда дети уснут.

От этого доне Лурдеш делается так тошно, что она слегка зеленеет, и лицо ее становится похоже на давно запертый подвал.

— Идет, — обреченно говорит Бела. — А я надеялась, что она там уснула, у стены…

— Не ной, — отвечает Нела. — Когда-нибудь же ей надоест сюда таскаться.

— Тебе легко говорить, — бурчит Бела и тут же расцветает в радостной улыбке. — Добрый день, дона Лурдеш! Чем могу быть

вам полезна?

Дона Лурдеш подходит вплотную к стеклянному прилавку и кладет на него большую черную сумку. Бела едва заметно морщится. За царапины на стекле обязательно влетит от Карлуша. Но если попросить дону Лурдеш снять сумку с прилавка, дона Лурдеш обидится и напишет жалобу. И тогда от Карлуша влетит еще сильнее. "Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы она не поцарапала стекло", — мысленно просит Бела, улыбаясь еще радостнее.

Дона Лурдеш достает из сумки потертую косметичку. В косметичке у нее лежит тоненький серебряный браслет. Этот браслет дона Лурдеш купила себе на Рождество за двадцать пять евро, упаковала в красивую картонную коробочку и вложила туда же крошечную открытку с ежиком и мышкой. Ежик на открытке обнимал мышку, и из его рта выползали слова: "Моей любимой жене". Дона Лурдеш положила коробочку под елку и в Рождество сделала вид, что это подарок от Шику. Шику тоже сделал вид, что это подарок от него, только спросил, не многовато ли у доны Лурдеш украшений, но спросил не всерьез, не обидно. Дона Лурдеш надела браслет на руку и ходила в нем три дня, нарочно отворачивая рукав, чтобы все видели ее браслет. А на четвертый день у браслета отвалилась застежка.

— Вы поймите, дона Лурдеш, — говорит Бела, улыбаясь изо всех сил. — Мы же уже два раза отправляли его в починку. А он опять ломается. Это брак, понимаете? Фабричный брак. Если бы у нас были еще такие браслеты, мы бы вам заменили, и дело с концом. Но этот был единственный, понимаете?

— Если хотите, — подхватывает Нела, — мы можем вернуть вам деньги. Или вы можете выбрать что-нибудь другое. Например… — Нела вертит головой в поисках чего-нибудь за двадцать пять евро. — Например, вот этот крест!

Дона Лурдеш с отвращением смотрит на огромный аляповатый крест, усыпанный граненными стекляшками. Сейчас она выскажет этим наглым девицам все, что она думает об их магазине и о том, как здесь относятся к клиентам. Вначале выскажет, а потом потребует жалобную книгу и напишет все то же самое. И, может, еще даже добавит.

Дона Лурдеш открывает рот.

Легкий ветерок врывается в магазин и слегка шевелит доне

Лурдеш волосы. Ветерок пахнет солнцем и немного океаном, и от этого запаха гнев доны Лурдеш улетучивается.

Дона Лурдеш откашливается.

— Давайте деньги, — говорит она.

— Слава богу, отделались, — одними губами шепчет Бела, выписывая квитанцию. — Не могу поверить!

— Погоди радоваться, — отвечает осторожная Нела. — Она ведь еще не ушла.

Дона Лурдеш берет двадцать пять евро и выходит из магазина.

— Сейчас я сяду на катер, — говорит громко, — и поеду на Трою.[5] Я тысячу лет не была на Трое.

Совсем маленькая девочка останавливается и с любопытством смотри на разговаривающую с собой дону Лурдеш.

Дона Лурдеш наклоняется к ней.

— А ужин пусть Шику сам делает, — говорит она девочке. — И простыни пусть сам гладит, правда же?

Девочка пугается и делает шаг назад. Дона Лурдеш подмигивает и выпрямляется, улыбаясь. Ее лицо становится похоже на изображение Богоматери Праведных Удовольствий.

Livraria[6]

Сеньор Гутерреш раскладывает книги в витрине так, чтобы сложить из названий осмысленную фразу.

Сеньор Гутерреш не надеется, что кто-нибудь ее прочитает. Просто ему нравится раскладывать книги.

Потом сеньор Гутерреш забирается на стремянку и начинает сметать пыль с самого верхнего стеллажа веничком из перьев.

Девочка подходит к магазину, внимательно рассматривает витрину и хихикает.

Девочка заглядывает в магазин.

— А у вас там в витрине цитата неправильная, — говорит она в спину сеньору Гутеррешу.

Сеньор Гутерреш оглядывается, придерживаясь рукой за стеллаж и смотрит на девочку из-под очков.

— Заходи, — говорит он, — я сейчас спущусь.

Девочка заходит в магазин и начинает разглядывать книги.

Сеньор Гутерреш осторожно, задом, спускается со стремянки.

— Там правильная цитата, — говорит сеньор Гутерреш, складывая стремянку и сдвигая очки к кончику носа. — И верни, пожалуйста, книгу на место.

— Какую книгу? — неискренне удивляется девочка и слегка краснеет.

— Вон ту, — сеньор Гутерреш выразительно помахивает веничком из перьев. — Которая топорщится подмышкой.

Девочка неохотно вытаскивает из куртки небольшой, но увесистый томик.

— Да пожалуйста! — говорит она, поворачиваясь к сеньору Гутеррешу спиной.

— Не «дапожалуйста», а три-ноль в мою пользу. — сеньор Гутерреш заталкивает книгу на полку. — За обед в субботу платишь ты.

— Нечестно, — бубнит девочка, направляясь к выходу. — Вы подглядывали!

— Я никогда не подглядываю! — наставительно говорит сеньор Гутерреш, идя за ней. — Просто ты не умеешь воровать книги.

Девочка останавливается на пороге, топчется там несколько секунд, потом резко поворачивается к сеньору Гутеррешу.

— Три один!!! — кричит она, потрясая маленькой книжкой в бумажной обложке. — Десерт покупаете вы!

Девочка бросает книгу на пол и убегает, громко хохоча.

— Вот бессовестная девица! — говорит сеньор Гутерреш с довольным видом, подбирая книгу и обмахивая ее веничком из перьев. — Никакого уважения к старшим…

Ervanaria [7]

Эдуарду (Дуду) Пиментел лихо заезжает на тротуар и глушит мотор. Спрыгивает с мотоцикла и, снимая на ходу шлем, идет к крошечному магазинчику с пыльной стеклянной витриной.

Из магазинчика навстречу Дуду выкатывается странный зверек в полосатом свитерке, полосатых вязаных тапочках и с круглым рыжим хвостом, похожим на слегка облезшую меховую хризантему. Зверек нюхает ноги Дуду в белых кроссовках и брезгливо фыркает. Меховая хризантема слегка покачивается.

— Зверек-зверек, — говорит Дуду, присаживаясь на корточки. — Зверек-зверек-зверек! Ты вообще что? Собака или кошка?

При звуках его голоса зверек пятится, поднимает черную

мордочку и заливается звонким лаем.

— Собака, — констатирует Дуду, выпрямляется и, не обращая больше внимания на зверька, входит в магазинчик и чуть не падает — не заметил в полумраке, что сразу за порогом начинаются ступеньки.

В магазинчике холодно, сумрачно и душно пахнет травами и пылью. Дуду крутит головой и чихает: раз и другой.

Успокоившийся было зверек в свитерке и полосатых тапочках, который следом за Дуду вбежал в магазин, снова заходится лаем.

Дуду ждет добрых пять минут и, наконец, теряет терпение.

— Эй! — кричит он и снова чихает. — Есть здесь кто-нибудь?

— Иду-иду! — отвечают ему откуда-то из-за стеллажа, снизу доверху уставленного коробочками и ящичками. — Я уже иду! Одну секундочку! Я уже здесь!

Дуду делает шаг вперед и чуть не сбивает с ног крошечную старушку, завернутую в огромную вязанную шаль с кистями. Старушка такая маленькая, а шаль такая большая, что кисти подметают пыльный каменный пол.

— Прошу прощения, — говорит Дуду, придерживая старушку за локоть. — Добрый день.

— Ничего страшного, мой мальчик, — весело отвечает старушка. — Меня зовут дона Дулсе. Пирусаш, сейчас же замолчи!

Дуду вздрагивает, потом понимает, что «замолчи» относилось не к нему, а к зверьку в тапочках, и улыбается.

— Добрый день, сеньора дона Дулсе, — повторяет он вежливо. — Я из электрической компании. Я хотел… — Дуду не договаривает и чихает.

— О! Вы простужены! — восклицает старушка и исчезает за стеллажом. Зверек в тапочках бежит за ней. — Одну секундочку, мой мальчик, — говорит она, чем-то шурша, постукивая и позвякивая. — Одну малюсенькую секундочку! Сейчас мы разберемся с вашей простудой! Сейчас я вам найду такую травку, что от вашей простуды и следа не останется!

Дуду переступает с ноги на ногу.

— Я не простужен! — говорит он. — Я из электрической компании! Я только хочу снять показания вашего счетчика.

— Конечно, мой мальчик! — отвечает ему дона Дулсе, выходя из-за стеллажа с коробочкой в одной руке и с пакетиком — в другой. — Вот это, — она поднимает пакетик повыше, — я заварю вам прямо сейчас. У вас сразу же пройдет насморк и перестанет

чесаться в носу. А это, — дона Дулсе показывает Дуду коробочку, — вы попьете дома. У вас ослабленный иммунитет, мой мальчик, вам обязательно нужно пить травки!

Дуду тяжело вздыхает.

— Большое спасибо, дона Дулсе, — говорит он, старательно подбирая слова. — Я вам очень-очень признателен…

— Так я заварю травку? — радостно перебивает старушка. — Это очень быстро! Вы увидите, как вам сразу станет легче!

"Спокойно, Дуду, — думает Дуду, прикрывая глаза. — Спокойно, старик. Это просто одинокая старушка. Она сидит здесь одна, и ей не с кем поговорить. Держи себя в руках".

— Что с вами, мой мальчик?! — пугается дона Дулсе. — Вам плохо? У вас давление? Я сейчас принесу травку от давления! У меня есть отличные…

— Мне хорошо!!! — скрежещет Дуду, открывая глаза. — Мне не нужно травок! У меня аллергия на травки! И вообще я на работе! Пожалуйста, дона Дулсе, миленькая, покажите мне ваш электрический счетчик, я сниму показания и пойду!

Дона Дулсе сникает.

— Конечно, мой мальчик, — тихо говорит она, складывая пакетик и коробочку на полку. — Простите меня. Счетчик возле двери, слева.

Дуду поднимается на две ступеньки и быстро записывает показания счетчика в блокнот. Потом оглядывается. Крошечная дона Дулсе стоит у стеллажа, зябко кутаясь в свою огромную шаль с кистями. Зверек Пирусаш улегся у нее в ногах спиной к Дуду, Дуду виден только печально опущенный круглый хвост, похожий на облезлую меховую хризантему.

Дуду становится трудно дышать, как будто кто-то его слегка придушил — не до смерти, но чувствительно.

Он снова спускается вниз и совершенно неожиданно для себя обнимает маленькую старушку.

— Большое спасибо, дона Дулсе, — говорит он проникновенно. — Когда я простужусь, я обязательно приеду к вам за травками. Обещаю!

— И правильно сделаете, мой мальчик! — наставительно отвечает дона Дулсе и что-то сует Дуду в карман. — Дома попейте эти травки, хотя бы несколько дней. Вы сразу забудете о вашей аллергии!

Дуду хочет что-то сказать, но у него начинает чесаться в носу,

и он чихает.

Зверек Пирусаш вскакивает и заливается звонким лаем.

Pastelaria.[8] Fabrico proprio[9]

"Только кофе — и все, — думает Маргарида, идя по улице. — Кофе чашечку. И хватит".

Вчера вечером весы в ванной показали такое, что Маргарида час плакала, ночь не спала, а к утру приняла решение.

"Кофе — и все, — твердо думает она. — И даже без молока".

Желудок сжимается в комок и издает отчетливый стон.

"Ладно, с молоком, — смягчается Маргарида. — Но только одну чашку. И все."

Желудок что-то недовольно ворчит, но Маргарида больше не обращает на него внимания.

"Кофе — вполне себе завтрак, — думает она. — Особенно если с молоком".

Маргарида сворачивает в переулок и останавливается между маленькой сумрачной забегаловкой с надписью "Бар N?9" и огромной благоухающей кондитерской "Сладкий ангел".

"Только кофе — и все", — напоминает себе Маргарида, делая шаг к Номеру Девять.

"Но в кондитерской кофе значительно лучше", — думает она, делая два шага к Сладкому Ангелу.

"Зато в баре нет никаких особенных соблазнов", — Маргарида решительно поворачивается к Ангелу спиной.

"Но чашки там — немытые. И кофе гадкий! И туалет! Грязный! И! Вонючий!!!" — Маргарида представляет себе грязный и вонючий туалет, и застывает на месте. Ее начинает мутить.

"Это меня от голода мутит, — думает Маргарида и почти бежит к кондитерской. — Сейчас выпью кофе, и все пройдет".

— Доброе утро, барышня Маргарида! — говорит кассирша на входе. — Что-то вы сегодня припозднились!

Маргарида неопределенно пожимает плечами и садится за столик. Она старается не смотреть на витрину с пирожными, но никак не может удержаться и бросает на витрину короткие жадные взгляды.

"Только кофе, — отчаянно думает Маргарида, — только ко… ой, сегодня у них, наконец, есть берлинские шарики[10]… только кофе, толькокофе… а что это, хотела бы я знать, за "Шоколадное наслаждение"? Нет, только кофе, толькокофе, только…"

— Доброе утро! — весело здоровается официант. — А мы

боялись, что вы сегодня уже не появитесь! Вам как обычно?

— Да, — говорит Маргарида, вымученно улыбаясь. — То есть, нет… то есть… — Она пытается сказать «толькокофе», но язык не слушается, и Маргарида с ужасом слышит собственные слова: — Мне кофе с молоком, кекс с цукатами и берлинский шарик. И этого… "шоколадного наслаждения" пару кусков — с собой…

Papelaria [11]

Рано утром маленький грузовой фургончик с надписью на боку "Газетчик. Доставка печатной продукции" заезжает в переулок и останавливается под табличкой "Парковка запрещена". Алберту выбирается из кабины и деликатно — костяшками согнутых пальцев — стучит в дверь совсем крошечного магазинчика. Ему никто не отвечает, поэтому Алберту стучит посильнее — кулаком, и, наконец, от души пинает дверь тяжелым черным ботинком.

— Я здесь уже, здесь, — раздается сбоку хрипловатый голос. — Прекращай долбить, соседей разбудишь!

Алберту поворачивается и почти сталкивается с заспанной всклокоченной Терезой.

— Хорошаааааа, — ехидно говорит Алберту, прищелкнув языком. — Так и будешь сегодня работать в пижаме?

Тереза непонимающе смотрит на Алберту, потом опускает глаза и охает — из-под элегантного черного пальто торчат ноги во фланелевых пижамных штанах в мишках.

— Вот черт, — стонет Тереза, одергивая пальто. — Я же помнила, что надо что-то еще надеть…

Алберту хмыкает.

— Что с тобой стряслось, пупсик?[12] — с любопытством спрашивает он. — Опоздала, не выспалась, забыла переодеться… Подцепила, что ли, кого?

Тереза дергает плечом и отворачивается.

— Не твое дело, — бурчит она. — Подружка с Мадейры приехала, вина домашнего привезла.

Алберту понимающе кивает.

— Домашнее вино — это даааааа… — он приобнимает Терезу за плечи. — Не тоскуй, пупсик! Будет у тебя еще мужик — все подружки обзавидуются. А мы все обревнуемся.

Тереза сует руки в карман, сжимает кулаки и считает про себя до десяти. Досчитав, поворачивается к Алберту.

— Давай уже выгружать, — тихо говорит она. — Мне открываться через двадцать минут, а еще надо домой бежать переодеваться.

— Да? А я думал, ты так сегодня и будешь ходить, — Алберту распахивает металлические дверцы фургона. — Не совсем эротическое неглиже, но все же…

— Алберту… — нехорошим голосом говорит Тереза.

— Молчу, молчу! Вот эта пачка, эта, эта и эти две — твои, — Алберту достает из кармана сложенную вчетверо квитанцию. — Держи. Можешь не проверять, все как обычно.

Тереза кивает, вытаскивает из фургона две газетные пачки и несет их к магазинчику. До него всего пять шагов, и Тереза старается идти легко и красиво, как будто тяжеленные пачки не оттягивают ей руки, а нейлоновые веревки, которыми они перевязаны, не врезаются в ладони. Если Алберту смотрит ей вслед, то пусть видит, что… Не доходя до магазинчика, Тереза не выдерживает и оборачивается. Алберту прислонился к фургону и уткнулся в какую-то тоненькую брошюру.

Тереза тяжело вздыхает, кладет пачки на землю и достает из карманы ключи. Не смотрит — и черт с ним.

— Эй, — Тереза как будто случайно касается руки Алберту. Алберту, погруженный в свою брошюру, автоматически отдергивает руку. Тереза закусывает губу.

— Я все выгрузила и подписала. На. — Она протягивает Алберту его часть квитанции. Алберту кивает и поднимает палец — "не мешай!"

— У тебя очень сухая кожа на руках, — говорит Тереза внезапно. — Ужасно сухая. Как наждак.

— Ага, — Алберту поднимает на Терезу затуманенный взгляд. — Слушай, пупсик, сколько будет восемь плюс девять плюс два?

— Девятнадцать, — отвечает Тереза. — А что?

— Отличная штука. Числовые головоломки, — Алберту показывает Терезе свою брошюру. — Вот это — Какуро, а еще есть Судоку. Я прямо подсел, уже пятую книжку добиваю! — Алберту чешет руку с брошюрой об штаны. — И правда, кожа ужасно сухая, — недоуменно говорит он и тут же снова утыкается в головоломку. — Ладно, фиг с ней. Сейчас, последний вопрос и я поехал. Пять плюс восемь и вычесть это из двадцати четырех?

— Одиннадцать, — говорит Тереза. — Погоди минутку, ладно? Я сейчас!

Она бежит к магазину и хотя возвращается почти сразу, Алберту уже сидит за рулем фургончика.

Тереза подбегает к кабине, свинчивая крышечку с синего тюбика.

— Смотри, какой я вчера купила крем, — тяжело дыша,

говорит она. — Давай сюда руки!

— Извини, пупсик, — Алберту поворачивает ключ, и фургончик начинает фырчать и подрагивать. — Опаздываю! Давай завтра, ладно? Я тебе головоломок привезу, у меня их еще штук двадцать дома лежит.

Тереза молча кивает.

Фургончик с надписью ""Газетчик". Доставка печатной продукции" задом выезжает из переулка. Тереза смотрит ему вслед.

Крем из незакрытого тюбика длинными белыми колбасками падает на полу черного элегантного пальто и на фланелевые пижамные штаны в мишках.

Farmacia [13]

Изилда бежит по узким улочкам, держа на весу правую руку, замотанную в красный шелковый шарф.

— Я не умру. Я не умру. — думает Изилда в такт собственному бегу. — Я не умру, не умру, янеумру.

Изилда не оглядывается — бережет дыхание. Но она уверена, что за ней тянется кровавый след.

* * *

Утром Жоау Манел собрал чемодан и сказал, что уходит.

— Извини, — сказал Жоау Манел. — Я пытался. Ты знаешь, что я пытался, ты не можешь сказать, что я не пытался, потому что я пытался, и ты…

Изилда вытолкала Жоау Манела из квартиры и закрыла дверь.

— Ты не можешь сказать, что я не пытался! — донеслось до нее.

* * *

— Я не умру, я не умру, — бухает в голове у Изилды. — Я не умру.

Нога подворачивается, и Изилда чуть не падает.

Кто-то поддерживает ее под локоть.

— Осторожнее, — говорит кто-то. — Бегать по брусчатке на каблуках довольно опасно.

Изилда, не глядя, вырывает свой локоть.

— Я не умру, — бормочет она. — Я не умру.

* * *

Жоау Манел позвонил Изилде, когда Изилда крошила лук.

— Ты плачешь?! — изумился Жоау Манел.

— Я крошу лук, — ответила Изилда.

— Ты не можешь винить во всем меня! — возбужденно сказал Жоау Манел. — Ты знаешь, что я пытался, ты не можешь сказать, что я…

Изилда отключила телефон.

Потом отложила луковицу, взяла нож в левую руку и с силой полоснула лезвием по правому запястью.

* * *

Изилда видит в тридцати метрах зеленый аптечный крест и плачет от облегчения.

— Я не умру, — почти успокоенно думает она, прижимая к груди обмотанную шарфом руку. Зеленый крест расплывается и мигает. — Я не умру…

* * *

Пока кровь текла медленно и неохотно, Изилда смотрела на нее с отстраненным любопытством, но когда капель превратилась в веселенький ручеек, впала в панику и заметалась по дому в поисках бинтов, зажимая порез рукой.

Бинтов нигде не оказалось. Пропали и ватные тампоны, и стерильные марлевые компрессы, и даже пластыри — видимо, ипохондрик Жоау Манел все унес с собой.

В аптечном шкафчике осталась только пачка аспирина и прокладки "ночные ультра-плюс".

Дрожащими руками Изилда вскрыла упаковку прокладок. От усилия кровь полилась еще сильнее, пятная белые плитки пола.

Изилда положила прокладку на запястье, сверху туго обмотала его красным шелковым шарфом и выскочила из дома, даже не посмотрев, есть ли у нее с собой ключи.

* * *

На входе в аптеку стайка одетых в коричневое учениц католического лицея обсуждает насущные вопросы.

— Я зайду взвешусь, — говорит одна.

— А я померяю давление, — подхватывает другая.

— А я, — третья задумывается, — а я… а я сделаю тест на сухость кожи!

— С вашего позволения, — страшным сдавленным голосом произносит Изилда, и девочки мгновенно расступаются, давая ей дорогу.

Изилда толкает тяжелую стеклянную дверь, но та не поддается. Изилда толкает ее и еще раз, потом бросается на нее всем телом.

Она сама себе напоминает безумную муху, но остановиться не может, бьется и бьется о дверь аптеки, пока ее не оттаскивают. Только тогда Изилда видит, что по другую сторону стеклянной двери перепуганная девочка-аптекарь в белом халате и с надкусанным бутербродом в руке точно так же безуспешно пытается открыть дверь, но не внутрь, а наружу.

* * *

Стажеру Соне Алмейда страшно почти до обморока. Губы у нее прыгают, а руки дрожат так, что не удерживают бутерброд.

"Маслом вниз, — автоматические констатирует Соня, возясь с дверью, — Плакал мой обед…"

Соня в первый раз осталась одна в аптеке в обеденный перерыв. Это нарушение всяких правил, и заведующая была против, но Соня сказала: "Ну, пожалуйста, ну, я же все равно не успеваю доехать до дома, а на ресторан у меня денег нет", и заведующая махнула рукой: "Ладно, сиди тут, только никуда не выходи, и никому не открывай, пока я не вернусь", а Соня сказала: "Конечно!" и достала из сумки пакет с бутербродами. Она хотела поесть и походить между стеллажей, проверить — все ли она правильно запомнила, где что лежит, и вот теперь появилась эта сумасшедшая, и бьется об дверь, и Соня ей открывает — не может не открыть, хотя и понимает, что ей влетит от заведующей.

* * *

Изилда, пошатываясь, заходит в аптеку, поскальзывается на чем-то и почти падает на стойку.

Соня кидается к ней.

— Простите, простите ради бога, это был мой бутерброд, он упал, я ненарочно, простите, вы не ушиблись, простите, вы в порядке?!

Изилда протягивает к Соне замотанную в шарф руку.

— Я ведь не умру? — на удивление нормальным голосом произносит она. И повторяет уверенно. — Я не умру.

* * *

Соня притащила кресло заведующей, усадила в него Изилду и осторожно разматывает шарф. Шарф весь в пятнах крови, и Соню слегка подташнивает. Изилда сидит спокойно, с отстраненным выражением лица, только губы шевелятся.

Соне кажется, что она говорит "Янеумру, янеумру, янеумру".

Соня откладывает шарф и осторожно отлепляет почти насквозь мокрую прокладку. Запястье, все в засыхающей крови, выглядит сплошной раной.

Соня сглатывает и начинает аккуратно смывать кровь физиологическим раствором из большой пластиковой фляги.

Изилда прекращает шептать и внимательно смотрит на то, как розовые капли раствора стекают с ее руки.

Соня последний раз очень осторожно проводит марлевым компрессом по Изилдиному запястью.

* * *

А пореза там нет.

* * *

Как и не было.

Loja de brinquedos[14]

Согнувшись в три погибели Тина волоком тянет по полу небольшую, но страшно тяжелую коробку, на которой красным фломастером написано "Карнавал".

Вытаскивает на середину магазина и оглядывается в поисках табуретки.

Тине кажется, что табуретка должна стоять в углу за дверью. Или у стеллажа с головоломками. Или, на худой конец, у дальней

стены, возле огромного желтого ящика, где лежат вповалку плюшевые кошки и собаки. По крайней мере, где-то там Тина ее видела буквально вчера. Или позавчера. Вернее, неделю назад, когда пришли февральские заказы, и Тина, нагруженная куклами и мячами, зацепилась ногой за табуретку, и чуть не свалилась. Или это было еще перед Рождеством?

Тина бросает свою коробку и медленно обходит магазин.

— Табуреткаааааа, — мурлычет Тина, — табуреееетка! Где тебя черти носят, когда ты нужна?

Табуретка не отзывается. Тина растерянно бродит между стеллажами, заглядывает за дверь, за прилавок и в подсобку, долго роется в желтом ящике, осторожно раздвигая кошек и собак.

— Сгинула моя табуреточка, — бубнит себе под нос Тина, продолжая шарить в ящике. — Хотела бы я знать ку… А это что такое?!

Тина нетерпеливо отбрасывает сунувшуюся под руки ядовито-желтую длинноухую собаку с безумными пластмассовыми глазами. Со дна ящика, недовольно поджав тонкие губы, на Тину смотрит крошечная, сморщенная женщина, одетая в роскошное шелковое платье.

— Тетушка Мария ду Карму, — шепчет Тина с благоговейным ужасом. — Тетушка Мария ду Карму нашлась… С ума сойти…

Тина осторожно, как ребенка, вытаскивае тетушку Марию ду Карму из ящика и усаживает ее на прилавок. Это не кукла, а марионетка для чревовещания, сделанная в виде немолодой дамы. За время лежания в ящике под грудами плюшевых кошек и собак она потеряла хрустальный лорнет, седые волосы выбились из высокой прически и висят кое как, а желтое вышитое платье измято и слегка запятнано голубоватой плесенью. Но у нее такое живое лицо, как будто тетушка Мария ду Карму сейчас заговорит.

Тина слюнит большой палец и тщательно оттирает с острого тетушкиного носа небольшое темное пятнышко. Как, интересно, она попала в ящик? Тина была уверена, у нее не оставалось ни одной марионетки…

Колокольчик на двери звякает, и в магазин вваливается Карлуш. "Черт, — думает Тина, прижимая к себе тетушку Марию ду Карму. — Только его мне сейчас и не хватало".

— Привет, Тина! — орет Карлуш так громко, что колокольчик на двери снова звякает, а со стеллажа с куклами падает крокодилица Кука[15] и говорит "Ola!". — Я пришел за

карнавальным костюмом, у тебя есть карнавальные костюмы? Потому что, если у тебя нет карнавальных костюмов…

— Есть, есть, — перебивает его Тина, подбирая Куку и снова укладывая ее на полку. — У меня есть прекрасные карнавальные костюмы, только что привезли. Только ты не кричи, пожалуйста, хорошо? А то куклы пугаются.

Карлуш кивает с таким энтузиазмом, что Тина становится боязно за его голову — не оторвалась бы.

"Черт, — снова думает она. — Надо было закрыть магазин хотя бы до обеда…знала же, что Ненуку[16] припрется…"

Про себя Тина никогда не называет Карлуша Карлушем, только «Ненуку». Ей очень стыдно, но она ничего не может с собой поделать.

Одутловатое лицо Карлуша, его крошечные запухшие глазки неприятного желтого цвета, всегда мокрая отвисшая нижняя губа и огромные не по росту ноги — вызывают у Тины ощущение какого-то брезгливого ужаса. Когда однажды, здороваясь, Карлуш чмокнул Тину в щеку и всю ее обслюнявил, Тина чуть с ума не сошла, пока не помыла щеку с мылом и не протерла ее спиртом на всякий случай.

Тина страшно боится, что однажды Карлуш поймет, как она к нему относится, поэтому она позволяет Карлушу приходить в магазин каждый день, хотя знает, что он обязательно что-нибудь стянет или сломает.

— Тина, Тина!!! — вопит Карлуш у Тины над ухом. Тина делает страшные глаза, и Карлуш прихлопывает рот ладонью. — Тина, Тина!!! — задавленно шепчет он из-под ладони. — Что это за коробка? Это с карнавальными костюмами коробка?! Можно, я открою?

Тина кивает. В другой день она бы запретила, все же, карнавальные костюмы денег стоят, но сегодня ей так хочется, чтобы Карлуш побыстрее наигрался и ушел, что она готова пожертвовать несколькими парами полосатых штанов и набором разноцветных париков.

— Ничего, — тихонько говорит Тина тетушке Марии ду Карму, которая смотрит на нее с неудовольствием. — Сейчас он себе выберет какой-нибудь парик или поролоновый нос и уйдет. Он быстро уйдет, вы потерпите!

Тетушка Мария ду Карму ничего не отвечает, но Тине кажется, что ее лицо немного разгладилось.

— Тина! — зовет Карлуш. — Тина посмотри на меня! Угадай,

кто я?

Тина смотрит на Карлуша. Поверх джинсов он натянул широченные клоунские штаны в разноцветных заплатах, на плечи накинул плащ с летучей мышью, прицепил себе малиновый нос с приклеенными к нему соломенными усами, а на голову нахлобучил широкополую шляпу с пером.

"Двадцать пять да двадцать, да семь пятьдесят, да одиннадцать сорок", — подсчитывает про себя Тина и морщится. Почти шестьдесят пять евро. У Карлуша, конечно, таких денег нет, а его родители никогда не платят за то, что он берет или портит в магазинах. "Не надо было пускать! — заявила в позапрошлом году мать Карлуша, худая и нервная дона Фатима, когда Карлуш перевернул в аптеке на углу шкафчик с дорогой швейцарской косметикой. — Вы что не видите, что он ненормальный?"

— Ну, Тина! — обиженно говорит Карлуш. — Почему ты не угадываешь? Как ты думаешь, я клоун или Бэтмен?

— Ты клоун, — отвечает Тина с тяжелым вздохом. — Или Бэтмен.

— Не угадала!!! — радостнов вопит Карлуш и выхватывает из кармана лакированную палочку с шариком на конце. — Я волшебник!!!

"Да еще три двадцать", — механически приплюсовывает Тина, криво улыбаясь.

— Я волшебник! — с гордостью повторяет Карлуш. — Смотри, какой я волшебник!

Он делает шаг вперед и поднимает свою палочку.

— Я хочу, чтобы кукла ожила! — кричит Карлуш, тыча палочкой в живот тетушке Марии ду Карму. — Раз-два-три, кукла оживи!!!

Тина отдергивает тетушку и внезапно улыбается. Пока Карлуш размахивает палочкой и выкрикивает какие-то волшебные слова собственного сочинения, она осторожно надевает тетушку на руку.

"Надо же, — мимолетно удивляется Тина. — Столько лет прошло, а такое ощущение, что только вчера…"

Тетушка Мария ду Карму вертит головой и откашливается.

— Привет, Карлуш! — говорит она тоненьким голоском.

Карлуш прекращает кричать, как будто кто-то выключил громкость. Его крошечные тусклые глазки испуганно расширяются.

— Привет, Карлуш! — повторяет тетушка Мария ду Карму. — Как твои дела?

— Хо…хо…нормально, — выдавливает Карлуш и делает шаг назад.

— У тебя очень красивый костюм, Карлуш! — говорит тетушка и тянет к Карлушу сухонькую ручку. Карлуш пятится к выходу. — Погоди, Карлуш, ты куда? Не уходи! Мы же только что познакомились! Давай поговорим! Я никогда раньше не видела живых волшебников!

— Я не хочу! — кричит Карлуш, срывая с себя шляпу и накидку. — Я не волшебник! Я Карлуш! — он кидает лакированную палочку на пол и выскакивает из магазина. — Я не волшебник! — доносится до Тины с улицы.

Тина осторожно выглядывает на улицу. Карлуша нигде нет.

— Удрал, — торжествующе говорит она тетушке Марии ду Карму. — Унес только штаны и нос с усами. Как вы думаете, тетушка, мы с вами переживем потерю тридцати двух с половиной евро?

— Я-то переживу, — отвечает тетушка хриплым басом. — Я вообще все переживу, если, конечно, ты перестанешь разговаривать за меня идиотским кукольным голосом и вытащишь из меня холодную руку — мне неприятно.

Тетушка Мария ду Карму смотрит на остолбеневшую Тину и заходится громким визгливым смехом.

Florista [17]

— Льет, как из ведра, — говорит Сорайа, переступая через порог и прикрывая за собой тяжелую стеклянную дверь. — Совершенно не представляю, зачем мы сегодня с тобой открылись. Наверняка, никто не придет…

Сорайа с силой встряхивает маленький, абсолютно мокрый зонтик, и засовывает его в деревянную подставку в виде слоновьей ноги.

— Зачем я вообще вышла сегодня из дома? — уныло спрашивает она, стаскивая с себя зеленый вельветовый жакет весь в мокрых потеках. — Ливень, холод… Жакет, вот, промок…

Сорайа вешает жакет на гвоздик в стене и идет вглубь магазина к шаткому деревянному столу, заваленному прозрачным целлофаном, обрезками цветной бумаги и катушками с золотистыми лентами.

— Сигареты, — бормочет она себе под нос, смахивая со стола упаковку искусственных стрекоз. — Где-то здесь были мои сигареты… Мигель, ты не видел моих сигарет? Мигель?

Никто ей не отвечает.

Сорайа поднимает стрекоз, сует их в карман юбки и подходит к огромному развесистому фикусу в черной кадке.

— Мигель? — требовательно повторяет она. — Ты мне что, бойкот объявил? Я с кем вообще разговариваю?!

Фикус молчит и делает вид, что Сорайа разговаривает с кем-то другим.

Сорайа мрачнеет.

— Да не буду я курить здесь, не волнуйся! — говорит она. — Я за дверь выйду!

Несколько секунд Сорайа сверлит фикус сердитым взглядом, потом внезапно кивает и улыбается.

— Точно! Что бы я без тебя делала! — она звонко чмокает фикус в мясистый зеленый лист и притворно морщится. — Фу, пыльный какой! Хоть бы умылся!

* * *

Сорайа курит у приоткрытой двери, выдыхая на улицу облачка сизого дыма.

— Я тебя на эти выходные заберу, — говорит она. — Съездим куда-нибудь. В Эвору, например. Или в Бежу. Или, знаешь что? — Сорайа выкидывает окурок в дождь и закрывает дверь. — Давай, возьмем пару дней и поедем в Алгарве? Там сейчас хорошо. Тепло…

Сорайа выжидающе смотрит на фикус.

— Думай, конечно, — наконец, говорит она. — Только до пятницы мне скажи, чтобы я знала, какие вещи брать.

Сорайа достает из-под стола белый шурщащий пакет с логотипом супермаркета и вынимает из него яблоко, шоколадку и бутылку воды.

— Хочешь пить? — спрашивает она. — Я сегодня негазированную принесла.

Сорайа подходит к фикусу и осторожно, тоненькой струйкой выливает воду в кадку.

Внезапно она гневно выпрямляется и с размаху бьет фикус кулаком по гибкому стволу.

— Я же тебя просила! — говорит она, и ее голос дрожит от негодования. — Я же тебя сто раз просила не делать ЭТОГО в моем присутствии!

Соня Пиреш и К?

За дверью

Не пойду! — говорит Соня и крепче вжимается в сиденье старомодного кожаного кресла на колесиках. — Если дядя со мной не пойдёт, я тоже никуда не пойду!

— Ну, Соня, ну, как я могу с тобой пойти? — раздраженно спрашивает дядя Фернанду, который вот уже пятнадцать минут пытается повязать синий галстук в веселенькую розовую и грязно-оранжевую полосочку. — Мне на работу пора! Вот сейчас сеньор Витор все распродаст и уедет, а завтра у него выходной, так и будем сидеть два дня без хлеба!

— Не пойду! — заявляет Соня, и вместе с креслом поворачивается к дяде спиной.

— Соня, — дядя Фернанду с напряженным выражением лица колдует над галстуком, — я тебе что ска…ЧЕРТ! — кричит он, обнаружив, что повязал галстук этикеткой наружу. — Черт, черт, черт, вы что, сговорились что ли сегодня испортить мне день?!!

Синий в полосочку галстук никак не реагирует на дядину вспышку, зато из-за высокой кожаной спинки начинают доноситься звуки, от которых у дяди Фернанду всегда слабеют руки и подскакивает давление.

Дядя берется за кресло и решительно разворачивает его лицом к себе. Соня скорчилась на сиденьи и рыдает, уткнувшись лицом в подлокотник.

— Сониня, девочка, что случилось? — жалобно спрашивает дядя Фернанду, присаживаясь рядом с ней на корточки. — Ну, если тебе так не хочется, то не ходи, бог с ним, с хлебом, я с работы булочек принесу…

— Яневыйдуоднаиздоооооооооома, — гудит Соня. — Он стоит за дверью, я знаю!

Дядя Фернанду морщит лицо, как будто сам собирается заплакать, но его голос подчеркнуто спокоен:

— Кто стоит за дверью, Соня?

— Этот, — Соня судорожно всхлипывает, — Черный! В черной шляпе!

— Никого там нет. — Дядя подходит к входной двери и смотрит в глазок. — Если не веришь, давай откроем и выглянем вместе. Хочешь?

Соня трясет головой, разбрызгивая слезы.

— Трусиха ты! — говорит дядя Фернанду и распахивает

дверь.

Соня с визгом скатывается с кресла и мгновенно запирается в ванной. Дядя Фернанду закрывает входную дверь, тяжело плюхается на Сонино место и обхватывает голову руками.

* * *

— Сониня, я пошел! — полчаса спустя кричит дядя Фернанду в сторону Сониной комнаты. — Не валяйся на кровати и не смотри долго телевизор, а то у тебя и так уже голова квадратная!

— Это у тебя голова квадратная! — с притворной обидой вопит Соня. — Не забудь булочки!

Дядя Фернанду выходит из квартиры и хлопает дверью. Щелкает английский замок.

Дядя отходит в темный угол рядом с лифтом, где его не видно через глазок, достает из портфеля мятую черную шляпу с приклеенными к ней грязно-седыми длинными волосами, черные круглые очки с почти непрозрачными стеклами и белый шарф, измазанный чем-то красным. Надевает шляпу, цепляет очки и заматывает нижнюю половину лица шарфом. После этого слегка откручивает лампочку над дверью, так что лестничная клетка погружается в полумрак, несколько раз требовательно нажимает кнопку звонка и ждет.

Через пару секунд в прихожей звучат легкие шаги.

— Кто там? — неуверенно спрашивает Сонин голос.

Дядя Фернанду подходит вплотную к двери и шипит:

— Наконец-то, ты одна, девочка! Открывай, быстро! Открывай, кому говорю!

За дверью раздается страшный, раздирающий уши визг, потом топот и хлопок — Соня опять заперлась в ванной.

Дядя Фернанду снимает шляпу, шарф и очки, и прячет все это в портфель. Ему страшно жаль бедную Соню, но он уговаривает себя, что делает это для ее же блага. Пусть лучше девочка лишний раз испугается и никуда не пойдет, чем будет бесстрашно разгуливать по улицам и однажды вляпается в настоящие неприятности.

"В воскресенье свожу ее в Аквапарк, чтобы снять стресс", — думает дядя Фернанду, выходя из дома через черный ход.

* * *

Соня откашливается. Ну, вот, довизжалась. Теперь горло

болит.

Она идет на кухню и зажигает огонь под чайником. Потом ставит на стол зеркало на ножке, из своего тайника между двумя кастрюлями, которыми дядя Фернанду никогда не пользуется, достает косметичку и начинает красить ресницы.

"Как все-таки мило с дядиной стороны, — думает Соня, — быть таким предсказуемым…"

Она докрашивает правый глаз и смотрит на часы. Половина шестого. Через полчаса дядя позвонит ей с работы — узнать, все ли в порядке. Соня расскажет ему про «черного-в-шляпе», дядя заявит, что ей все показалось, Соня на него обидится, дядя попросит прощения и пообещает свозить ее в воскресенье в Аквапарк, потом Соня скажет, что от страха у нее разболелась голова, а дядя посоветует ей закрыть жалюзи и отдохнуть. После этого можно смело идти гулять — дядя теперь позвонит только утром, чтобы разбудить ее в школу.

Соня показывает язык своему отражению в зеркале и принимается за левый глаз.

* * *

На пустой площадке перед лифтом царит гулкая тишина. От густой тени в углу отделяется большое темное пятно и бесшумно скользит по стене. Пятно антропоморфное, но какое-то размытое. Четко видны только очертания круглой шляпы с узкими полями.

Пятно доползает до Сониной двери и сливается с косяком.

Оно уже давно ждет. Может подождать еще немножко.

Свидание

— …я все время на них наступаю, а они от этого пачкаются и портятся, и мне приходится их все время поддергивать, особенно когда спускаюсь по лестнице. Или поднимаюсь. Когда поднимаюсь — вообще беда, хоть поддергивай, хоть не поддергивай….

Тьягу бубнит обиженно и монотонно, как пчелка-"музыкантик". Соня в детстве часто ловила музыкантиков и часами таскала их в кулаке. Музыкантики смешно щекотали ладонь, а Соня жмурилась от удовольствия и время от времени подносила кулак к уху, чтобы послушать басовитое жужжание.

Соня перестала ловить музыкантиков после того, как случайно промахнулась и поймала настоящую пчелу. Жало пришлось выковыривать иголкой, и с тех пор у Сони на самой

середине ладони — ямка.

— …а ты: "ах, короткие брюки неприлично", а я, значит, ходи и пол штанинами подметай! И я еще понимаю, ты бы честно сказала — мол, лень подшивать. Так нет же…

Соня не спорит. Соня молчит и украдкой потирает зудящую ладонь.

"Тьягу, — думает Соня, — вылитый музыкантик. Такой же толстенький и деловитый. И так же сердито жужжит".

— …бегу я по лестнице, а сам думаю — как бы на штанины не наступить. Они уже и так внизу все мокрые и грязные, смотреть противно…

Соня отворачивается от Тьягу и встречается глазами с Вашку.

"Что, подруга, достали тебя?" — сочувственно молчит Вашку, и Соня чувствует, что краснеет.

"Вашку, — думает Соня, смущенно отводя взгляд от улыбающегося Вашку — совсем непохож на Тьягу. Или это Тьягу непохож на Вашку?"

— …а всего-то и делов — подшить чертовы штаны раз и навсегда. Я и сам бы подшил, если бы ты не…

"Жаль, что Тьягу так непохож на Вашку, — думает Соня и изо всех сил скребет ногтями вспухшую ладонь. — Если бы он был хоть капельку похож, с ним было бы значительно приятнее жить".

— …я никогда не знаю, слышишь ты меня или не слышишь. Соня! Соня, проснись! Соня, черт возьми, с кем я уже полчаса разговариваю?!

Соня вздрагивает и поворачивается к Тьягу. Тьягу сложил руки на груди и гневно смотрит на Соню. Левый уголок плотно сжатого рта нервно подергивается.

"А у Вашку, — думает Соня, стараясь не глядеть на дергающийся рот, — губы теплые и ласковые. Их так не сожмешь".

Тьягу сердито машет рукой и забирается в подошедший автобус. Соня послушно идет следом и усаживается рядом с ним, даже не кинув прощальный взгляд на Вашку. Отходчивый Тьягу берет Соню за руку и дует ей в ухо.

— Ты меня еще любишь? — шепотом спрашивает он.

Соня молча кивает и чувствует, что Вашку, улыбаясь, смотрит ей вслед.

* * *

Соня неподвижно сидит на лавочке в парке, уставясь себе под ноги. Мокрые волосы облепили голову, с юбки течет, а в туфлях

неприятно чавкает, но Соня даже не пытается прикрыться от дождя, хотя из ее сумки торчит изогнутая ручка мужского черного зонта.

Этот парк был последней Сониной надеждой. Сегодня Вашку не оказалось на автобусной остановке. Не было его ни в метро, ни в магазине, ни напротив банка — ни в одном из тех мест, где Соня привыкла его встречать. Предчувствуя худшее и не веря самой себе, Соня бросилась в парк. В парке на Вашкином месте мускулистый прилизанный блондин, неприятно улыбаясь, пил пиво из высокого стакана. Соня поднимает глаза на блондина, и ее передергивает.

"Наверняка, — думает Соня, — есть женщины, которым нравятся мускулистые прилизанные блондины. Но разве блондинов можно сравнить с Вашку?!"

При мысли о том, что она может никогда больше не увидеть Вашку, Соня съеживается на своей лавочке и тихонько скулит.

* * *

Эдсон Пиментел захлопывает металлическую раму и вытаскивает ключ из скважины. Эта — последняя на сегодня. Эдсон с хрустом потягивается и роняет скатанные в рулон старые рекламные плакаты.

— Т-твою мать, — бормочет Эдсон, пытаясь поймать стремительно разворачивающийся рулон. — Твою мать, ну что ж у меня за руки такие дырявые!

— Простите, — говорит сзади кто-то срывающимся голосом, и Эдсон подпрыгивает от неожиданности. — Простите, пожалуйста, вам это все нужно?

* * *

— Что — это? — в третий раз переспрашивает Эдсон, прижимая к груди подобранные с пола плакаты.

— Вот это, — терпеливо отвечает Соня, не глядя на него, и тянет один плакат за уголок. — Вот это. Этот…эту…вот эта вот бумага — она вам вся нужна? Вы мне не подарите одну?

Эдсон ухмыляется и неожиданно молодцевато подмигивает Соне.

— Только в обмен на телефончик!

Соня задумчиво улыбается, достает из сумки телефон и вручает его остолбеневшему Эдсону. Потом выдергивает у него из

рук рекламу какой-то туалетной воды для мужчин — ничего особенного, двухцветный флакончик на фоне самодовольно улыбающейся смазливой физиономии — и убегает, гулко стуча каблуками.

— Барышня! — кричит Эдсон. — Барышня! Да стой же ты, дура, я же не этот телефон имел в виду!

* * *

Соня снова сидит на лавочке в парке. Дождь давно закончился, и лавочка почти сухая, но Соня все равно осторожно протирает ее салфеткой прежде чем положить плакат рядом с собой.

Соня знает, что позже ей придется объясняться с Тьягу по поводу телефона. Телефон — это не плохо подшитые штанины, по поводу телефона Тьягу наверняка будет гневно жужжать целую ночь.

Но сейчас Соня не хочет думать о Тьягу. Сейчас Соня занята. У нее свидание с Вашку.

Лазоревые шуршики

"Хорошо, что Долорес и Кэт так быстро угомонились, — думает Соня Пиреш, сметая крошки со стола. — Можно на веранде посидеть в кои веки…"

Соня моет руки в белом эмалированном тазике, сливая себе из фаянсового кувшина с щербатым носиком, и, не обнаружив на гвоздике полотенца, вытирает руки о безукоризненно чистый льняной передник. Потом снимает передник, кидает его на спинку кресла-качалки и идет к открытой стеклянной двери на веранду, старательно наступая на рассыпанные по полу солнечные пятна.

* * *

— Тьягу! — шепчет Соня. — Тьягу, ты спишь?

Тьягу бормочет что-то неразборчивое и пытается натянуть одеяло на голову.

— Тьягу, проснись, пожалуйста!

Не открывая глаз, Тьягу поворачивается к Соне и сонно тычется губами ей в щеку.

— Тьягу! Ну, Тьягу же! — Соня уворачивается от поцелуя и

раздраженно пихает Тьягу в бок. — Проснись, ну!

Все так же не открывая глаз, Тьягу садится в кровати, рукой нащупывает на тумбочке часы и зачем-то подносит их к уху.

— Что с будильником? — хрипло спрашивает он у Сони. — Сломался? Который час?

— Полтретьего, — Соня тоже садится в кровати, вынимает часы у Тьягу из руки и зачем-то сует их под подушку. — Послушай. Мне приснилось…

Тьягу со стоном валится на спину.

— Через четыре часа вставать! Соня, какого черта?!

— Ну, погоди! Ну, послушай! — Соня целует Тьягу в ухо. — Ну, дай я расскажу, я же до утра забуду!

— Соня, спи и дай спать мне! — Тьягу с силой дергает одеяло, заворачивается в него с головой и решительно поворачивается к Соне спиной.

* * *

— Соня, ну что ты дуешься? — Тьягу в одних трусах топчется босиком на кухне и расстроенно заглядывает Соне в лицо. Соня отворачивается. — Ну, Соня, ты же знаешь, что меня нельзя будить среди ночи! Я такого наговорю — сам потом жалею… Ну, пожалуйста, Соня!..

— Я тоже тебе говорила: "ну, пожалуйста, Тьягу!" — непримиримо отвечает Соня.

— Ну, Соня! — Тьягу надевает рубашку и начинает застегивать пуговицы. — Смотри, что я из-за тебя натворил! Оторвал пуговицу!

— И тут я виновата?! — возмущенно спрашивает Соня, намазывая тост маслом.

— Конечно, — убежденно отвечает Тьягу. — Когда ты на меня дуешься, я даже рубашку застегнуть не в состоянии. Прости меня немедленно и расскажи, что тебе приснилось, а то у меня не останется ни одной рубашки с пуговицами!

Соня хихикает и наливает Тьягу кофе.

— Мне приснилось, — говорит она, — будто я живу где-то, где лето. В большом таком доме, деревянном. С верандой и садом. И как будто у меня есть две дочери — Долорес и Кэт. Странные имена, правда? Как в кино…

Тьягу откусил полтоста и жует, поэтому ответить не может, но он энергично кивает — да, мол, ужасно странные имена.

— Мне тоже вчера приснился очень странный сон, — говорит Тьягу, с усилием проглотив свои полтоста. — Как будто Рикарду

Нунеш пригласил меня на свою свадьбу. Представляешь?

— Что же тут странного, — опять начиная сердиться, спрашивает Соня.

— Ну как же! — удивляется Тьягу. — Рикарду же уже женат!

* * *

— Что такое "лазули"? — задумчиво спрашивает Соня, откручивая колпачок у флакончика с лаком.

— "Лазули"? Может, "разули"? — Тьягу плюхается на диван и разворачивает газету. — Где ты взяла это слово?

— Кэт попросила…

— Какая Кэт? — удивляется Тьягу, вытряхивая из газеты на пол рекламные вкладыши.

Соня стряхивает с кисточки лишний лак и делает вид, что не слышит.

— Соня, — зовет Тьягу. — Кто такая Кэт?

Соня придирчиво разглядывает только что накрашенный ноготь.

— Соня! — Тьягу откладывает газету и встает с дивана. — Ответь мне, пожалуйста, кто такая Кэт, и зачем ей эти лазули?

* * *

— Соня! Соня, проснись, Соня! — Тьягу трясет Соню — вначале осторожно, потом с силой. Соня стонет и что-то жалобно лепечет, но не просыпается. Лицо ее залито слезами. — Проснись, Соня, милая, проснись! Это был дурной сон, Соня, просто сон! Проснись, пожалуйста! Хочешь, я тебе принесу воды?

Соня всхлипывает и просыпается. Несколько мгновений смотрит на Тьягу, потом с силой обхватывает его за шею и заходится в рыданиях.

— Она просит! Она все время просит эти чертовы лазули! Не ест! Не спит! Ты бы видел, как она похудела! Я просто боюсь приходить — она ко мне ручки тянет: "Мама, лазули! Мама, лазули!", а ручки — как веточки! А не прийти не могу, Долорес одна не справляется. Она умирает, Тьягу, Кэт умирает, а я не могу ей дать эти ее лазули! Тьягу, я тебе клянусь, если бы я могла, я бы из себя сделала лазули, только бы она перестала плакать!

Тьягу хочет объяснить, что это все — только сон, что нет ни Кэт, ни Долорес, ни лазулей, но голос не слушается. Поэтому Тьягу только обнимает Соню покрепче и начинает тихонько ее

баюкать.

* * *

— Это мне? — спрашивает Соня, разворачивая сверток.

— Не тебе, — качает головой Тьягу. — Это для Кэт.

— Что это? — Соня достает два синих каменных шарика — один потемнее, другой — в пятнышко.

— Это лазурит и лазулит, — Тьягу трет покрасневшие глаза. Он не спит уже три ночи — караулит Соню. Как только Соня начинает плакать во сне, Тьягу будит ее и приносит ей воды. Два дня это помогало — попив и перевернув подушку на прохладную сторону, Соня засыпала и спокойно спала до утра, но сегодня она проплакала всю ночь, не помогла ни вода, ни подушка, ни валерьянка. — Что-то из этого, наверняка, и есть ее «лазули». Отдай ей, и пусть она уже оставит тебя в покое.

Соня всхлипывает и благодарно улыбается. В глубине души она откуда-то знает, что шарики — не «лазули», но ей не хочется расстраивать Тьягу.

* * *

— Тьягу! Тьяаагуууууууу! — зовет Соня из ванной. — Посмотри, что у меня со спиной?

Тьягу отдергивает пластиковую занавеску и внимательно рассматривает мокрую Сонину спину.

— Хорошая спина, — авторитетно заявляет он и звучно целует Соню под лопатку. — Поцарапанная слегка. Ты бы кожу с себя не сдирала, а? Давай лучше я тебя мочалкой потру!

— Погоди, — говорит Соня и показывает Тьягу свои ногти. — Потом потрешь. Лучше скажи — что это? Я просто по спине провела, и вот…

Под ногтями у Сони что-то синее, как будто Соня зачем-то почесала свежеокрашенную стену.

Тьягу пожимает плечами. Откуда ему знать, что у Сони под ногтями?

* * *

Комната залита солнечным светом. Тьягу чихает и просыпается. Он на удивление хорошо выспался. То ли Соня

действительно не плакала ночью, то ли он не слышал…

Тьягу становится страшно. Не открывая глаз, он шарит рукой рядом с собой, пытаясь нащупать Соню, и конечно заезжает пальцем ей в нос.

— Отстань, — бормочет Соня. — Дай поспать, изверг!

Голос у нее сонный, но очень довольный, как у человека, который не знает, что такое ночные кошмары. Тьягу открывает глаза.

В первый момент ему кажется, что он все еще спит.

Тьягу зажмуривается и изо всех сил бьет кулаком по стене. От боли перехватывает дыхание.

— Тьягу, не шуми, — просит Сонин голос. — Незачем разрушать дом. Я уже проснулась.

Стараясь дышать как можно глубже, Тьягу снова открывает глаза и с ужасом смотрит на Соню.

Соня улыбается ему.

— Ты чего? — спрашивает она. — Дурной сон приснился?

Тьягу мотает головой.

Соня удивленно смотрит на него, потом пожимает плечами и выбирается из постели.

В солнечном свете она блестит, как отполированная, и переливается всеми оттенками синего.

Тьягу снова зажмуривается и испуганно втягивает голову в плечи, почувствовав на щеке холодной прикосновение Сониной руки.

— Тьягу? — зовет Соня. — Ты не знаешь, что такое «шуршик»? Долорес попросила на день рождения…

Остров

— Соня Пиреш, пройдите на пятую кассу!

— Повторяю. Соня Пиреш, пройдите, пожалуйста, на пятую кассу!

"Ну, Карла, ну, ты меня еще о чем-нибудь попросишь!", — сердито думает Соня, торопливо выходя из подсобки и одергивая на ходу закатанные рукава форменного халатика.

— Барышня, барышня! — жалобно обращается к ней маленькая старушка в синем непромокаемом плаще и в красных резиновых сапогах — Барышня, вы не подскажете, где коридор с едой для домашних животных? Мне казалось, что он был где-то здесь, но я уже по-четвертому разу все обхожу, а его все нету…

Соня притормаживает, задумывается на секунду, потом кивает и улыбается старушке.

— Конечно, сеньора, пойдемте, я вас провожу!

Она разворачивается и быстрым шагом идет вдоль ряда касс. Старушка в красных сапогах крепко уцепилась за ее локоть и резво семенит рядом. Проходя мимо четвертой кассы, Соня показывает язык рыжей Карле Абукассиш, но прежде чем Карла успевает как-то отреагировать, Соня со старушкой скрываются в ближайшем коридоре.

* * *

— Уважаемые посетители! До закрытия торгового центра «Остров» осталось пять минут! Повторяю. До закрытия торгового центра «Остров» осталось пять минут! Если вы еще не оплатили свои покупки, пройдите, пожалуйста, к пятой кассе!

Спасибо за визит!

Ждем вас снова!

Соня берет с транспортера очередной сверток, подносит его к стеклянному окошечку, чтобы считать магнитный код, нажимает на клавишу «плюс» и кладет сверток в пакет, распятый между двумя металлическими брусками. Ни одного лишнего движения: взять сверток, поднести к окошечку, нажать на клавишу и положить сверток в пакет. Взять-поднести-нажать-положить.

Когда вместо очередного свертка Сонина рука нащупывает табличку "Следующий покупатель", Соня поднимает голову, механически улыбается, принимает деньги или карточку, благодарит покупателя и желает ему приятных выходных.

"Какое счастье, — думает Соня, — что «Остров» закрывается на выходные! Если бы пришлось работать еще в субботу-воскресенье, я бы не выдержала".

Соне кажется, что еще немного, и она окончательно сольется со своей кассой, превратится просто в еще одну деталь, сделанную специально, чтобы брать свертки с транспортера, считывать с них магнитный код, нажимать на клавишу «плюс» и класть свертки в пакеты.

* * *

— Вечеринку собираешься устраивать, да? — спрашивает Карла Абукассиш, глядя, как Соня подкатывает к ее кассе красную тележку, заваленную снедью.

— Да, — автоматически отвечает Соня, прикидывая, стоит ли ей взять еще бутылку вина или обойдутся.

— Пикник, да? — с обидой спрашивает Карла, косясь на увесистый сверток с бифштексами и упаковку колбасок.

— Пикник, — подтверждает Соня. — На пляже.

— Знаешь, что? — говорит Карла. — У меня нету времени пробивать твои покупки. Иди в свою кассу, там и пробивай!

— Я не могу в свою, — терпеливо объясняет Соня. — У меня Рита уже кассу сняла и все закрыла.

— А мне все равно, — Карла поворачивается к Соне спиной.

Соня тяжело вздыхает.

— Это семейный пикник, — говорит Соня Карлиной спине. — Дядя ко мне приезжает. Дядя Фернанду. Из Бельгии. Я обещала устроить ему пикник и пожарить мясо на гриле. Если бы не дядя, я бы тебя обязательно пригласила. К тому же, ты обещала меня сегодня прикрыть и не прикрыла, мне от Риты влетело. Если будешь выступать, я тебя тоже больше никогда не прикрою.

Карла дуется еще несколько секунд, потом нехотя поворачивается к кассе и пробивает Сонины бифштексы.

* * *

— Соня, давай бегом, опоздаешь! — Карла уже переоделась и приплясывает на месте от нетерпения.

— Не опоздаю, — вяло отзывается Соня, нехотя расстегивая пуговицы на халатике. Ей совершенно не хочется никуда бежать. Ей кажется, что от усталости она вся покрылась сетью мелких трещинок, и если ее как следует встряхнуть — рассыплется на тысячу кусочков.

— Ну, Соня же!!! — Карла подскакивает к Соне и начинает стаскивать с нее халатик. — В темпе, в темпе! Нас с тобой сейчас здесь закроют, и просидим в раздевалке до понедельника!

Карла распахивает дверцу Сониного шкафчика, чтобы повесить халатик. На внутренней стороне дверцы прилеплена фотография — смеющаяся Соня с каким-то упитанным загорелым типом.

— Это кто? — с подозрением спрашивает Карла.

— Никто, — говорит Соня. — Ты его не знаешь. Он здесь не живет.

Карла пожимает плечами.

— Не хочешь, не говори. Я пойду, займу нам места. Смотри, не засни тут!

— Не засну, — говорит Соня, натягивая джемпер. — Иди, занимай места, я только сумки возьму и догоню тебя.

Громко топая, Карла выбегает из раздевалки. Соня подходит

к своему шкафчику и пальцами гладит лицо на фотографии. Потом, разозлившись, отдирает фотографию от дверцы и прилепляет ее изображением внутрь. На обратной стороне написано: "Сониня, я тебя люблю. Тьягу".

* * *

Соня медленно выходит из «Острова». Мимо нее, задыхаясь, семенит маленькая старушка в синем непромокаемом плаще и красных сапогах. Соня останавливается и смотрит, как два дюжих парня в форме охранников торгового центра подхватывают старушку и втягивают ее на паром. Коротко погудев, последний на этой неделе паром отходит от острова.

В сгущающихся сумерках видно, как по палубе мечется рыжая голова Карлы Абукассиш.

— Мы Соню забыли! — истошно кричит Карла. — Соню-то Пиреш забыли! Соня! Соня!!! Беги скорей, Соня!

Но Соня никуда не бежит. Она машет Карле рукой, разворачивается и возвращается в здание торгового центра.

В раздевалке она раскладывает свои покупки по скамейкам: два ящика воды, два пакета сока, пять бутылок красного вина, две — белого, упаковка пива, овощи, бананы, яблоки, сыр, мясо и сладости.

"Хорошо, что на выходные остров вымирает, — думает Соня. — Никто не потревожит".

Она разворачивает сверток с бифштексами и считает, загибая пальцы.

"Два мне, три дяде Фернанду. Долорес, наверняка, больше одного не съест. Кэт бифштексы не любит, она будет есть колбаски", — Соня смотрит на три толстых розовых бифштекса. — "Если Тьягу и сегодня не появится, не буду больше покупать ему мясо. Сколько можно? Одно разорение".

Соня воинственно шмыгает носом, снова заворачивает бифштексы в бумагу, зубами отрывает уголок от пакета с апельсиновым соком и пьет, громко глотая.

Потом выбирает банан поспелее, и выходит на улицу. Ждать.

Слишком личное

Убираю все с кухонного стола.

Сметаю крошки.

Долго и придирчиво разглядываю кусок прозрачной клеенки, служащий мне скатертью.

Протираю клеенку влажной губкой, затем насухо — бумажным полотенцем.

Кладу на стол прямоугольник белого картона.

«Иза Войт», — пишу я красным маркером на куске картона. Буквы неровные, зато крупные. Обвожу каждую по два раза. А потом еще раз — для верности.

Ставлю табличку в угол, прислонив к стене. Пятясь, отхожу на другой конец комнаты. Надпись буквально сочится красным, и прекрасно видна даже из коридора. Иза бы наверняка ее сразу увидела. Жаль, придется оставить табличку дома. Мне не хочется, чтобы кто-то знал, что я встречаю Изу.

Сегодня я первый раз еду в аэропорт. До этого мне казалось, что Иза приедет поездом, и я добрых два месяца встречала ее на центральном вокзале. Потом — на автобусной станции. Потом еще недели три — в порту. В порт я и сегодня заеду — на всякий случай и для очистки совести. Хотя зачем, если Иза прилетит на самолете?

Мне даже странно, что я столько времени не вспоминала о самолетах. Может быть потому, что сама я боюсь летать, и внутри себя была уверена, что Иза тоже боится. Но, с другой стороны, когда нужно — очень нужно, — я все-таки летаю. Почему бы и ей не летать? Пока я паркуюсь, пока изучаю таблицу прилетов, во мне крепнет уверенность, что именно сегодня, где-то между часом и пятью… нет, шестью… между часом и шестью, произойдет то, ради чего я живу. Я увижу Изу. А Иза увидит меня.

В без пяти шесть я допиваю восьмую за сегодня чашку кофе. Иза не прилетела, а мне пора идти, через тридцать пять минут мне в эфир. Или, к черту эфир? «Пассажир Рикардо Мартинес Диас, прибывший рейсом 589 из Мехико, пройдите, пожалуйста, к окошечку информации. Повторяю: пассажир Рикардо Мартинес Диас, прибывший рейсом 589 из Мехико, подойдите к окошечку информации, вас ожидает супруга»

Господи, да что же это со мной сегодня! Я уже сто раз могла дать объявление! «Пассажирка Иза Войт! Вас ожидают у стоянки такси» или «Госпожа Иза Войт! Подойдите, пожалуйста, к кафе на первом этаже».

Быстро расплачиваюсь за кофе. Девочка за кассой смотрит на меня со жгучим любопытством. «Простите, ради бога, — говорит она. — Ведь, правда же, вы — Иза Войт? Ток-шоу «Час с Изой»? Простите, вы не дадите мне автограф?»

* * *

— Не знаю, мне не нравится, — морщится Иза. — Какой-то надрыв нездоровый. Не фантастика, а шизофрения…

— Ну, одно другого не исключает. Кто сказал, что шизофреник не может быть героем фантастического рассказа?

— Я бы не стала… — Иза рассеянно хлопает рукой по бумагам на столе — ищет сигареты. Сигареты лежат прямо рядом с ее локтем, но я не подсказываю — пусть поищет. Иза делает неловкое движение и сваливает на пол стопку дисков. Ворча что-то про бардак, который я тут развела, лезет за ними под стол.

— Вот там и сиди! А я тут покурю пока, — показываю ей язык.

— Вредная, да? — хмыкает Иза. — Собираешься меня тут сгноить, ты, душительница свободы слова?! Ты не имеешь права на меня обижаться, я — твой соавтор, мне позволено все, даже критика.

Иза по одному подает мне диски, я делаю из них башню. Башня несовершенна — сверху явно нехватает мясной тефтельки.

— Эй, узница совести, у тебя есть мясная тефтелька?

— Обязательно, — говорит Иза из-под стола. — А еще — пять тысяч паровых машин, портрет очень одинокого петуха и неплохая идея, которую я тебе ни за что не выдам. Сама все напишу, опубликую и прославлюсь.

— Поделишься идеей, дам сигаретку, — вкрадчиво говорю я.

— Две сигареты, — торгуется Иза. — И еще одну потом — с кофе и коньяком. И одну прямо сюда, под стол, я тебе пятки прижигать буду.

Наши диалоги чудовищны, но они доставляют нам массу удовольствия. Нести часами всякую необременительную чушь, попивая кофе и покуривая то мой Житан, то Изин Кент — что может быть лучше?

— Выходи, смелая подстольщица, — говорю я. — Дело делать будем.

— Питьем запивать, — подхватывает Иза, выбирась из-под стола, — куревом закуривать. Вначале курево, потом дело!

Протягиваю ей сигарету и зажигалку. Иза закуривает. Выражение лица у нее как у ребенка, которому после категорического запрета на холодное неожиданно обломилась тройная порция мороженого, и он еще не вполне поверил своему счастью.

Щелкаю пальцами перед Изиным носом.

— Идею давай, а то опять под стол пойдешь!

— А, да! — Иза растерянно улыбается, как будто я ее

разбудила. — Идея простая. Давай, напишем про человека, у которого НЕ было двойника!

* * *

Тони сидит на берегу Кванзы и бездумно кидает камешки в воду. Камушки говорят «бульк». Или «шлеп». Если кинуть правильно, будет шлеп-шлеп-шлеп-бульк. Или даже шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-бульк.

Тони не знает, почему «шлеп-шлеп» правильнее, чем «бульк». Но он точно знает, что все люди вокруг него — «шлеп-шлеп». И только он один — безнадежный «бульк», после которого сразу тишина.

Тони шесть лет. Он маленький, худой, очень темный. И очень, очень несчастный. Потому что всех всегда двое. И только он, Тони, всегда один.

— Почему? — спрашивает Тони у Мары.

— Так получилось, — обычно отвечает Мара.

— А где мой второй? — спрашивает Тони у Мариного второго, Лино.

— Этого никто не знает, — обычно отвечает Лино.

— Он потерялся? — спрашивает Тони. — Он заблудился? Заболел? Умер? Он меня ищет? Мне его вернут?

— Да, да! — отвечают Мара и Лино, и в их одинаковых голосах сквозит одинаковая фальшь. — Конечно, тебе его вернут. Только, наверное, не сейчас. Может быть, чуть-чуть позже.

Но Тони знает, что второго никогда не возвращают «чуть-чуть позже». Если со вторым что-то случается, его всегда возвращают немедленно. Вторая рыжей Марии, рыжая Рита, попала под машину и умерла. Тони сидел в кустах и видел, как ее сунули в зеленый мешок и увезли. А через два часа обе рыжие играли в классики у фонтана.

На днях вернули старого Герберта, второго старой Франсишки, свернувшего шею в ванной, а до того — ушастую Лизу, вторую ушастого Элдера, подавившуюся вишневой косточкой… И только его, Тониного, второго не возвращают. Поэтому Тони всегда один. Поэтому Тони сидит на берегу Кванзы и бездумно кидает камушки в воду. Шлеп-шлеп-бульк.

* * *

— А дальше? — спрашиваю я Изу.

— Ну… — Иза растерянно пожимает плечами, — опишем трагедию ребенка-экстраверта, растущего в абсолютно интравертном мире. Представь себе этот мир — у всех есть двойники. Не просто близнецы, а настоящие двойники, идеальные. Каждая пара зациклена только на себе, внутри пар одинаковые эмоции, одинаковые переживания, можно даже не разговаривать — твой двойник и так все понимает, потому что переживает то же самое…

— Эээээээ… Андрогины? Самодостаточные люди? А почему они у тебя то однополые, то разнополые?

— А тебе не все равно? — Иза кладет сигарету в выемку пепельницы, и я немедленно ее оттуда утаскиваю. Я уже и не помню, как у нас сложился этот ритуал, но мы всегда курим одну сигарету на двоих и пьем кофе из одной и той же чашки. — Они же все равно не размножаются… в привычном нам смысле, я имею в виду. Какого бы пола они ни были, пара — это всегда идеально сбалансированное единое существо.

— Ладно, — говорю я, — почти убедила. Стерильная цивилизация, самодостаточные пары, как только что-то случается с одним из двоих, его немедленно восстанавливают. Понятно. А что с ребенком Тони? Где его второй?

— А ребенок Тони у нас подкидыш, — Иза отнимает у меня недокуренную сигарету и затягивается. — Его нашли…

— В капусте!

Иза давится дымом.

* * *

— Почему мне не возвращают второго?! — наскакивает Тони на Мару. — Почему всем возвращают, а мне нет?! Почему?!!

Мара беспомощно смотрит на Лино. Лино пожимает плечами.

— Видишь ли, Тоник, — осторожно говорит Мара, — так получилось, что у тебя нет второго.

— А где он? — спрашивает Тони

— Нигде нет, — вступает Лино. — У тебя с самого начала его не было. Ты уже большой мальчик, знаешь, откуда берутся дети…

Тони кивает. Мара пару раз водила его на детфабрику, показывала двойные пробирки, в которых развиваются пары зародышей.

— Молодец, — Лино гладит Тони по курчавой шевелюре. Мара прерывисто вздыхает и отворачивается. — Так получилось, что ты к нам попал не с детфабрики. Тебя…ну…принесли. Одного.

— Кто принес?

— Не знаем, Тоник, — отвечает Мара. — Мы вышли утром, а ты лежишь у почтового ящика, как посылка. Маленький совсем. И плачешь. Мы тебя и взяли…

— Маленький вот такой? — Тони разводит большой и указательный пальцы.

— Побольше, — смеется Мара. — Вот такой! — и показывает руками расстояние сантиметров в пятьдесят.

Тони смотрит на нее и пытается представить себе — как это, такой маленький и один? Так не бывает. Пары разъединяют, как только дети начинают ходить. Это ему рассказали на детфабрике, когда он спросил, почему зародыши в двойных пробирках связаны между собой какой-то трубочкой. Выходит, Мара и Лино говорят правду — у него никогда не было никакого второго. Тони смотрит на Мару и Лино — они улыбаются друг другу. Они вместе. А он, Тони, по отдельности.

Час спустя Тони опять сидит на берегу Кванзы и кидает в воду камешки. Правда, теперь он тоже улыбается. Он только что обнаружил, что сколько бы камешек ни шлепал по воде, последнее слово всегда за «бульк», и это доставляет Тони какое-то щекочущее удовольствие.

«Я вам еще покажу! Я вам всем покажу», — думает он, отправляя в полет новый снаряд.

* * *

— Подожди, подожди, — говорит Иза. — Тебя куда-то не туда понесло, ты что делаешь из мальчишки?

— Понятия не имею, — отвечаю я. — Мстителя-разрушителя, маньяка-одиночку, судя по всему. А что из него еще может вырасти в такой ситуации?

— Глупости какие! — сердится Иза. — Его можно отправить в путешествие в поисках второго, он может выдумать себе невидимого второго, он может подрасти и встретить его… мало ли вариантов?!

— Не знаю, — говорю я. — Мне не нравится идея. То есть, все понятно, все трогательно, но я не вижу сюжета, развития. К чему ты хочешь прийти? Какой финал видишь?

Иза неопределенно пожимает плечами. Вид у нее забавный, как у обиженного ребенка.

— Не хочешь — не пиши, — говорит она. — Ты только критиковать умеешь! Придумай твою собственную идею, может, она будет лучше!

Я смеюсь.

— Мне теперь тоже идти под стол, чтобы ты меня простила? Я могу! Буду сидеть там и кусать тебя за ноги, а ты будешь носить мне еду, кофе и сигареты. Идет?

Иза фыркает.

— Ладно уж, прощаю, — говорит она. — А давай напишем такое… мистическое?

— Главный герой — журналист, — подхватываю я.

— Ральф Блюм!

— Тогда уж — Леон!

— Тогда уж — Гарсия!

— Леон М. Гасия, — говорю я. — Обязательно с М. в середке — для солидности. И лет ему сорок…

— Тридцать шесть!

— А работает он…

— В Эль Мундо!

Это похоже на игру в буриме, одна начинает фразу, другая ее заканчивает, одна изобретает ловушку, другая — возможность спастись из нее. Именно так рождаются наши лучшие вещи.

И вот уже Леон М. Гарсия, циничный и слегка нетрезвый испанский еврей (36 лет, разведен, воспитывает дочь), обрастает плотью. Мы уже видим его — носатого, слегка лысеющего, с вечной сигаретой в углу рта. Один глаз слегка прищурен от дыма, и кажется, что Леон все время ехидно усмехается.

— Он — журналист одной темы.

— «Охотится» на целителей, колдунов, шаманов…

— А почему?

— У него бывшая жена ушла в секту, дважды воровала дочку… потом, наверное, вообще умерла. От передозировки нектара и амброзии.

— Секундочку! — Иза стучит стучит зажигалкой по столу. — А каким боком тут двойники?

— Ну… может, очередной шаман будет его двойником?

— Скучно… Может, этот очередной шаман будет лечить людей с помощью двойников?

— Это как?! — иной раз Изины идеи ставят меня в тупик.

— А вот читает шаман заклинание, и из человека выходит двойник. И шаман говорит — это, мол, та часть тебя, у которой рак…

— Или венец безбрачия!

— Или венец безбрачия, не суть важно. Этого двойника человека должен убить — сам, своими руками. И тогда он избавится от рака. Ну, и от венца безбрачия заодно.

— Богатая мысль! При этом шаман говорит всем, что

количество двойников в нас конечно, и тот, который является носителем рака, может заодно быть и носителем любви к своим детям… Поэтому злоупотреблять «процедурами» нельзя — можно убить в себе все человеческое…

— А Леон?

— А Леон оказывается свидетелем ритуального убийства двойников. Публикует жуткую статью со снимками, организовывает кампанию травли. Шамана сажают в тюрьму, а на суде он проклинает Леона.

— На следующий день Леон распадается на много нежизнеспособных двойников и умирает. Дочь остается сиротой, и ее усыновляет вышедший из тюрьмы шаман.

— Мне не нравится! — хором говорим мы с Изой. Иза нервно хихикает, я встаю из-за стола и начинаю ходить кругами по комнате. На этот раз обычная тактика не принесла плодов. Не дается нам рассказ о двойниках, хоть плачь…

* * *

— Мне кажется, я знаю, в чем дело, — тихонько говорит Иза.

— Я тоже знаю. — Я останавливаюсь посреди комнаты. Иза подходит ко мне почти вплотную.

— Это очень личное, правда? — шепчет она. — Слишком личное. Такое личное, что об этом невозможно написать.

Иза сейчас так близко, что я вижу свое отражение в ее глазах. Я тянусь к ней — обнять, поцеловать, просто прикоснуться! Губы опять — в который уже раз — наталкиваются на стекло… Хватаю со стола пепельницу, в бешенстве запускаю ее в преграду, вечно, с рождения отделяющую меня от моего двойника.

Иза со звоном осыпается к моим ногам.

А теперь еще и самки

Какое лето… какое убийственное лето…

Засуха, голод…

За что, Большая Белая?

В чем мы провинились перед тобой?

Тебе разонравилось наше пение?

Тебе не по душе наши жертвы?

Хоть намекни, Ты же знаешь, мы все сделаем, чтобы вернуть Твое расположение!

Опять Одноногий кого-то несет… отвратительно шуршит под

ногами сухая сожженная трава…

— Маэстро Коа-Шар,[18] Маэстро Коа-Шар! Идемте скорее! Там Ввa Большеротого хотят убить!

Голос хороший, поставленный, значит, уже поет. Тембр странный, высоковат… и сам мальчик — маленький, худенький… и кожа эта пергаментная…

Какое страшное лето, Большая Белая! Июньские дети худы, как богомолы и не растут… совсем не растут…

— Что с Большеротым, Младший?

— Он яйца отказался отдать в инкубатор! Ввa Сухорукий полез, так он ему чуть вторую руку не откусил! И еще кое-что… — у мальчишки вырывается смешок, но он тут же делает серьезное лицо. — Сухорукий так визжал, что сорвал голос… Теперь говорит, что на вечернюю распевку не выйдет. Мужчины вытащили Большеротого на площадь, хотят яйца насильно отнять.

Только этого не хватало… Большеротый — здоровенный лоб, ему перебить половину Хора, как мне — спеть вечерний речитатив под аккомпанемент дождя. То есть, запросто. С другой стороны, на охоте Ввa Большеротому нет равных, только благодаря ему мы все как-то до сих пор живы… Если с ним что-то случится, можно сразу приглашать Одноногого — все лучше, чем медленно умирать от жары и голода.

— Идемте, Маэстро Коа-Шар, — теребит меня Младший, — ну, идемте же! Там уже почти весь Хор собралася, они же его убьют!

Мальчишка так переживает за Большеротого… Кто он ему? Сын? Нет, навряд ли, не было у Большеротого июньских детей. Да и какая разница — сын — не сын. Наши дети, даже когда маленькие, Воспитателей любят больше, чем Родителей. А этот уже подросток, уже, поди, свое место в Хоре есть… Вполне самостоятельная единица, мог бы и пофлегматичнее быть… А он вон приплясывает на месте, и видно, что не от любопытства, не потому что хочется скорее бежать посмотреть, как Хор будет топтать Ввa Большеротого… Кажется, если бы не приличия, он бы меня насильно туда потащил — спасать свихнувшегося Большеротого и его яйца. Надо же, какой… Наверное все же, сын…

— Ты Ва, Младший? — спрашиваю
— Нет, Маэстро, — конфузится он, — я — Коа…

Б-большая Белая! Дожили… Собственного потомка не узнал! Кто он мне? Внук? Правнук? Праправнук?

— Кто твой Родитель, мальчик?!
— Коа-Пятнышко, Маэстро, — шепчет мальчишка, пиная от смущения сухой стебель.

Коа-Пятнышко… Мой младший сын, моя гордость… Самый сильный голос в Хоре. Как он пел, мой мальчик, мой выученик! Когда Коа-Пятнышко открывал рот, замолкал даже ветер. Даже Одноногий не смел шелохнуться, когда раздавалось сладкое пение моего сына… Мы все ему в подметки не годились — да, мы были Хор, прекрасный, слаженный, как единый организм. А Коа-Пятнышко был настоящий Солист, баловень Большой Белой.

Вот только с детьми Пятнышку не везло. Сезон за сезоном он откладывал неправильные яйца. Бедный мой мальчик, он каждый раз так надеялся, так перебирал яйца, вдруг найдется хоть одно хорошее! И все без толку. Яйца Коа-Пятнышка были безнадежно неправильными, их даже в жертву не приносили из опасения оскорбить Большую Белую, их просто сжигали.

Воистину, нет справедливости в мире — у бездельников, вроде Ва Сухорукого каждый сезон появляются чудные, здоровенькие детки, а у моего сына, самого талантливого солиста, когда-либо певшего колыбельные Большой Белой, не было даже наследника, чтобы передать родовое имя.

Последнюю кладку Пятнышко сделал в июне. Кажется, она тоже была неправильная. По крайней мере, Сухорукий что-то такое кричал о проклятии Коа, о том, что кладку надо найти и сжечь, что плохие яйца оскорбляют взор Большой Белой, что в их полупрозрачной мути развиваются неведомые монстры, и если их не уничтожить, всех нас ждет глад, и мор, и большие неприятности.

Обычно вспыльчивый, Пятнышко, кажется, даже не слышал этих криков. Несколько дней он ходил задумчивый, сонный, и дважды взял не ту ноту на вечерней распевке. А потом пропал…

Через неделю, когда мы уже перестали его искать, хмурый и молчаливый Ва Большеротый сказал мне, что видел, как Пятнышко шел к жилищу Одноногого. Отчаявшись стать отцом, мой мальчик просто покончил с собой…

— Маэстро Коа-Шар…

Я вздрагиваю и прихожу в себя. Смотрю на июньского — такого маленького, худого и коричневого… ничего, совсем ничего в нем нет от высокого и крупного Коа-Пятнышка. Разве что не по возрасту звучный голос… Но у Пятнышка был баритон, а несчастного заморыша — альт. И вообще — чушь все это. Любимая сказка всех малышей — про "брошенную кладку". А на самом деле без инкубатора, без Воспитателей, да еще и из неправильных яиц никто вывестись не может. Таковы законы природы, да хранит их Большая Белая.

Крепко беру маленького вруна за подбородок, заглядываю ему в глаза.

— Так ты говоришь, ты — сын Коа-Пятнышка? А ты знаешь, что у Пятнышка не было правильных яиц? Ты знаешь, что ни одна из его кладок не попала в инкубатор? Что у него нет и не могло быть детей? Что… — мальчишка всхлипывает, и я разом остываю: — Не надо, не плачь, Младший…

Он даже не пытается высвободить подбородок из моих пальцев. Он стоит смирно, и из его больших круглых глаз безостановочно катятся слезы. Ох, Одноногий меня забери… Ну, что я за человек? Наорал на ребенка, довел его до слез — за что? За то, что бедняжка увлекся своими фантазиями?

Треплю мальчишку по мокрой коричневой щеке.

— Извини меня, Младший. Пойдем уже, пока Вва Большеротый не оставил нас без Хора.

— Ну, что вы, Маэстро, я все понимаю.

Мальчишка смотрит на меня мокрыми глазами и улыбается такой знакомой улыбкой, что я готов поверить в наше родство.

На площади возле пересохшего фонтана собралась такая толпа, как будто там проходит репетиция Праздничных Восхвалений Большой Белой. В середине разозленным медведем ворочается Вва Большеротый. Вот когда я жалею, что у нас почти у всех поставленные прекрасные голоса — ор стоит до небес. Впрочем, когда я подхожу, люди на секунду замолкают. Но ровно на секунду, а потом опять начинают орать:

— Маэстро Коа-Шар, Большеротый свою кладку в инкубатор не отдает!

— Обнялся с ней и говорит — жрать ее будет.

— Да не жрать, дурак, а жечь!

— Это я дурак? А ну повтори, завтрак Одноногого!

— Это я завтрак Одноногого? Урод, люди, посмотрите на него, это же урод! Он же гаммы, не сфальшивя, пропеть не умеет, а туда же — обзываться!

— Большеротый, давай сюда яйца, придурок!!!! Что ты с ними обнялся, как девственник с первой кладкой, ты же всех детей подавишь, бедных!

— Не тронь! Уб-бью!

— Маэстро, ну, хоть вы ему скажите!

Зажимаю уши, закрываю глаза. Как всегда, когда на репетициях перед концертами стоит галдеж, глубоко вздыхаю… А потом, во всю мощь своих легких: "ХОООООООООООР! МОЛЧАТЬ!!!"

Воцаряется восхитительная звенящая тишина.

Открываю глаза. Обвожу взглядом хор. Даааааааа, могу еще крикнуть, когда надо… некоторые альты послабее даже присели…

Ищу глазами Ввва Сухорукого. Он, конечно, мерзавец, но осведомленнее него никого нет в Хоре. Если нужны не домыслы, а проверенная информация, ничего не поделаешь — приходится звать Сухорукого. Он у нас — четвертая власть. Это, если считать, что Большая Белая — первая, Одноногий и Ночные Летуны — вторая, а я — третья.

— Сухорукий, что здесь творится?

— Большеротый не отдает кладку в инкубатор, Маэстро. Я думаю…мы думаем, что у него получились неправильные яйца. Вот он и не хочет, чтобы кто-то видел.

Сухорукий докладывает четко, но в его выпуклых глазах — удовлетворение. Ну, конечно, у него у самого яйца всегда — отборные. Охотник он никакой, поет громко, но фальшиво, в слабеньком речитативчике путается, зато Родитель — каких поискать. И дети все в него — бесталанные, склочные и живучие. Воспитатели шутят, что их смело можно во владениях Одноногого выгуливать — и ничего им не будет. Не берет их Одноногий. Брезгует, что ли?

Смотрю на угрюмого Ввва Большеротого. И впрямь, привязал к поясу мешочек с яйцами. Отсюда и не разглядишь — правильные или неправильные. Но, наверное, неправильные, иначе с чего бы он так развоевался?

— Большеротый, — говорю устало, — дай сюда кладку, пожалуйста. Ничего не будет с твоими драгоценными яйцами, их

просто положат в инкубатор.

Молчит. Мотает говоловой и молчит.

— Большеротый! — повышаю я голос, но в глубине души знаю, что он не отдаст. На Большеротого кричи — не кричи, ему все равно. И в детстве такой же был упертый. Я ему «ля», а он поет «до». Я «ля», он «до»… так до сих пор и поет «до» вместо «ля», хорошо, хоть голос у него негромкий, не как у Сухорукого.

— Большеротый, — повторяю я уже просто для проформы, — Во имя Большой Белой, отдай кладку, что ты, в самом деле, как… как…

— Как самка, — услужливо подсказывает Сухорукий, и, сообразив, ЧТО он ляпнул, цепенеет. Сейчас его будут убивать, и никто, никто его не защитит. Потому что — это знает любой свежевылупившийся детеныш — даже смерть — недостаточно строгое наказание за такое оскорбление.

— Ну все, — шепчет кто-то из Хора, — допрыгался, голубчик. Сейчас Большеротый из него сделает…завтрак Одноногого.

Хор, как одно существо, затаил дыхание и ждет реакции Большеротого. А Большеротый вдруг ухмыляется:

— Как самка, говоришь? Ну-ну… А ты ее видел, эту самку?

Идиотский вопрос. Самок не существует. Как не существует ангелов, жизни после смерти и спасения от Одноногого — если он тебя уже схватил за задницу. Мой собственный учитель, Маэстро Коа-Камень рассказывал, что самки — это такие мерзкие монстры, которые вымерли тысячу тысяч сезонов назад из-за того, что прогневали Большую Белую. От них осталось одно только слово, да и то в приличных Хорах обычно не употребляется. Особенно в пристутствии Младших.

Между тем, с Большеротым надо что-то делать. Яйца он не отдает — это раз. Яйца явно неправильные — это два. На заявление Сухорукого, считай, не отреагировал, как будто его не смертельно оскорбили, а спросили который час. Это три. По отдельности оно, может быть, звучит не так уж и страшно. Но все вместе это — бунт. А бунтарям не место в Хоре, даже если после этого нам всем предстоит стать завтраком Одноногого.

— Хоооооооооооор! — кричу я. — На суд стано-вись!

Хор быстро выстраивается полукругом. Ввa Сухорукий, который, кажется, только сейчас понял, что убивать его не будут, вприпрыжку бежит на свое место. Ввa Большеротый стоит посреди площади — очень спокойный. Кажется, его не пугает то, что сейчас произойдет.

— Восьмой лирический баритон, Ввa по прозвищу Большеротый, — ох, как мне не хочется это делать, — возраст — четыре сезона, основное занятие — охотник, обвиняется в попытке сокрытия неправильных яиц, в несоблюдении правил Хора и законов природы, да хранит их Большая Белая, а также в бунте и отсутствии чувства здоровой гордости. К какому наказанию следует приговорить Ввa Большеротого? Альты?

— К изгнанию — ангельскими голосами стройно отвечают альты

— Баритоны?

— К изгнанию

— Басы?

— К изгнанию

Вопрос решен, как всегда — единогласно.

— Хоооооооооор! Разойдись!

Полукруг распадается, нас обступают.

— Извини, Ввa, — говорю я. — Хор — это единое существо. А ты нарушаешь.

— Вы меня простите, Маэстро, — отвечает он. — Я бы и так ушел. Мы все равно собирались.

— Мы?! — я в ужасе. За что, Большая Белая?! Кого он уведет с собой, этот ненормальный, кого еще лишится несчастный Хор???

Из-за моей спины выскальзывает Младший — тот самый, который утверждает, что он — мой внук. Ввa Большеротый кладет ему руку на плечо.

— Маэстро… мальчишка заглядывает мне в глаза. — Маэстро, я не вру и не фантазирую. Мой Родитель — Коа-Пятнышко. Он оставил кладку в доме у Ввa… К сожалению, не все выжили. Вы… — мальчишка останавливается, набирает побольше воздуха, чтобы выпалить все разом, — вы, самцы, более приспособленные. Если бы не Большеротый, я бы, наверное, даже не вылупилась…

Какое страшное… какое убийственное лето… Засуха, голод. Хор потерял лучшего охотника. А теперь еще и самки… И Большая Белая лягушкой висит в небе и улыбается. Как будто так

и надо…

Луиш

Ладони опять влажные и липкие, хоть ты что делай.

Надо бы встать, пойти их вымыть — горячей водой, да с мылом. Туалет с умывальниками в конце коридора — предпоследняя дверь по правой стороне. Надо только встать…

Но Луиш сидит смирно.

Луиш боится разбудить Сильвию.

Измученное лицо Сильвии растеклось по подушке.

Она громко дышит, а в углу приоткрытого рта коростой запеклась высохшая слюна.

Луиш вытирает руки об халат. Вначале одну, потом другую. Он знает, что через секунду ладони снова увлажнятся, но все равно вытирает — тщательно и остервенело, как старательная, но склочная операционная сестра.

Сильвия начинает похрапывать.

Ее храп, несончаемый комариный писк ламп дневного света в коридоре и размеренный механический лай какой-то неупокоенной собачьей души на улице на мгновение заглушают восхитительный и мучительный звук льющейся где-то воды.

Луиш закрывает глаза, и перед его глазами встает широкая глуповатая улыбка умывальника. Из блестящего крана хлещет вода, а из прикрепленного у зеркала розового баллончика лениво стекает тягучая жемчужная струйка мыла.

Луиш вскакивает.

— Ты куда?

Голос у Сильвии звонкий, как будто и не спала.

— Пойду помою руки.

— Ты их мыл пятнадцать минут назад!

— Откуда ты знаешь?

— Я ТЕБЯ знаю, — Сильвия открывает глаза. — Луиш, пожалуйста!

Луиш покорно садится. Сильвия улыбается. Теперь в ее голосе — нежность.

— Спасибо. Ты такой молодец!

— Потому что не пошел мыть руки? — Луиш тоже улыбается, хотя и кривовато, и пытается тыльной стороной ладони погладить Сильвию по щеке.

Сильвия хватает его руку и целует в ладонь. Внутри Луиша все съеживается от неловкости. Ведь рука грязная, грязная! Липкая, влажная, разве ж можно ее — губами?

— Я очень тобой горжусь, — шепчет Сильвия. — Тетя Джулия

говорила, что многие мужчины не выдерживают. Падают в обморок.

— Ну, я их могу понять. — Луиш высвобождает руку из пальцев Сильвии и украдкой вытирает ее об халат. Становится легче, но ненамного. — Зрелище не из приятных.

Сильвия тихонечко смеется.

— Если бы мы были такими же нежными, как вы, род человеческий уже давно бы вымер. Никто бы никогда не рожал. Но ты молодец. Ты потрясающе держался!!!

* * *

— Зеркальце есть? — спрашивает фигура в зеленом голосом тети Джулии. Луиш достает из кармана зеркальце, которым пользуется на работе, чтобы видеть внутренности компьютеров.

— О, на ручке! Отлично! — радуется зеленая фигура. — Теперь смотри сюда!

Луиш послушно смотрит на маленькое темное пятнышко, которое ему указывает зеленый перчаточный палец.

— Что это?

— Это головка, балда!

Головка… это темное, влажно поблескивающее пятнышко — головка…

Луиша начинает мутить.

— Ну, племянник, не трусь! — подбадривает его голос тети Джулии. — Всего ничего осталось!

И Луиш смотрит, не в силах отвести глаз, на темное пятнышко между напряженных бедер Сильвии. Оно растет. Растет медленно, но неуклонно, пока, наконец, с негромким чавкающим звуком не превращается в покрытую слизью крошечную голову.

— Нет! — кричит Луиш.

* * *

— Ты просто скромничаешь, — говорит Сильвия. — Ты себя недооцениваешь.

Она окончательно проснулась и пытается устроиться поудобнее.

— Помоги-ка мне сесть, — весело требует она, — что-то я какая-то неуклюжая сегодня.

Луиш еще раз наскоро вытирает руки об халат, и усаживает Сильвию, стараясь прикасаться только к ткани ее ночной

рубашки. Круглый живот, к которому он привык за последние несколько месяцев, исчез, и Сильвия напоминает сдувшийся шар.

С неожиданной силой Сильвия обнимает Луиша, не давая ему разогнуться.

— Ты полюбишь ее, — шепчет она. — Ты зря так переживаешь. Ты почувствуешь, что она твоя и полюбишь ее как я! Ты еще станешь совершенно сумасшедшим папашей, вот увидишь!

* * *

Луиш просыпается от ощущения, что его только что пнули в живот. Он проводит рукой — никого. Только округлившаяся уютная Сильвия посапывает и вздыхает. Значит, приснилось. Луиш прижимается к Сильвии и закрывает глаза, и в эту же секунду получает очередной пинок.

"Это ребенок, — думает Луиш, отодвигаясь от Сильвии. — Это чертов ребенок уже вовсю со мной воюет".

* * *

— Станешь-станешь! — Сильвия отпускает Луиша и потягивается. — До того, как Сандра забеременела, Педру Эзекиел был еще хуже тебя. "Ах, зачем нам ребенок! Ах, нам вдвоем так хорошо! От ребенка сплошные расходы и неприятности!" — гнусавит Сильвия. У нее действительно получается так похоже на Педру Эзекиела, что Луиш смеется.

— И что? — спрашивает он.

— И ничего. С тех пор, как родилась Лаура, он от нее не отходит. Сандра говорит, что, если бы он мог, он бы и грудью сам кормил! — Сильвия победно смотрит на Луиша. — И ты так будешь, я уверена!

Луиш пытается представить, как он кормит грудью то слизистое, синевато-серое, что вылезло из Сильвии. Все его веселье улетучивается, к горлу подкатывает тошнота, а ладони снова становятся влажными и липкими.

Триумф на лице Сильвии сменяется испугом.

— Ну, пожалуйста, — умоляюще говорит она. — Ну, возьми себя в руки! Ведь это же твоя дочь! Наша дочь!

Луиш вытирает руки об халат и механически кивает. Да, да, конечно, он возьмет себя в руки, он будет любить этого ребенка, ему бы еще только руки помыть, с мылом, сейчас, немедленно, а

потом-то он будет, он будет, он…

* * *

— Маааааленькая какая, — озабоченно бормочет фигура в зеленом голосом тети Джулии, колдуя между ног у Сильвии — такая маленькая девочка. Совсем-совсем маленькая девочка… Что ж ты, племянник, такую маленькую девочку сделал?

— Маленькую — это какую? — Луиш выталкивает слова с таким же усилием, с каким Сильвия только что выталкивала из себя младенца.

— Маленькую — это такую, — фигура в зеленом на мгновение подносит к его лицу сизый, слабо шевелящийся комок. Луиш инстинктивно зажмуривается.

— Да, ладно, Луиш, что за страсти, ты что — буку увидел? — раздраженно спрашивает голос тети Джулии. — Открывай уже глаза, открывай! Ну, что же… Раз вы с Сильвией не смогли доделать как следует вашу маленькую девочку, будем ее доделывать в инкубаторе.

* * *

Сильвия снова спит, ее измученное лицо растеклось по подушке.

Ресницы слиплись, в уголке полуоткрытого рта коростой запеклась засохшая слюна.

Луишу хочется сковырнуть это белое пятнышко, но он боится разбудить Сильвию.

Да и руки у него грязные.

Грязные, потные, отвратительно-липкие руки.

Луиш с жалостью смотрит на Сильвию, потом решительно встает со стула и выходит из палаты.

В коридоре пусто, только лампы дневного света непрерывно ноют на одной ноте.

Совсем рядом с туалетом, в прозрачном ящике спит, подключенный к приборам сизый комок.

Луиш откидывает крышку и вытаскивает комок наружу, обрывая держащие его трубки.

Комок слабо трепыхается у него в руках, сучит крошечными ножками. Малюсенькое личико кривится, но из судорожно раскрытого рта не доносится ни звука.

Сантиметр за сантиметром Луиш внимательно осматривает

то, что Сильвия назвала "его дочерью".

Нет, — думает он. — К этому невозможно привыкнуть. Это нельзя любить. Может, потом, когда оно вырастет…

Луиш засовывает комок обратно в ящик и идет в туалет.

Из коридора доносятся вначале шаги, потом истерические женские крики.

Луиш не вслушивается. Он открывает кран на полную мощность, набирает в горсть жемчжуно-розового мыла из баллончика на стене и, закрыв глаза, с наслаждением моет руки.

Непарный элдер [19]

Элдер Антониу «Тони» Перейра торопливо пересекает двор. Время от времени он переходит с быстрого шага на рысцу, спотыкается, останавливается, делает глубокий вздох, и снова идет, стараясь двигаться быстро, но без неподобающей миссионеру суетливости. Элдеру Антониу смертельно хочется побыстрее оказаться в своей комнате. Там, усевшись боком в продавленное зеленое кресло и перекинув длинные ноги через подлокотник, его ждет элдер Карлуш «Литу» Соуза. Литу простыл и кашляет, поэтому Тони почти насильно обмотал ему шею серым с кисточками шарфом и вышел на улицу один. Тони знает, что элдеры не ходят по одиночке, видит Бог, не из каприза он нарушил волю Пророка, но дома закончились хлеб, и яйца, и молоко, и надо было вынести мусор и еще получить в банке деньги и забрать на почте брошюры, а Литу так кашлял, что даже хозяйка пансиона, милая заблудшая старушка дона Мафалда, совершенно погрязшая в своем католичестве, поймала Тони у туалета и попросила позволения зайти после обеда. Тони разрешил, и в полдень дона Мафалда торжественно вплыла в их с Литу комнату, осторожно неся на подносе исходящую паром кружку. Литу заглянул в кружку и скривился, Тони тоже хотел заглянуть, но дона Мафалда вручила кружку Литу и так укоризненно посмотрела, что Литу немедленно выпил все до капли, хоть и гримасничал отчаянно.

— Что там было? — с сочувствием спросил Тони, после того как Литу, закрыв дверь за доной Мафалдой, кинулся к умывальнику и принялся полоскать рот.

— Кипяток с луком и с лимонными шкурками, — содрогнувшись, ответил Литу. — Честное слово, я предпочитаю кашлять! — и тут же закашлялся, да так, что из глаз хлынули слезы.

Поэтому Тони вышел один — и в магазин, и везде, он был

твердо уверен, что сможет, но не смог — не пошел ни на почту, ни в банк, только вынес мусор и купил молока и яиц, а теперь идет по двору к пансиону, трудом сдерживаясь, чтобы не припустить бегом. Элдер Тони не умеет ходить по улице без Литу. Без Литу Тони чувствует себя раздетым и выставленным на всеобщее обозрение, освежеванным и разделанным, мертвым и никому не нужным. Решительно, элдер Тони не умеет жить без Литу.

На лестнице Тони сталкивается с доной Мафалдой. Дона Мафалда глядит на него приязненно и немного обеспокоенно:

— Ну, как вы себя чувствуете, мой мальчик? — спрашивает она своим слегка надтреснутым жеманным голоском. — Помог вам мой чай?

Тони кивает и благодарит. Бедная старушка, — думает он, — совершенно не в себе. Опять спутала меня с Литу. Тони всегда недоумевает, когда дона Мафалда принимает одного элдера за другого. Тони не понимает, как можно спутать его с Литу. Литу высокий и худой. Литу красивый. У Литу чудесные темно-рыжие, как шерсть у ирландского сеттера, волосы. Тони ни разу не прикоснулся к ним, но он уверен, что и на ощупь они такие же мягкие и шелковистые. У Литу зеленые крыжовенные глаза и длинные музыкальные пальцы. У Литу нос с горбинкой и твердый, с ямочкой, подбородок. Тони украдкой бросает взгляд на свое отражение в нечистом зеркале в конце коридора. Он себе не нравится. Он низенький, толстый и смуглый, но не золотистый, а какой-то зеленоватый. У него маленькие пухлые руки, дрожащие, как желе, щеки, а в кудрявых темных волосах уже сверкает крошечная круглая лысинка. Тони очень хотел бы быть таким, как Литу. Но нет, так нет, он просто счастлив тем, что Литу есть в его жизни. Вместе они — сила. В прошлом году их признали лучшей миссионерской парой.

Перед дверью комнаты элдер Тони останавливается. Может быть, — думает он, — вначале имеет смысл пойти на кухню и приготовить Литу, скажем, омлет?

Большой золотистый омлет, а к нему — два тоста, чай — нормальный чай, без лимонных шкурок и лука — и еще джем. Тони знает, где дона Мафалда прячет джем, и иногда таскает у нее немножко. Не для себя — для Литу. Литу сладкоежка, и это до слез умиляет элдера Тони.

А когда Литу будет намазывать джем на тост, Тони, наконец, наберется мужества и взъерошит ему темно-рыжие волосы. А, может, просто сдвинет упавшую на лоб шелковистую челку. И

Литу не подумает о нем плохо, наоборот, он улыбнется Тони крыжовенными глазами и смешно поблагодарит его с набитым ртом.

Руки у Тони заняты подносом доны Мафалды, поэтому он несколько раз ударяется о дверь оттопыренным задом а, когда дверь подается, пятясь, входит в комнату, и с криком "Сюрприз!" поворачивается к зеленому продавленному креслу. С кресла с задушенным писком вскакивает небольшая растрепанная девушка. На девушке ничего нет, и она безуспешно пытается прикрыться широким серым шарфом с кисточками. Маленькое личико ее кривится, как будто она собирается не то чихнуть, не то разрыдаться. Багровый от смущения Тони топчется посреди посреди комнаты с подносом и не знает, куда девать глаза. И только Литу спокойно застегивает взвизгнувшую молнию на джинсах, и устраивается в кресле боком, перекинув через подлокотник длинные ноги.

Пять минут спустя все мирно пьют чай. Тони еще мрачен и растерян, девушка — "Криштина Рейш", — представилась она после того, как все таки оделась, — смущена, но Литу заботлив и добродушен за троих. Он снова обмотал шею шарфом с кисточками, походя приобнял Тони за плечи, поцеловал Криштину в кончик носа, и неожиданно в комнате воцарилось благожелательное спокойствие. В присутствии Литу атмосфера просто не может быть напряженной.

— Я не хочу никаких напарниц, — говорит раскрасневшаяся Криштина, намазывая джем на тост. — Кто придумал эту глупость — обязательно по двое? Другое дело, если человек сам не справляется…

Тони смотрит на нее с сожалением.

— Поодиночке мы не можем заниматься миссионерской работой, ты же знаешь.

— Почему?! — удивляется Криштина. — Ты же занимаешься, и ничего!

Тони краснеет.

— Я не занимаюсь. Я только в магазин выходил.

Криштина смотрит на него с недоверием.

— Я только в магазин, — повторяет Тони. — Заниматься миссионерской работой — в одиночку?! Ты с ума сошла! Я, если хочешь знать… — Тони ловит предостерегающий взгляд Литу и замолкает. Работой! Да он вообще ничем не в состоянии заниматься, если рядом нет Литу…

Личико Криштины снова кривится — на сей раз от злости.

— Да, конечно! В магазин он выходил! Хоть бы мне не врал! Думаешь, ты особенный, и только тебе можно одному работать?! Боишься, что тебя кто-нибудь подвинет с места лучшего миссионера?

Тони смотрит на Литу.

— Сдурела она? — одними губами спрашивает он.

— Не бери в голову, — так же неслышно отвечает Литу и успокаивающим жестом кладет руку Тони на колено.

Криштина зло смотрит на Тони и Литу, раздувая от негодования тугие ноздри.

— Мы еще посмотрим, кто будет лучшим миссионером в этом году! Тоже мне — непарный элдер!

Тони с Литу снова переглядываются, и Литу протягивает руку и рывком пересаживает Криштину к себе на кресло. Тони отворачивается, чтобы не смотреть, но все равно видит, как Литу берет двумя пальцами маленькое, красное от злости ухо, и что-то в него шепчет, и Криштина вдруг расслабляется, обмякает и даже трется щекой о руку Литу.

* * *

Дона Мафалда обнаружила, что еще одной банки джема как не бывало.

— Ну, что такое, — сердито бормочет она себе под нос, — сколько же можно таскать мое сладкое?!!

Дона Мафалда решительно подходит к комнате на втором этаже, и приоткрывает дверь. Ее единственный жилец — Карлуш Антониу Перейра де Соуза — которому она сдала комнату только потому, что он вначале сказал, будто его зовут Элдер, как внука доны Мафалды, сидит боком в зеленом продавленном кресле, перекинув длинные ноги через подлокотник и разговаривает сам с собой, поочередно отпивая чай из трех разных кружек.

Дона Мафалда сплевывает и крестится. Ох, уж эти сектанты! Хорошо, что контракт на съем заканчивается уже в конце этого месяца.

Ритиня

Когда Ритине исполнилось четыре года, бабуля Машаду принесла ей потрясающего зверя шиншиллу. Шиншилла была похожа одновременно на хомяка и на серебристого плюшевого медведя, который сидел на шкафу и которого Ритине трогать не

позволяли. Зверь спокойно смотрел на Ритиню выпуклыми коричневыми глазами и ритмично шевелил замшевым носом, и только один раз нервно прижал круглые уши, когда Ритиня встала на цыпочки и восторженно поцеловала его в шелковистую головку.

— Вот зачем, мама, вы купили эту гадость? — хмуро спросила Изабел и поморщилась. Она морщилась всякий раз, когда ей приходилось общаться с бывшей свекровью. — Вам, что, деньги девать некуда? Может, вам пенсию увеличили?

Бабуля Машаду, толстая неопрятная старуха, окинула Изабел презрительным взглядом.

— Моя пенсия — не твоего ума дело, — пророкотала она тяжелым басом. — На подарок единственной внучке как-нибудь наскребу.

Изабел с независимым видом одернула растянутую шерстяную кофту, словно пытаясь спрятать огромный беременный живот. Бабуля Машаду ухмыльнулась.

— Единственной внучке, — с нажимом повторила она. — Ритиня у меня одна, хоть ты еще десяток ублюдков роди!

И не обращая больше внимания на взбешенную Изабел, бабуля порылась в кармане цветастого халата и вручила Ритине измятую бумажку в тысячу эшкуду.

— На, ласточка, купи себе чего-нибудь, — прогудела она умиленно. — Кто ж тебя еще и побалует, как не родная бабушка?

* * *

После рождения Тьягу и Диогу Изабел, и без того не слишком добродушная, стала еще раздражительней. Чуть что — сразу хваталась за ремень.

— Мамочка, не надо, я больше не буду!!! — визжала Ритиня, бегая вокруг обеденного стола.

— Сейчас вот отлуплю, тогда точно не будешь, — скрежетала Изабел, пытаясь достать юркую дочь металлической пряжкой. — Тварь неблагодарная! Заботишься о вас, заботишься, а вы в душу плюнуть норовите!

Привычно уворачиваясь от ремня, Ритиня прикидывала, стоит ли попытаться удрать к бабуле Машаду, или Изабел от этого разозлится еще сильнее. Под столом тихо, как мыши, сидели Тьягу и Диогу и завороженно глядели, как мимо них с топотом пробегают ноги в тапках.

* * *

Зе Мария, отец Тьягу и Диогу, продал свой дом и переехал жить к Изабел.

По вечерам после школы Изабел посылала Ритиню в бар "Викторианский уголок" — звать Зе Марию к ужину.

В "Викторианском уголке" было душно, накурено и пахло кислятиной.

Зе Мария сидел за лучшим столиком — напротив телевизора, и пил красное вино, которое хозяйка бара Манела подливала ему из огромного пластикового баллона.

— Дочь моей Белы! — хвастливо говорил За Мария, хлопая Ритиню по спине. — Хорошая девчонка. Люблю ее, как родную!

— Как такую не любить, — кивала Манела и протягивала Ритине тресковый пирожок или сливочное пирожное.

Ритиня вежливо благодарила, но не брала. Тресковые пирожки и сливочные пирожные у Манелы тоже пахли кислятиной.

Когда Изабел увезли в роддом, Зе Мария прямо из "Викторианского уголка" пришел к Ритине в комнату.

— Хорошая девчонка, — сопел он, тиская Ритиню, только что вышедшую из душа. — Сладкая! Как можно не любить такую сладкую девчонку?!

Зе Мария пах хуже, чем тресковые пирожки Манелы. Ритиня пиналась и пыталась укусить Зе Марию за руку.

В дверях, прижавшись друг к другу, стояли Тьягу и Диогу в одинаковых пижамах. Тьягу громко дышал ртом. Под носом у него засохли зеленые сопли. Диогу с хлюпаньем сосал большой палец.

* * *

Милу Вашконселуш очень нервничала. Когда она решила усыновить ребенка, она думала, что возьмет себе совсем крошку — годовалую или около того. Она все распланировала: как выберет, как привезет домой, как подаст заявление в Министерство образование и переведется куда-нибудь на Мадейру, куда можно будет приехать сразу с ребенком, и никто не спросит — откуда он у ни разу не беременевшей Милу.

В мечтах Милу видела себя прогуливающейся по скверу с коляской, в которой сидит хорошенький щекастый мальчишка в красной панамке и, улыбаясь двумя новенькими зубами, трясет погремушку. Милу исправно читала все, что касалось маленьких детей. Она обзавелась книгами по педагогике и возрастной психологии, прошла курсы первой помощи и курсы молодых

матерей. Она записалась сразу на несколько интернет-форумов, где обсуждались детские проблемы и даже купила дорогущий светлый ковер, чтобы чтобы ребенку было приятно по нему ползать, и огромную упаковку подгузников — на них была такая скидка, что грех было упускать.

И вдруг — восьмилетняя девочка. Милу тихонечко вздохнула, прощаясь с мечтой о коляске и погремушке. Конечно, в приюте были и мальчики — хорошенькие щекастые мальчики, годовалые или около того. Но худенькая большеглазая девочка, прижимающая к себе попорченного огнем серебристого плюшевого медведя, напомнила Милу ее саму в детстве.

— Несчастный ребенок, — сказала Милу директриса приюта, сухонькая монахиня сестра Беатриш. — Круглая сирота. Вся родня погибла.

— Несчастный случай? — спросила Милу, сглатывая ком в горле.

Сестра Беатриш покачала головой.

— В каком-то смысле, — сказала она и скорбно пожевала губами. — Я точно не в курсе, газовый баллон взорвался, что ли. А эти старые дома, знаете… вспыхнул, как спичка. Девочка проснулась и выскочила в окно, а остальные не успели. Может, спали очень крепко. Отчим, я слышала, пил. Знаете, ее мать буквально накануне родила еще одну дочку, вернулась из роддома — и вот такая страшная смерть…

Милу часто замигала, смаргивая слезы. Сестра Беатриш оглянулась — не слышит ли кто, и, почти прижавшись губами к уху Милу зашептала:

— Полиция думает, что это поджог. Вроде, двери были как-то так закрыты, чтобы никто выйти не мог. Говорят, бабушка девочки ненавидела невестку и зятя. Ее привезли в полицию, она там стала кричать, возмущаться, устроила жуткий скандал. Такая, знаете… — сестра Беатриш замялась. — тяжелая старуха, властная, шумная. Бывшая торговка рыбой. Кричала, кричала, всех взвинтила, потом вдруг взяла и упала. Ее стали поднимать, а она уже… — сестра Беатриш оторвалась от уха Милу и печально перекрестилась.

* * *

Милу тихонько вошла в комнату. Девочка сидела, как она ее и оставила час назад — очень прямо, глядя куда-то в угол и прижав к себе обожженного медведя.

— Зайчик, — позвала Милу. — Смотри, что я тебе купила!

Девочка повернулась и уставилась на Милу большими светлокарими глазами.

— Что вы со мной будете делать? — спросила она.

Милу поперхнулась.

— Ну… — промямлила она, — для начала я бы хотела с тобой познакомиться поближе…

Девочка продолжала смотреть, не мигая, и даже, как будто, не дыша.

— А потом, наверное, усыновлю, — закончила Милу.

Девочка нахмурилась. Она явно не знала слова "усыновить".

— Ну… Ты будешь у меня жить… Я буду тебе все покупать… Мы будем с тобой везде ходить…

Девочка еле заметно улыбнулась и вроде даже слегка обмякла на стуле.

— Я буду о тебе заботиться, — продолжила обрадованная Милу. — И любить, конечно. Любить, как родную дочь.

Девочка наклонилась, и ее вырвало прямо на светлый дорогущий ковер.

Жоаниня

— А вот фартуры![20] Фартуры! Кому фартуры?! Горячие фартуры, шурры,[21] вафли!!! Кому фартуры?! Детка, — дородная торговка в грязном переднике перегибается через прилавок ярмарочного вагончика и манит Жоаниню пальцем, — тебе фартуру, шурру или вафлю?

Жоаниня оглядывается в поисках бабушки и обнаруживает ее у палатки с глиняной посудой. Дона Филомена, прямая и торжественная, как восклицательный знак, задумчиво крутит в руках расписную мисочку с надписью "Caldo verde".[22]

Жоаниня снова поворачивается к киоску с фартурами.

— А… — нерешительно спрашивает она, — сколько…сколько стоит шурра? С шоколадом?

— Пятьдесят эшкудо.

Жоаниня засовывает руку в кармашек розового платья. Она уже купила себе свистульку в виде петушка, блюдечко с красивой надписью «Жоаниня» и специальной петелькой, чтобы вешать его на гвоздик, белую меховую овечку и зонтик для куклы Клементины, и от полученной с утра от Лурдеш прекрасной двухтысячной купюры осталось одно воспоминание.

— Один и один — будет два, — бормочет Жоаниня, двигая монетки по ладошке, — два и пять — семь, семь и десять и десять… Семь и десять и десять, это будет…

— Двадцать семь, — вмешивается торговка, ловко

подхватывая колесо фартуры двумя деревянными лопатками и перенося его со огромной сковороды на поднос. — Посмотри, зайчик, в другом кармане. Наберешь еще столько же, и будет шурра.

— Эй, Ванесса! — внезапно вопит она. — Давай, доченька, скорее корицу и ваниль!!!

Щекастая девочка, на вид немного постарше Жоанини, в таком же, как у матери грязном переднике, встает на цыпочки и с важным видом посыпает фартуру корицей и ванильным сахаром из круглых коробочек с дырками.

Жоаниня послушно сует руку в другой карман, но находит только запасную пуговицу от платья и леденец от кашля.

Девочка в переднике отставляет коробочки с корицей и ванилью, берет с прилавка шурру с шоколадом и откусывает половину. Горячий шоколад течет у нее по пальцам, и девочка слизывает его острым красным языком, высокомерно поглядывая на Жоаниню.

Жоаниня подходит вплотную к прилавку.

— Полшурры без ничего, — твердо говорит она, стараясь не смотреть на девочку, и протягивает торговке свои монетки. — Сдачи не надо.

Торговка оглушительно хохочет.

— Полшурры без ничего!!! — повторяет она. — Сдачи не надо!!! Посмотрите только на нее! Маленькая, а деловая! Полшурры без ничего!!!

Жоаниня резко разворачивается и со всех ног бросается к бабушке. В спину ей несется басовитый хохот торговки и тоненький с привизгом смех щекастой девочки.

* * *

— А фартуры вы с бабушкой ели? — спрашивает Лурдеш, приколачивая гвоздик к двери Жоанининой комнаты. — Давай сюда твое блюдечко!

Жоаниня прячет блюдечко за спину.

— Я сама хочу повесить!

— Конечно, сама. Оп-па! — Лурдеш подхватывает дочь на руки и поднимает повыше. Сосредоточенно сопя, Жоаниня цепляет блюдечко на гвоздик.

— Красиво? — с сомнением спрашивает она.

— Очень! — Лурдеш слегка подкидывает Жоаниню, но тут же делает комично-несчастное лицо и поспешно ставит девочку на пол. — Ой-ой-ой, какая ты стала тяжеленная! Признавайся,

сколько фартур вы с бабушкой слопали? Тридцать? Сто?

Жоаниня воинственно вздергивает подбородок.

— Я не ем дурацкие фартуры!

— Это почему? — удивляется Лурдеш, слегка поправляя криво висящее блюдечко.

— Они вредные, — гордо говорит Жоаниня. — Бабушка говорит, что в них эти…жиры… от них люди становятся толстыми и умирают от сердца. И от этого…который у тебя. Бабушка говорит, что ты, когда была маленькая, ела много фартур, поэтому теперь…мама? Мама, это мое блю… МАААААААААМАААААААА!!!!

"Ничего, — зло думает Лурдеш, промывая холодной водой неглубокие порезы. — Ничего, дорогая мамочка, я еще с тобой побеседую. Если ты думаешь, что сможешь испортить детство Жоанине точно так же, как ты испортила его мне…" — не закончив мысль, Лурдеш выключает воду, промокает руку салфеткой и заклеивает самый большой порез пластырем.

— Жоаниня! — зовет она. — Обувайся, солнышко, идем покупать тебе новое блюдечко, еще красивее! И шурр съедим. С шоколадом и ванилью!

Зареванная Жоаниня с недовольным видом застегивает белые сандалии.

— Сама ешь свои дурацкие шурры, — упрямо бормочет она себе под нос.

* * *

— Ну, Жоана, ну, прекрати же ты нервничать! — утомленно говорит Лурдеш. — Во-первых, сейчас ты все равно уже ничего не исправишь. А, во-вторых, даже если у тебя средний балл будет семнадцать, а не восемнадцать, ты всегда можешь поступить на сестринское дело,[23] там принимают с шестнадцатью, я узнавала.

Жоаниня не отвечает. Она сидит на диване и нервно грызет ноготь большого пальца.

— И вынь палец изо рта. Ты уже до мяса догрызлась! — командует Лурдеш. — Жоана! Кому я сказала!

Жоаниня нехотя опускает руку и тут же начинает покусывать нижнюю губу.

— Не хочу я на сестринское дело, — наконец говорит она. — Я хочу на медицину. В Коимбре после третьего курса можно специализироваться по диетологии.

— Диетология, диетология, опять диетология, — ворчит Лурдеш. — Ты уверена, что это ты хочешь, а не бабушка?

Жоаниня непределенно пожимает плечами.

— Я ничего не имею против диетологии, — уклончиво говорит она. — А бабушка сказала, что оплатит мне весь курс.

— Ну, как знаешь, — говорит Лурдеш, с трудом выбираясь из кресла. — В любом случае, не психуй и не грызи ногти. Не поступишь сейчас, поступишь через год.

Лурдеш выходит из комнаты, шаркая по полу огромными разношенными тапками и тяжело опираясь на палку. Жоаниня с острой жалостью смотрит ей вслед и снова вцепляется зубами в ноготь большого пальца.

* * *

— Жоана, ты уверена, что хочешь закрыть бабушкин счет? — сеньор Нуну Лопеш с неодобрением качает головой. — Ты хорошо подумала?

Жоаниня молча кивает.

— Может, все таки, не станешь торопиться? Представь, что через год-два тебе захочется вернуться в университет и закончить курс. Знаешь, как тебе тогда пригодятся эти деньги? — сеньор Лопеш чувствует, что Жоаниню не переубедить, но с утра в банк заходила дона Лурдеш и попросила сеньора Лопеша побеседовать с Жоаниней. "Вы же старый друг, — сказала она, сморкаясь в бумажный платок. — Может, она хоть вас послушает?"

"Черт знаешь что, мало мне своих забот, — думает сеньор Лопеш, раздраженно постукивая по зубам ручкой с золотым пером. — Подумаешь, девчонка университет бросила на четвертом курсе. Все они сейчас бросают, никто не хочет учиться. А что счет обнуляет…забеременела, поди, поедет в Испанию аборт делать…"

— Ну, ладно, Жоана, — говорит сеньор Нуну Лопеш строгим голосом. — Я в твои дела вмешиваться не желаю. Ты — девочка взрослая, и… — сеньор Лопеш коротко хмыкает — привитая, сама должна знать, что делаешь.

Жоаниня снова кивает, встает со стула, улыбается сеньору Лопешу и выходит из кабинета.

"Наглая девица, — недовольно думает сеньор Лопеш, — сидела тут полчаса, и ни разу не открыла рта. Могла бы хотя бы попрощаться по-человечески…"

* * *

Жоаниня паркует новенький фургон на тротуаре у перекрестка. В шесть утра здесь пусто, как будто город еще не проснулся. Жоаниня поднимает боковую стенку, и фургон превращается в киоск. На видном месте висит лицензия в рамочке. Рядом с ней — обязательная жалобная книга, еще ни разу не разу не раскрытая, в целлофановой упаковке.

Жоаниня подключает генератор, снимает чехол с электроплитки, и наливает масло в огромную черную сковороду.

— А вот фартуры, кому фартуры! Горячие фартуры, шурры, вафли! — тихонько мурлычет она себе под нос, надевает накрахмаленный белый передник и начинает замешивать тесто.

"В первую очередь я наделаю шурр, — думает Жоаниня. — Начиню шоколадом и съем". Она представляет себе, как горячий шоколад щекотно поползет у нее по пальцам, и невольно облизывается.

Половинки

— А все потому, что ты выбирать не умеешь, — сказала Инеш. — Если бы я так выбирала… — она поискала по карманам, выложила на столик несколько двадцатисентимовых монет и принялась складывать их в столбик. — Если бы я так выбирала, я бы… — столбик покачнулся и распался, и Инеш упала грудью на столик, пытаясь не дать монеткам раскатиться в разные стороны.

Изилда прихлопнула ладонью убегающую монетку и поболтала палочкой корицы в остывающем кофе.

— Не хватит тебе, — сказала она, пододвигая монетку к Инеш. — У тебя тут нет нет двух с половиной евро.

— Думаешь? — Инеш покопалась в сумочке и вытащила еще горсть двадцатисентимовиков. — Мне Паулу вчера десять евро разменял. Хожу теперь, бренчу… Дона Фатима!!! — внезапо заорала она. Изилда вздрогнула и пролила на стол немного кофе. — Дайте мне пачку «Португальских» голубых и зажигалку!

— Ну, что ты так кричишь? — пробормотала Изилда, промокая салфеткой коричневую лужицу. — Хоть бы предупреждала заранее, что ли…

— Зачем? — удивленно спросила Инеш, похлопала себя по карманам, и тут же завопила снова. — ДОНА ФАТИМА!!! Не надо зажигалку! Я уже свою нашла!

Изилда страдальчески поморщилась и сломала палочку корицы пополам. Иногда подруга отчаянно ее утомляла.

* * *

— Я вообще не понимаю, как ты можешь с ней жить, — недовольно сказала дона Консейсау, откупоривая пузырек темного стекла. По кухне пополз резкий запах каких-то трав. — Она — холодная, эгоистичная, самовлюбленная сука, а ты…

— Я не живу, — буркнул Жоау, с треском разворачивая фантик. — А Габриэла — не сука, — добавил он и быстро сунул конфету в рот.

— Сука, — непреклонно возразила дона Консейсау. — Раз!

Жоау нервно дернулся и проглотил конфету целиком.

— Ты чего? — спросил он, поднимая глаза на сестру.

— Лекарство, — лаконично ответила дона Консейсау, наклонив пузырек над маленьким стаканчиком. — Два, три, четыре, пять…

— Габриэла — не сука, — сказал Жоау и потянулся за следующей конфетой.

— Восемь! — угрожающе сказала дона Консейсау. — Девять, десять, одиннадцать…

— Она просто несчастный больной человек. Где ты берешь эти, с коньяком? Очень вкусные, мне такие ни разу не попадались.

— ПЯТНАДЦАТЬ! — крикнула дона Консейсау и торжествующе взмахнула пузырьком.

* * *

— Не нужны тебе мальчишки, — убежденно сказала Инеш. — Тебе нужен мужчина. Взрослый, образованный, с деньгами. Которого ты будешь уважать. Понимаешь? У-ва-жать! А не использовать в постели и не гонять по хозяйству, как прислугу.

Изилда покивала головой и заказала себе еще кофе.

— Только дайте мне, пожалуйста, ложечку, а не корицу, — попросила она.

— Ты меня не слушаешь, — укоризненно сказала Инеш. — Я вообще не понимаю, для чего ты тогда просишь совета, если ты меня не слушаешь?!

* * *

— Хорошо, хорошо, — сказал Жоау. — Габриэла — холодная, эгоистичная, самовлюбленная сука, а я — тряпка без капли самолюбия и позволяю садиться мне на шею, погонять и пришпоривать. Вот такой у тебя неудачный брат.

Дона Консейсау заплакала.

— Конечно, — сказала она сквозь слезы. — Это я виновата. Я была слишком авторитарной сестрой, и от этого у тебя все проблемы…

* * *

— Я знаю, кто тебе подойдет, — сказала Инеш, застегивая куртку.

Изилда вопросительно глянула на нее. Инеш сделала таинственное лицо.

— Погоди, сама увидишь, — мурлыкнула она, подставляя прохладную щеку для прощального поцелуя.

* * *

— Образованная? — строго спросила дона Консейсау и поправила очки.

— Очень, — горячо ответила Инеш. — Знает семь языков, пишет докторскую по филологии…

— Курит?

Инеш замялась, и дона Консейсау махнула рукой.

— Что творится с молодыми женщинами? — осуждающе сказала она. — Курят, пьют…

— Изилда не пьет! — обиженно сказала Инеш.

Дона Консейсау еще раз поправила очки и криво улыбнулась.

— Ну, хорошо, хорошо… приглашайте ее на наш рождественский обед, а там будет видно. Может, и впрямь что-то получится…

* * *

Изилда с тоской посмотрела на поднос. На нем уже стояла чашка, кофейник, вареное яйцо на фаянсовой подставочке, блюдце с двумя кусками подсушенного хлеба, вазочка с джемом, нож, масло… и все-таки чего-то не хватало.

Изилда зажмурилась и попыталась вспомнить, как выглядели завтраки, которые приносил ей в постель ее предыдущий мальчик. Вроде, все было на месте…

За спиной что-то зашипело.

Молоко! — вскрикнула Изилда, резко поворачиваясь к плите

— как раз в ту секунду, когда белая пена хлынула через край кастрюльки.

* * *

Жоау поерзал, устраиваясь поудобнее.

Как Габриэле мог нравиться этот дурацкий ритуал? — мрачно подумал он. — Каждый день завтракать в постели. Это же с ума сойти!

Жоау чувствовал себя очень глупо и от этого страшно злился.

* * *

— Ну, как? — спросила Изилда, усаживаясь в ногах у Жоау.

— Переварено, — буркнул Жоау, ковырнув вареное яйцо. — И кофе остыл. И тосты.

Изилда с шипением втянула воздух сквозь намертво сжатые зубы.

— И салфетки ты не положила! — проговорил Жоау, раздражаясь. — Какого черта ты берешься делать завтрак, если не умеешь?!

Очень медленно, почти плавно, Изилда встала с кровати, взяла поднос, подошла к окну и вышвырнула поднос на улицу.

— Еще раз, — проговорила она скрежетнувшим от ненависти голосом, — еще раз ты позволишь себе разговаривать со мной таким тоном, и следующий поднос я сломаю о твою голову. Умеешь готовить и сервировать завтраки? Отлично. С завтрашнего дня это делаешь ты. А я буду сидеть в постели и критиковать.

Жоау издал странный звук — не то икнул, не то громко сглотнул, потом вдруг покраснел, кулем вывалился из кровати, подполз к ошеломленной Изилде и обнял ее колени.

— Я буду, — прошептал он. — Я буду делать завтраки. Все, что прикажешь.

Изилда улыбнулась и потрепала Жоау по голове.

— Конечно, — мягко сказала она. — Конечно, прикажу.

Мне снилось, что мы поженились

Мне снилось, что мы поженились и теперь живем вместе.

Мне снилось, что я проснулась и поняла — ну, вот, мы

поженились.

Мне снилось, что я встала и пошла через комнату, старательно наступая на солнечные пятна, разбросанные по начищенному паркету.

Я шла и удивлялась — откуда в твоем доме паркет? И кто его так здорово чистит?

Мне снилось, что я выглянула в коридор, а там было сумрачно и прохладно, и я осторожно трогала пол босой ногой, как трогают воду, не решаясь в нее нырнуть.

Мне снилось, что я, наконец, решилась, набрала воздуха в грудь и побежала по коридору в гостиную, где ты пил кофе. Я знаю, что ты пил там кофе, я слышала, как стукнула чашечка об стол.

Мне снилось, что я вбежала к тебе, переводя дух, а ты лежал на диване и улыбался. А с пола точно такой же улыбкой мне улыбались собака и кошка. Кошка была твоя, я даже во сне не мыслила тебя без кошки. А собака — моя, черно-белый бордер-колли с глазами цвета жидкого меда, я всегда о такой мечтала.

Мне снилось, что ты старше, чем тогда, когда мы виделись в последний раз. Но я подумала — конечно, пять лет прошло, а ты уже не мальчик, ты и тогда уже не был мальчиком…

Мне снилось, что ты подвинулся на диване и сказал: «Падай сюда», и я послушно упала, думая, что теперь я, наверное, смогу и спать с тобой в одной постели, и ты не будешь больше говорить, что не хочешь меня будить своим храпом.

Мне снилось, что ты первый сказал: «А помнишь?», и я напряглась, не зная, о чем ты заговоришь, а ты сказал что-то совсем невинное: «А помнишь, я носил непромокаемую шляпу, и ты называла меня шампиньоном?», и я с облегчением засмеялась. Я боялась, что ты скажешь: «А помнишь, как ты исподтишка признавалась мне в любви?», потому что я помнила, и мне было стыдно за то, что каждый день, когда ты не видел, я гвоздиком выцарапывала на столе под клавиатурой «я люблю тебя», а сказать не решалась, боялась, что ты ответишь: «а я тебя нет, извини», и тогда мне придется уходить, потому что я не захочу, не смогу находиться рядом с тем, кто уже сказал, что не любит, а мне так хотелось думать, что у меня есть надежда.

Мне снилось, что я вспоминала, как мы оба не решались заговорить о серьезном, и когда серьезное подходило слишком близко, ты начинал шутить невпопад, а я громко и вымученно смеялась. Мы заклинали серьезное, и серьезное, напуганное нашим камланьем, отступало. Мы были хорошими шаманами — ты и я. Только ты потом мрачнел и замыкался, а я с остервенением царапала гвоздиком, сдвинув клавиатуру, «я люблю тебя, я люблю тебя», и каждый день эта надпись становилась глубже и глубже.

Мне снилось, что мы поженились, и я, лежа на диване рядом с тобой, искала торжествующим взглядом фотографию твоей бывшей жены. Я хотела показать язык ее острому носу, жесткому взгляду и тонким губам, сжатым в красную ниточку. Я хотела сплясать для нее раздражающий варварский танец с криками и неприличными жестами, но фотографии не было, и стена была белая-белая, даже дырочки от гвоздя не осталось.

Мне снилось, что в дверь позвонила Кристина со второго этажа, а мы ее не пустили, потому что мы поженились, и ты сказал, что нам никто не нужен, а я подумала: «Как странно. Впервые в жизни мне хочется пустить Кристину».

Мне снилось, что ты обнял меня и заглянул мне в глаза. А я отвела взгляд, и увернулась от поцелуя.

Мне снилось, что мы поженились, и ты, наконец, любишь меня и хочешь сделать меня счастливой. А я все так же остро несчастна.

Мне снилось, что мы поженились, и что я тебя больше не люблю.

Ольга Морозова

И зайчиха

Кот и плюшевая зайчиха

Он же вот, понимаешь, он же так это делает, что просто смотришь и думаешь: боже мой. Ага, так вот прямо и думаешь. Потому что он делает такое лицо, господи, да, ну что ты меня поправляешь, морду, ну, делает же — значит, лицо. Он говорит без слов: гады, сволочи, муки мои неземные, движения души моей в профанацию превращать, что же вы мне подсунули, а. А потом, убедившись, что ты смотришь, оборачивается к ней и оглядывает ее всю, с деланным равнодушием, мол, ну-ну, и вот с этой, да? И к тебе снова: видишь, на какие жертвы идти приходится, видишь, как мучаюсь, как же ты можешь — с ней же мне предлагается жить долго и счастливо, любить ее нежно и страстно, а она же некрасивая, немилая, неграциозная, неинтересная, не-жи-ва-я, понимаешь ты или нет? А потом он вздыхает, мол, чего уж, ладно, а вдруг, ну не могу же я больше так, издает возглас, исполненный страданий, прижимает ее к полу и начинает процесс. Она легкая, поэтому они делают два-три круга по комнате, медленно, в полном молчании. Он сначала с отвращением как-то, а потом ничего, нежно, увлеченно — вроде так и надо. А потом все заканчивается. Он отупело слезает с нее, облизывается машинально и падает на бок. И лежит так минут пятнадцать, в полном обалдении. Потом уходит спать. А потом все начинается снова: мучения, вопли, взгляды вокруг, полные укора, интерес (а вдруг?), чувства, секс, обалдение, сон, пустота…

Вам это ничего не напоминает, нет?
Вот и мне нет, вот и мне.

Я знаю, как это будет

«Угу», — скажет она и вопьется теплыми губами в рыжий кончик и станет втягивать его в рот, помогая себе зубами.

Я скажу ей громким шепотом: «Знаешь, ты такая красивая».

«Ага», — будет она жевать, хрустеть, перемалывать морковку белыми ровными резцами.

А я буду говорить: «Ты — самая лучшая, и ближе тебя никого

для меня нет на свете».

«М-м-м», — невнятно пробормочет она, ловя падающую ботву, дожевывая последний кусочек.

А я стану рассказывать ей торопливо: «Я знаю, как это будет. Мы будем жить с тобой в чудном доме, в лесу, у озера, любоваться утром свежей листвой и пронзительно-желтым солнцем, а вечером станем купаться и слушать ветер».

«Мням», — доест она и ботву тоже и сыто погладит себя по брюшку.

И я скажу, но спокойно, чтобы она ничего не заметила: «Ты не думай, я буду хорошим зайцем, я буду любить тебя, зарабатывать буду деньги, покупать тебе серьги и морковь, какую захочешь».

А она ничего не скажет, только улыбнется и прислонится ко мне белым пушистым боком.

Или, может, я буду говорить, что брошу ее завтра же, что никогда не любил, что изменял ей двадцать четыре раза. Я придумаю, что сказать. Только буду держать ее лапы в своих, чтобы она не вырвалась, чтобы тихо, чтобы думала только об этом, но никуда, никуда не могла уйти.

Я прижму ее к земле, моя тень скроет ее от желтого июльского поля, мои лапы станут гладить ее по ушам, и я буду говорить — что угодно, чтобы только не слышала она, как идут по следу собаки, как трубят охотники, как плачет ветер.

И когда подойдет откуда-то с запада, раздвигая сухую траву костылем, белая выжженная Смерть, она так ничего и не поймет. Я знаю, как это будет.

На крыше

— Послушай… — он сел, привалился к печной трубе и медленно расправил лапой левое ухо. — За что?..

— Ну-у-у, — протянул Трубочист и задумчиво почесал спину ершиком, — Наверное, не за глупые вопросы.

— Нет, правда! — он вскочил и, заложив лапы за спину, стал ходить по крыше. — Я действительно не понимаю. За что они так?.. Зачем я им нужен?

— Наверное… ты им нравишься, — невнятно проговорил Трубочист, экстатически водя ершиком по спине. — На вкус и цвет…

— Что? Что им нравится? Неужели эти белые уши? — оскальзываясь на ледяной крыше, он шагнул к Трубочисту и рванул себя за бледные меховые тряпочки, которые развернулись к солнцу и сразу же начали просвечивать розовым. — Эти… недоруки?

— Эй, прекрати! — Трубочист брезгливо отпихнул белые мягкие лапы и поудобнее уселся на трубе. — Если ты сегодня себе не нравишься, так и скажи. И нечего приплетать сюда людей.

— Тебе хорошо, — вздохнул Заяц и с ненавистью уставился на собственное отражение в ледяной лужице. — Ты себя любишь. Всегда. Я так не могу.

Он пнул свое отражение и начал рывками стаскивать с шеи розовый бант.

— А почему бы и нет? В конце концов, я мужчина в самом расцвете сил. — Трубочист улыбнулся и стал медленно переодевать твердые, блестящие раздвоенные носки: с правой ноги на левую, с левой — на правую.

Заяц всхлипывал, уткнувшись в надорванный розовый бант. Над крышами медленно вставало солнце.

* * *

— Ты не знаешь, это пройдет? — медленно спросил Заяц, разглядывая лапы. Бинты грязноватой кучкой лежали рядом.

— Должно… А где ты, собственно, умудрился? — Трубочист подошел поближе, бесцеремонно ухватил Зайца за лапу и повернул к свету. — Не морковку же ты чистил, в самом деле?

— Да нет… Я как-то даже и не помню. Сон плохой приснился. Просыпаюсь — а оно вот…

— Рассказывай.

— И с каких пор ты интересуешься моими снами? — Заяц попытался улыбнуться. Лапы у него мелко дрожали.

— С тех самых, — строго глянул на него Трубочист, усаживаясь поудобнее и доставая из кармана трубку.

— Ну, мне приснились люди, которые чего-то от меня хотели, а мне их было очень жалко… А потом они куда-то меня отволокли и привязали к столбу… Но привязали плохо, и я упал.

Тогда они взяли длинные гвозди… О господи…

— А потом ты проснулся, а у тебя на дырки вот эти и кровь идет?

— Ну да… Я как-то даже и не думал…

— Вот и не начинай. Я думаю, что все гораздо проще.

— Да?.. И ты знаешь, что с этим делать?..

— Для начала скажи мне, когда ты последний раз был у психотерапевта?..

— Ну, я… в общем, завтра к нему собирался…

— Вот и иди.

— Думаешь, поможет?..

— Конечно. Это еще ничего… У моей бабушки год назад вообще истерическая дуга случилась. А ее, говорят, сейчас уже и не встретишь — не та пошла истерия, не та… Впрочем, бабушка еще и не то способна изобразить, чтобы я носки переодел. А тут — стигматы. Тоже мне… Психосоматика чистой воды. Так что расслабься. Можешь сфотографироваться, пока не исчезли. А то, может, оставим как есть? В журнал пошлем — «Паранормальные явления», бабушка очень любит. Будешь у нас сенсацией. Только про меня не забудь, когда знаменитым станешь. Ну, молчу, молчу…

Шквар

О ком поете, птицы?
О не рожденных сюжетах.
По ком плачете, девы?
По не рожденным сюжетам.
Над кем смеетесь, люди?
Над тобой, Творец.

Чесались бока. Отчетливо, как во сне. Хотелось чихать. Шквар высунул голову из гнезда и осмотрелся, досадливо щурясь от дневного света. Кошку он заметил не сразу. Она сидела под деревом и, не мигая, смотрела ему в глаза. «Интересно, долго она так сидеть будет?» — подумал Шквар. «Да хоть до вечера», — подумала кошка. «Хорошо, что ей не пришло в голову залезть на дерево». — «А это идея. Залезть на дерево и съесть его тепленьким и мяконьким со сна».

Надо что-то делать. Что-то. Теперь чесалась еще и спина. Он знал, что еще маленький и не сможет сбежать от кошки. Можно, конечно, попробовать забраться на самые тонкие ветки, которые

не выдержат ее веса. Только он не успеет. Кошка лениво зевнула, вытянула лапу и впилась когтями в кору дерева. «Все, началось». Он судорожно вздохнул и начал озираться. Что тут было? Ветки, сухая кора, перья, какой-то мусор, крошки — ничего, что может ее остановить.

Кошка прыгнула и медленно, помахивая хвостом, начала забираться по стволу. Шквар затих и смотрел, как играет солнце на темной блестящей шерсти. Ворсинки топорщились, местами шерсть свалялась, и сбоку даже болтался репей. Он уже ни о чем не думал и только придвинулся ближе, заглядывая ей в глаза. Вот уже видны желто-зеленые эллипсы, в которых как будто плавают и не тонут искры-соринки. И черный увеличивающийся зрачок. Ну, хоть кто-нибудь! Почему так тихо? Почему никто не поможет?

Она была уже близко, он слышал шорох когтей и звук осыпающейся вниз коры. Вокруг удушливо пахло летом — солнцем, травой и цветами. Пахло и чужим, терпким теплом. В последнее мгновение Шквар вдруг совсем перестал бояться. Он выскочил на край гнезда, да так неожиданно, что кошка отпрянула, чуть не свалившись с дерева. Шквар заорал на нее: «Дура!» — качнулся и сорвался вниз, царапнув когтями по сухой коре. Его крутануло в воздухе, мимо со свистом летели ветки, крылья сами распахнулись — и вот он уже не падает, он летит! Мимо буро-зеленых дубовых листьев, мимо берез с легким и растворенным в нежной и веселой зелени запахом… Мимо родного дерева с кошкой, которая спрыгнула на землю и чесала лапой за ухом, раздумывая, что же ей теперь делать. «Эй! — крикнул он. — Я здесь. Я умею летать. Смотри!» Кошка задумчиво провожала его взглядом, поворачивая голову. Шквар радостно летал по кругу, и казалось, что у кошки затекла шея, и это такая специальная гимнастика.

Окно

Шквар откровенно мерз. Потому что перья перьями, но ветер-то холодный. Свернулся в глубине гнезда, съежившись до маленького пушистого комочка. Темнело. Слипались глаза. Постепенно вокруг остался лишь шорох веток. «Надо что-то делать», — сонно подумал Шквар. Где-то в глубине листьев зажегся огонек. «Интересно, что там?» Огонек не гас. «Может, посмотреть?» Шквар пошевелил крыльями, придвинулся поближе и стал приглядываться. Желтая точка не менялась. «Хм, если бы там было два огонька, это были бы чьи-то глаза. Только они бы

мигали…» Шквар решил слетать.

Уже привычно валясь с края гнезда и на лету расправляя крылья, он подумал, как все-таки интересно получается — нужно обязательно упасть, чтобы полететь. Нет, конечно, можно разбежаться и оттолкнуться, но это сложнее и не из гнезда…

Через пару минут огонек превратился в освещенное окно. Шквар осторожно опустился на подоконник. За стеклом было ярко. Совсем близко сидела молодая женщина с сосредоточенным лицом. По комнате ходил высокий мужчина. Они о чем-то говорили, слов не было слышно. Кажется, они ссорились. Вдруг мужчина развернулся, сказал что-то коротко и ушел из комнаты. Хлопнула дверь, мужчина вышел из домика и ушел не оглядываясь. Шквар почесал клюв и повернулся обратно к стеклу. Женщина так и сидела с напряженным лицом.

Через пару секунд она вытерла глаза, вздохнула, встала со стула и шагнула к окну. Она смотрела прямо в глаза Шквару, но явно не видела его. Он замер. Постояв так какое-то время, женщина слабо улыбнулась, потянулась, раскинув руки, повернулась и вышла, погасив свет.

Назад лететь было сложнее — больше не было ориентира. Но Шквар долетел, плюхнулся в гнездо и сразу заснул. В эту ночь ему ничего не снилось.

Лев

— Я тебя разбудила?
— Да нет, наверное…

Он поднялся, отряхиваясь. Ну вот, не дали поспать… Эх. Небо потемнело, пока он валялся, закрыв глаза и приманивая дрему. Во рту чувствовался сладкий привкус дневного сна.

— Что скажешь, Львица?
— Я подумала. Я не люблю тебя.
— Почему?

Как глупо. Не спрашивают о таком, как будто вымаливаешь, просишь, призываешь к ответу и делаешься жалким.

— Лёвушка… Ты какой-то… не знаю. Иногда мне кажется,

что ты такой же, как я… И что ты сильный, большой… Что ты больше меня. А потом — что ты маленький и жалкий… И… я не понимаю…

Лев отвернулся. Ему стало совсем неловко, захотелось перебить ее, попросить замолчать.

— Я понял.

— Ты ничего не хочешь сказать? Ты сам-то себя понимаешь?

— Не знаю.

— Может быть, я еще пожалею об этом. Но я не вернусь, слышишь? А ты… Ты захочешь меня вернуть, а, Лев?

— Я не знаю. Я уже ничего не знаю…

— Прости. Я наговорила тебе глупостей. Все женщины говорят глупости в таких случаях, да? Молчишь… Что ж, мне пора.

— Прощай.

— До свиданья…

Когда она ушла, огромный Муравьиный Лев встряхнулся, отошел в сторону и улегся под куст досыпать. По крайней мере, этого удовольствие у мутанта еще осталось…

Лягушка

Сжег шкуру-то мою зеленую… Неужто думал — останусь? Нет, без нее жизни мне не будет, радости, как раздетая я среди них… Не стать мне человеком, да и на болота вернуться уже не можно — как посмотрят? Дура, скажут, в тину — да в сарафане расшитом. Как есть дура. Нет мне покоя, нет места, куда зарыться, укрыться с головой, как раньше — под кувшинку да в сон. Зачем, говоришь, живу? Под красотой прятаться — вот и весь смысл. Для тебя — коса моя до пояса, глаза карие, уста сахарные, а для себя — вода зеленая, водоросль влажная, листья нимфеи в капельках вечерней росы и туман. Помню, солнце встает, птицы просыпаются, цветы болотные пахнут как-то особенно, и сладко становится где-то в груди, томно, и хочется кричать от радости, ввысь глядя сквозь травинки зеленые.

Не будет этого. Аисты-аисты, вы же едите лягушек, а людям детей приносите. А я не то и не другое, что же вы мне скажете, как посмотрите? Куда же вы? Не видите… Пойду за вами. Если вы на болото — взгляну в последний раз на воду родную, а потом совсем уж в последний — на берег из-под воды. Если вы в теплые

края — я с вами пойду, ноги собью, не жалко мне, дойду уж как-нибудь, буду жить в тепле да не в обиде. Подождите, аисты…

Улетели.

Гештальт

Доктор, я болен. Мое самочувствие ухудшается с каждым днем, мои листья желтеют и опадают. Доктор, я все больше ощущаю оторванность корней. К тому же мне не нравится эта бедная почва. Мои стебли гнутся, почки набухли и непрерывно ноют, наблюдаются застойные явления в цветоложе. Я бледнею, доктор. У меня задержка цветения. Помогите мне, доктор. Может быть, мне нужна подкормка? Опрыскивание? Усиленный полив? Хорошая освещенность? Может, меня следует пересадить?

Молчите, доктор. Я понял. Мне нужен новый, хороший хозяин.

Разговор

— Ты чего тут разлегся, кусок?

— Я?! Это ты тут разлегся!

— Да ты… Да я…

— Ну? Что??

— Да ты вообще непонятно на что похож, кусок коричневой субстанции неясного происхождения!

— А сам-то, продукт производства непонятно чего в непонятно что?

— Ха… Хм… Ну, один — ноль.

— Да ладно, ты тоже ничего…

— Я? Знаешь, мне кажется иногда, что я действительно… так… кусок и ничего больше.

— Да ты что? Нормальный… Говорю тебе, нормальный ты вполне!

— Чего я стою… Никому не нужный… Ты прав… Я — тупиковая ветвь эволюции…

— Прекрати немедленно! Ишь, разводит тут… Склифосовский… Ты посмотри, я вот что — никуда не гожусь?

— Ты — годишься…

— Так ведь мы с тобой похожи! Один в один! Ну, чуть силуэт отличается, а так…

— Вот я и говорю — мы с тобой просто куски…

— Эй… Ну, кончай тут…

— Молчу. Уйти не могу, но молчу…

Так и лежали на столе два куска шоколада. Молча.
Каждый предавался рефлексии.

Ангел и совенок

Темнело. Ладонь рассеяно отодвинула ветку. Серые крылья волочились за спиной — на сером не видно грязи и света. Ангел равновесия возвращался. Домой? У него нет дома. Просто возвращался. Вот и думал… Что может дать людям тот, у кого и дома-то нет?.. Есть другое, выше, сильнее, то, что не назовешь словами… Есть сила. Да, сила… А дома — нет. А значит, сила исчерпаема, ведь восстановить-то ее негде… Что может дать такой ангел людям? Что, кроме болезненной ноши, которая возникает где-то в области сердца и толкает на великие свершения?..

Что-то прошуршало в ветвях, и к ногам свалился комочек непонятного цвета. Ангел нагнулся и взял в руки… совенка. Под пыльными серыми перышками билось сердце. Совенок дышал… Жив.

Ангел шел, раздвигая правой рукой ветки. В левой, на ладони, лежал совенок. Дышал. Скоро в темноте появилось пятно еще более темное, чем воздух. Пещера. Ангел зашел внутрь и, убедившись в том, что там пусто и он никого не потревожит, сел у входа на ворох лапника. Он запахнулся в плащ цвета пыли, обнял совенка ладонями и дохнул на него. Так ангел и просидел до рассвета, вдыхая жизнь в маленький комочек…

…Ангел почувствовал шевеление на груди и открыл глаза. Светило солнце, в пещере пахло теплом. Цепляясь коготками, на нем устраивался совенок. Они переглянулись. У совенка были огромные зеленые глаза. Мир вспыхнул.

«Дом», — подумал ангел.

И проснулся.

Банальная истина

Атмосферное давление

— Добрый вечер, мадам. Как прошел день? Вы устали?

Лорина нахмурилась, медленно закрыла дверь и стянула стильный серый шарф с кистями. Эдгар поспешно принял пальто — самое модное в этом сезоне — и аккуратно повесил его на вешалку.

— Мадам желает чаю? Красного вина? Массаж? Или…
— Прекрати.

Лорина прошла на кухню и села. Глядя на Эдгара, вытащила из пачки специальную домашнюю сигарету — на работе она не курила. Эдгар щелкнул зажигалкой и сел напротив.

— Какого черта тебе вздумалось звать меня мадам?
— Но, мадам…
— Я требую, чтобы ты звал меня по имени, как всегда.

Лорина подумала, что могло что-то испортиться. Всякое бывает.

— Чаю… Лорина?
— Да, пожалуй.

Из комнаты раздавалась тихая музыка. Даже непонятно, какая именно. Если не знать. Лорина знала. Средневековая. А высокий смуглый брюнет заваривал чай. Черный. С настоящими травами. В керамическом чайнике. Как она любила.

— Эдгар?
— Да, мада… Лорина?
— Что с тобой такое сегодня? Ты… плохо себя чувствуешь?
— Нет, но… Мне, пожалуй, немного не по себе. Думаю, что это от погоды. Давление, циклон… что-то в этом духе.
— Ну, допустим… Хотя ты еще молодой мальчик, тебе не положено реагировать на погоду. Даже я не обращаю внимания на такие мелочи.

Они медленно пили чай. С удовольствием опустив нос в полупустую чашку, Лорина вдыхала запах душицы. И мяты.

— Пойдем, Эдгар?
— Конечно.

В гостиной горел камин. Как всегда по вечерам. На столе стояла лампа с темно-желтым абажуром, на которую можно смотреть долго-долго, как на маленькое безопасное солнце. Лампа почему-то не горела.

— Эдгар, что с лампой?
— Сегодня она несколько раз мигнула, потом сменила спектр и погасла. Я сейчас починю. Говорят, это магнитные бури влияют на технику.
— Ладно… Успеешь еще.

Они прошли в спальню. Музыка была слышна и здесь.

— Обними меня, Эдгар. Мне холодно.
— Но тут же тепло?
— Да что с тобой сегодня, в самом деле?
— Я…

Брюнет встряхнул головой, провел рукой по лбу и сказал:

— Нет, уже все в порядке. Давай выключим свет…

Утром Лорина проснулась от неясного звука. Она зевнула, открыла один глаз и огляделась. Эдгара не было. В доме стояла тишина. Нащупав тапочки с меховой опушкой и сонно натянув халат, Лорина выбралась из спальни. В гостиной потух камин. Машинально пощелкав выключателем, Лорина убедилась, что лампа с желтым абажуром работает.

На столе лежала газета, развернутая на прогнозе погоды. На полях было приписано синим фломастером: «Извини. Все кончено». Последняя буква заехала на цифры атмосферного давления.

Лорина, охнув, села и ясно поняла, что здоровье у нее уже не то, что пятьдесят лет назад. Голова раскалывалась.

«Этого не может быть, — подумала она. — Этого вообще не

может быть. Фирма «Роботикс Корпорэйшн» дает гарантию на всю жизнь. Я вообще ни разу не слышала о сбоях». Мысленно перебрав женщин, которые, по слухам, тоже имеют таких роботов, она решила, что в любом случае рекламации не становятся достоянием общественности. Кто же решится публично заявить о том, что купил модель «Спутник жизни»?

Лорина глубоко вздохнула и потерла все сильнее ноющий висок. Голова теперь еще и кружилась.

«Это давление, — подумала Лорина. — Пора уже и мне начинать на него реагировать. Если уж робот… Что там у нас с прогнозом?..» Она еще раз глянула на газету и потеряла сознание.

Путаница

— Майк знает, как они выглядели.

— Ладно врать-то…

— Точно тебе говорю. Он же еще при тебе рассказывал, да, Джонни?

Джонни промычал что-то утвердительное и снова уткнулся в конвейер.

— Вот, я же говорю!

— Да вечно вы заливаете…

— Эй, там, на седьмой линии, погодь перебивать, пусть рассказывает!

Ганс расправил плечи, скрипнул сочленениями и продолжил.

— Так вот… Майк говорил, что они похожи на нас. Вот только у них было всего четыре конечности, тело, заросшее рудиментарными отростками, и блестящая круглая голова… А еще у них было очень мало функций и небольшой запас прочности.

Все замолкли, пытаясь это представить. Мерно, почти без всхлипов, гудел конвейер, где-то капала вода. С нижнего этажа доносился стук, — там разгребали завалы.

— Ну, сочиняешь… Ты их видел? Ты еще скажи, что они были стеклянные или даже белковые. И размножались делением, — раздался все тот же насмешливый голос.

На линиях неуверенно хохотнули. Белковые — это, конечно, смешно, но такую чушь даже Ганс не станет рассказывать.

— Ой, да ладно! — сердито развернулся Ганс. — Можно подумать, ты их сто раз видел и все про них знаешь!
— Положим, не видел. Но…

Снизу раздался грохот.

— Послушайте, а говорил же кто-то, что они не такие совсем. Мол, мягкие, белые, с резиновыми манипуляторами… А еще, помню, что мелкие и покрытые утепляющим покровом…

— Версий много, — проворчал Ганс, прислушиваясь к тому, что происходило на нижних этажах. — И неизвестно еще, кто прав.

В этот момент двери конвейерного зала распахнулись, и вкатился Рыжий. Все повернулись к нему.

— Разгребли! Там дверь! Пошли!

Всей толпой ринулись вниз, и те, кто перемещался быстрее, первыми оказались у двери, среди кучи металлопластикового мусора. Дверь была закрыта.

— Ну что, посмотрим, что там?
— А чего тянуть-то? Рыжий, шевели манипуляторами!

Рыжий суетливо потер ржавчину на затылке, пощелкал инструментами, дверь скрипнула и поддалась. Покопавшись, Рыжий включил свет, и толпа охнула. Ганс раздвинул любопытных и стал разглядывать помещение. Тут было почти пусто, пыль покрывала стол, стул и две полки с книгами.

— Вот это да! — восхитился Ганс. — Нам повезло. Это же древние носители информации!

Толпа заволновалась. Он вошел и, утопая в пыли, устремился к полкам. На корешках виднелись еще различимые слова: Асприн, Кинг, Саймак, Берроуз, Брэдбери…

— Я поздравляю нас всех, — срывающимся голосом

провозгласил Ганс. — Теперь мы точно узнаем, какими были люди.

Толпа всколыхнулась и заскрипела. У некоторых даже светились от волнения глаза. Книги бережно, со всеми предосторожностями, передавали по цепочке: когда еще выпадет такой шанс роботам с заброшенного завода.

Играющие

— Да, мистер, о них писали все газеты Вселенной. Кстати, спасибо за виски… Да… Мало что известно наверняка, так что журналисты просто дали им имя. Оно прижилось, словно было сшито по спецзаказу, — Играющие. Так их звали миллионы людей. Обсуждали, писали, спорили… подражали, конечно. Не верьте, если вам скажут, что Играющих никогда не было, что имела место великая мистификация и не более того. Верно, это стало мифом, но история-то случилась на самом деле. Их было двое — Он и Она.

Есть множество версий их знакомства. В архивах вы найдете так называемые подлинные данные. Некоторые утверждают, что их первая встреча случилась на яхте посреди кроваво-красного моря…

Только представьте: Марс, круиз, белый корабль, два одиноких существа и много шампанского, часть из которого случайно выплеснулось из бокала на Его новый галстук. Ничего удивительного, да? Красиво? Но ни слова правды.

Другие говорят, что Они столкнулись в лифте. Толпа прижала их друг к другу, и Она вздрогнула от прикосновения ледяной пряжки его ремня. Он заметил и сказал что-то о принцессе-на-горошине. А в детстве Ее звали именно так. С этого все началось? Нет, все было иначе.

Однажды Она просто шла по улице зимним днем, когда солнце еще слабое и не может пробиться сквозь облака. Впрочем, на этой планете зима длилась большую часть года. Кто знает, ради чего Они оказались там? Они были на сотне планет и могли выбрать любую… Каждый из них что-то искал здесь — в прозрачных снежинках, в треске дров, в искрах, в горячем вине и ледяной коже. Было очень холодно, зажигалка замерзла… так бывает. Она пыталась зажечь ее непослушными пальцами в

перчатках, когда чья-то рука оказалась прямо у Нее перед глазами. Рука без перчатки. У нее забрали зажигалку, щелкнули, и, наклоняясь к пятнышку огня, Она подняла глаза. В теплом желтом свете Она увидела напротив черные провалы, белые радужки. Как мишени. Как две точки. Как одна пропасть.

Так это и началось… Это потом Они стали жить в миллионах слов, написанных про них. Тогда для Них существовало только две буквы. Он звал ее одной, Она его — другой. Просто Им было странно называть друг друга по имени… О, мистер, в обитаемых мирах так много языков, неужели вы думаете, сейчас можно узнать, что это были за буквы?.. Нет, я не скажу вам этого, мистер, я просто не знаю.

Я иногда думал — что в Них было такого, чего нет в нас? Они могли стать обыкновенными людьми, ведь так? А Они просто играли. В мире столько возможностей для игры, для ищущих новых ощущений, но даже те, кто пользуется каждым случаем, предоставленным судьбой, не становятся Играющими. Мне кажется, я понял.

Вы помните, мистер, ту шумиху? О, спасибо, очень кстати… Ваше здоровье… От их слов зажигались звезды, гасли фонари, горы меняли цвет, из воздуха появлялись деньги, происходили вспышки на Солнце, да, вы помните? Что вы смеетесь, мистер, так было… Я думаю, что Они даже не замечали этого. Может быть, иногда, на краешке внимания. У Них были ощущения поважнее. Никто не смог повторить хотя бы половину того, что творили Они. А Они не делали этого специально, вот в чем дело. Они были заняты. Они играли в себя и друг в друга.

Они были странными. Да что там рассказывать, вы все сами наверняка слышали. Мне кажется, я понимаю, как это было… Каждое ощущение, которое пробегало по Их рецепторам, не проходило незамеченным, а вплеталось в одну мелодию, которая превращалась в цвет, звук, боль, смех, растворяясь в телах, и рождала новую мелодию. Так случилось, что их волны сложились в одну, более сильную. Они научились умирать и рождаться вновь, менять тела, пол, возраст, Они научились становиться другими. И Они всегда исчезали оттуда, где им было скучно. Кстати, поэтому Их так ни разу и не удалось заманить ни в одну передачу, ни на одну радиостанцию, ни на одно сколько-нибудь долгое интервью. Единицам удавалось узнать что-то от Играющих. А для этого было нужно всего лишь удивить Их…

Куда Они делись потом? Кто-то говорит, что Они сошли с ума. Кто-то — что Они растворились друг в друге. Но мне кажется, Они просто исчезли. Чтобы появиться где-то еще. Ведь Они могли превращаться во что и куда угодно…

…Эй, мистер, вы видели?! Мой стакан с виски… куда он исчез? Он же только что стоял передо мной… Э, да вы фокусник, мистер? Эй! Вы… где?

Как солнце

Не бойся, Шати. Это не больно… Хотя, что я говорю, больно, конечно… Но ты уж потерпи, родненький. Ты только возвращайся, ладно? Моя бы воля — никуда бы ты не пошел, солнышко мое синее… Я просила их, умоляла, я ночей не спала, с тех пор как пришла повестка. Я говорила: ты у меня слабенький, ты точно не выдержишь. Нет, Шати, не надо меня утешать… А они мне говорят, что так положено, что все должны через это пройти, говорили, что годен, что у тебя код здоровья 0,004, а это еще хорошо. Не плачь, кому говорю, не надо, видишь, и я не плачу, нет, тебе показалось. Что я говорю, ты выдержишь, конечно, все же выдерживают, и ты… Да, меня тоже когда-то вызывали. Не помню точно… Больно и долго не проходило. И ощущения… странные. Как будто долго гулял на солнце без спецкостюма, или как если б у тебя стало две руки всего или, наоборот, четыре. Говорили, что так не должно быть, вроде, да нам, беднякам, колют бракованный препарат… Вон, у соседки сын не вернулся со станции, а у него был код 0,005… Не выдержал, небось…

Шати, я хочу тебе кое-что сказать. Я отдала им деньги, которые откладывала всю жизнь. Думала, смогу купить что-нибудь… ну, операцию… тебе… по зрению… Но что уж теперь. Так вот, они мне поклялись солнцем, которое видят лучшие, что облегчат твою участь. Они меня пожалели, видно. Нет, тебе все равно придется туда идти, но они сказали, что все будет хорошо. Они поклялись, слышишь?.. Иди, солнышко…

Шати, ты вернулся! Что с тобой? Дай я до тебя дотронусь… Почему у тебя такой вид? Что с твоим лицом? Ты что — улыбаешься? Что они с тобой сделали? Садись, поешь. Ты не хочешь? Почему? Ты же всегда хочешь есть, Шати! Все всегда хотят есть. Никто не улыбается. Нельзя рассказывать, я знаю, но я

плакала всю ночь, ты скажи мне, я все-таки твоя мать, скажи мне самое страшное, что они с тобой сделали?

Полную дозу? Как? Ведь они обещали… Что значит — счастье? Натуральный состав? О какой женщине ты говоришь? Как солнце?! Ты солнца-то не видел никогда, горе мое! Говори! Нет, погоди. Мне восемнадцать лет, я застала еще войну, у меня код 0,012, и я никогда не видела ни одной красивой женщины! Подожди, молчи. Не понимаю. И что? Тебе не больно? Послушай… Я не должна, никто не должен это говорить, но… Ее же не существует! Ты понимаешь? Они колют нам эту дрянь по какой-то идиотской традиции, «потому что каждый человек должен это почувствовать»! Вот зачем — никто не знает. Зато все знают, что того, про которого ты начинаешь ТАК думать, не существует! И это же больно, потому что потом тебе придется выбрать для создания пары обычного человека! Как — выбрал? Здесь? Зоуи? Ну, хорошо, зови, но я… Здравствуй, Зоуи. Постой. Дай я до тебя дотронусь. Боже, у тебя две руки? Как же ты живешь? Прости за прямой вопрос, но все так внезапно получилось… какой у тебя код здоровья? Как — 0,09?! Шати, подойди ко мне, мне надо сказать тебе пару слов наедине. Мы на минутку…

Шати, у нее всего две руки, я ничего не понимаю, у нее, может, и правда — 0,09, один случай на миллион, даже на два миллиона, я вообще никогда не встречала человека с таким кодом! Она, может, и солнце видит? Мне кажется, это все очень странно и подозрительно, точно тебе говорю. А что ей нужно? Она с тобой хочет создать пару? Ты серьезно? Почему? Она тебя ЛЮ-БИТ? Она что — специально попросила, чтобы ей вкололи любовь к такому, как ты? Что? К доброму и ласковому? Этот мир сошел с ума. Да нет, пусть остается… Мое дело — сторона…

Нет, Зоуи, я же помню, мне отец рассказывал: солнце — синее. Что ты мне будешь говорить, мне уже 19 лет, но я еще не выжила из ума. Может, ты для моего сына и прекрасная, как солнце, но это не повод, чтобы спорить со мной. Тоже мне… «как солнце»… Вот я в молодости…

Служба технической поддержки

В автобусе было темно и накурено. Иногда только слышались голоса спорщиков: «Ну, давай, давай…» Автобусные. И чего им?.. Спать бы пора, да работа у них такая, вредная. Это еще что, вот на

днях троллейбусы спорили, кто с утра поедет, и это в 15 градусов мороза… Бедные люди на остановках. Впрочем, речь-то не о людях.

Нас городская администрация назначила — надо же кому-то следить за транспортом, и чтобы не мешать никому. Вот мы и работаем. Кому-то может показаться странным, но интересные случаи у нас бывают редко. Да и, правда, какой интерес — сидишь на крыше троллейбуса, автобуса или такси. Когда лето, да тополя цветут — еще весело бывает, а вот зимними ночами… Одно развлечение — поспать. И люди. Чего только с ними не насмотришься. Бывало, работаешь в такси, а они едут и молчат. И он, и она. И видно, что больше всего на свете им хочется броситься друг другу на шею. Сидят, молчат, душатся неловкостью… Люди, одно слово.

Ехал вчера, слева гаражи мелькают, справа — заброшенный пустырь… Таксист, свой парень, знает про нас, да делает вид, что не замечает, — не положено, понятное дело… А иногда так хочется посидеть, по душам поговорить. Им есть, о чем рассказать, таксистам, обидой своей поделиться, тоской и радостями. Одинокая у них работа… Что и говорить, самая одинокая работа — в людях… Мы-то знаем…

Да, о чем это я… Гаражи, значит, мелькают слева, а холодно, ветер. Ну, забрался я в машину, поближе к мотору, пригрелся, да и уснул. Сплю это я и слышу: «Если бы кто мне сейчас сказал «люблю»…» Это дамочка в машине подумала. А я спал ведь, вот и обратил внимание. Мне-то вроде дела нет, что она там себе размышляет, а тут досада взяла: что ж, думаю, он этого не слышит… Чего греха таить — щелкнул пальцами, все равно, думаю, во сне… А он и услышал… Ох, и влетело мне за это… Впрочем, не так чтобы очень. Начальство у нас тоже с понятием. И люди теперь счастливые, хорошо… По правде сказать, мне часто говорят, мол, о людях много печешься… А кто ж о них печься будет?.. Сами-то не умеют… Так вот, сделал я это, разволновался, проснулся, даже чуть не забыл, что уж год, как курить бросил. С нашей работой особо-то не покуришь…

Ох, кстати, накурено-то как… Что-то наши совсем страх потеряли, пойти что ли, к ним… А о людях… О людях потом.

Банальная истина

«Пора заканчивать. Сколько можно сидеть и страдать? Ясно же, что работу не найти. Да и кто меня возьмет — такого? Во что я превратился за эти месяцы? Где я, который с классическим репертуаром ездил в турне по планетам Большого Круга? Какой Шекспир, боже, какой Гамлет, меня и в детский театр кукольным Петрушкой или Кшышем Венерианским выпускать нельзя. Что я за повелитель зрительских душ, если не могу заставить поверить в меня самого захудалого режиссера? Хватит».

Игорь выпрямился на табуретке, загасил забытую сигарету и поднялся.

«Сегодня напьюсь. Честное слово. К черту театральную патетику неудачника — это так банально».

Через час он уже сидел на парковой скамейке под желтыми осенними деревьями в компании знакомого костюмера дяди Пети и бутылки дешевого пива. Алкоголь не действовал — то ли эмоции мешали, то ли производители пожалели градусов, то ли бутылка «Юпитерианского» попалась неудачная.

«Да, вот так всегда… Даже напиться — и то не получается…»

— Вот я и говорю, — продолжал дядя Петя. — Открыли они свою контору в квартале от тебя. Слышишь?

— Какую контору?

— Да я ж тебе талдычу уже битый час — «ВишМастер» называется. Они с Юпитера, кажись, да теперь уже много где, вот и у нас открыли первое отделение. Ну, вся электронная почта завалена рекламой, ты чего, не видал?..

Через пять минут Игорь уже знал, что контора эта обязуется исполнить желание человека за определенную плату. За какую — точно не известно. Ходят слухи, что берут они недешево, не всегда деньгами, но никто толком ничего не знает.

«Может, заглянуть? Я же всегда смогу уйти, если что…»

— Ну, за удачу! — поднял свою бутылку дядя Петя.

На следующий день Игорь отправился в таинственную фирму. Надел свой лучший костюм, критически осмотрел лицо в зеркале и слегка мазнул гримом по расцарапанной щеке — умудрился вчера свалиться со скамейки, когда декламировал

дяде Пете монолог Кшыша Венерианского. Уже идя по улице, он опустил руку в карман и вытащил красный пластиковый нос на резинке — сувенир юности. Он его на все премьеры раньше таскал — на удачу. Машинально сунув игрушку обратно, Игорь снова погрузился в размышления: «А что! Клонирование придумали? Телепортация существует? Почему бы и желания не исполнять… А если они только мелкие могут?..»

Офис выглядел не слишком презентабельно. Кажется, раньше это ветхое сооружение сдавали кому попало. Вот и сейчас у входа пестрели десятки табличек. Среди них выделялась яркая вывеска «ВишМастера». Игорь откашлялся, потянул на себя дверь и вошел в просторный холл. Поглядывая на указатели, добрался до приемной. Внутри уже толпилось человек двадцать, в дальнем углу сидела секретарша. Все ждали. Посетители старались не смотреть друга на друга. Очередь росла, но тишину нарушали только редкие вздохи. Периодически секретарша что-то бормотала в переговорник и удалялась. В это время посетители оживлялись — девушка носила очень затейливую мини-юбку…

Приняли Игоря часа через два.

— Чем я могу вам помочь?

Секретарша в мини-юбке улыбалась из-за стола, заставленного странными аппаратами. О назначении некоторых Игорь знал, про другие — догадывался (среди прочего он увидел нечто, напоминающее гибрид кухонного комбайна и машинки для стрижки волос), но большая часть агрегатов ему была неизвестна. Игорь перевел взгляд на девушку. У нее на лбу светилась диадема с именем. «Милочка».

— Я, собственно, хотел бы выяснить насчет желаний…
— Назовите свое имя и род занятий, пожалуйста.
— Игорь Васильев… актер… безработный.
— Прошу вас, пройдите по коридору прямо и направо — вам в третий кабинет.
— Благодарю.

Игорь, слегка сутулясь, направился в кабинет. Очередь, коллективно вздохнув, проводила его взглядами.

Навстречу посетителю поднялся Человек-улыбка, сияя гостеприимным оскалом. На диадеме значилось «Иван Иванович».

Игорь огляделся. Агрегатов здесь было меньше, зато всюду лежали стопки ярких буклетов. Пахло сыростью.

— Добрый день, Игорь! Рад вас видеть. Прошу, садитесь…

«Как он узнал?..» — подумал Игорь, усаживаясь в кресло. Человек-улыбка опустился в другое, положил перед собой на столик стопку бумаг и заговорил:

— Предупреждаю вас сразу: никакой мистики. Наши методы базируются исключительно на научных технологиях. Милочка сообщила мне ваше имя. Молчите! Дайте, я угадаю: вы пришли к нам, потому что вам не везет в жизни?

Интонациями менеджер играл хорошо, будто стихи читал — белые, как его зубастая улыбка. Игорь оценил талант, но не поддался. Он и сам так мог. Раньше.

— Об этом нетрудно догадаться. Разве сюда приходят по другим причинам?.. Впрочем, я всего лишь хотел узнать…

— Вы правы. Я сразу понял, что передо мной умный и деловой человек. Сообщите мне, в чем ваша проблема, и мы решим ее.

Игорь расправил пиджак и вздохнул.

— Дело в том, что я… никак не могу найти работу. Что я только не пытался делать! Я ходил по театрам, я просил, умолял, я обращался в специальные агентства. Но все время что-то идет не так. То я от волнения забываю слова на пробах. То теряю ключи от квартиры, начинаю их искать и опаздываю на встречу. То режиссер не приходит на работу в тот день, когда я жду его под дверью. Последнее время мне катастрофически не везет. Мне уже кажется, я ничего не могу… Мой талант, похоже, иссяк…

Иван Иванович истово покивал, пригасил на секунду улыбку, и наклонился поближе к Игорю. Доверительно понизив голос, он проговорил:

— Вы пришли туда, куда следовало. Мы готовы работать с вами. Мы понимаем ваше беспокойство, вы — человек тонкий, творческий… Не волнуйтесь. Мы реализуем комплексный подход, направленный на достижение ваших целей. Затратив минимальные средства, вы получите эффективное решение ваших проблем. Гарантируем, что вы не придете к нам жаловаться.

Давайте перейдем к делу….

Через пять минут Игорь окончательно запутался, а Человек-улыбка все тарахтел, чеканил и подвывал, пересыпая речь многочисленными терминами вроде «мультитрансляции системы мотивов».

— …Это и есть та самая «управляемая удача», говоря житейским языком. Видите, насколько простым и надежным будет решение вашей проблемы?

— Да, спасибо… — проговорил Игорь. — А, собственно, сколько стоят ваши услуги?

— Вам чрезвычайно повезло! Дело в том, что мы совсем недавно открыли филиал на вашей планете, и у нас проходит рекламная акция. Вам нужно будет всего лишь поделиться своей радостью с друзьями, родственниками или знакомыми.

— Не понимаю…

— Если вы приведете к нам еще трех клиентов в течение трех дней, то ваше желание мы исполним за сумму, которая обычно служит лишь первым взносом — за 100 кредиток.

— Как сказал бы мой знакомый дядя Петя, это же всего ящик «Юпитерианского»! Не слишком ли дешево — за удачу-то?

— Мы готовы работать себе в убыток, лишь бы наши клиенты остались довольны…

Подписание договора много времени не заняло (среди условий значилось приведение трех клиентов в течение трех дней и неразглашение данного условия). Потом пришлось две минуты посидеть перед странным прибором, тем, который напомнил Игорю кухонный комбайн. Получив уверения, что «после облучения в ближайшие же часы возможно пробуждение прежних способностей, а в течение нескольких недель — нахождение работы», Игорь вышел из кабинета Человека-улыбки. В голове его шумело, во всем организме царило какое-то смятение. Он не знал, радоваться или нет, но дело было сделано. Оставалось ждать.

Домой идти не хотелось, и он отправился в ближайший парк. Сквозь разноцветные листья светило осеннее солнце, на скамейках пенсионеры читали электронные газеты, по дорожкам бегали дети, размахивая свежесобранными кленовыми листьями. Игорь невольно улыбнулся, глядя на девочку в ярко-розовом комбинезоне, которая что-то пыталась доказать перемазанному мальчику. Она подпрыгивала, размахивала руками, корчила

рожи. Мальчик, похоже, не верил. В конце концов, девочка явно отчаялась и начала расстроено сопеть. Игорь решил помочь малышке.

— Здравствуйте. Что у вас тут случилось?

Девочка, которая, видимо, еще не научилась пугаться взрослых, горестно хлюпнула носом
и сказала:

— Он не верит!
— Во что?
— Он не верит, что на свете бывают клоуны! А я видела, видела, они размером с большого дядю и у них нос красный!

Игорь улыбнулся, вспомнив студенческую практику в цирке. Повернувшись к мальчику, он подтвердил:
— Она права, клоуны бывают.

Мальчик подозрительно глянул на Игоря:
— А чем докажете?

Тут Игорь отвернулся на секунду, вытянул из кармана красный нос, нацепил его и повернулся к детям. Пока они хлопали глазами, он завопил:

— Привет, Малыш! И тебе привет! Я — Карлсон! Дети, вы знаете, кто такой Карлсон?
— Нет! — хором ответили дети.
— Карлсон — это я! Я самый лучший в мире клоун! Я живу на крыше, где водится много диких обезьян, у меня красный нос, а по утрам я обязательно чищу зубы!..

Игорь скакал, корчил рожи, плел всякую смешную и воспитательную чепуху, а дети прыгали вокруг него, заливаясь смехом, и кричали: «Ура!»

Когда к ним подошли мамочки с виноватым видом, Игорь даже не запыхался.

— Ой, не может быть, моя Наська не плачет!
— Да у вас тут все хорошо!

Одна из мам? обернувшись к Игорю, затараторила:

— Спасибо вам большое, мы тут на минуточку отошли в магазин, а этих же так просто не оставишь — или подерутся, или рыдать начнут, а то и все сразу…

— Мне кажется, я вас где-то видела, — вмешалась вторая мамаша.

— Я актер, — лучезарно улыбнулся Игорь, раскланялся, на прощание скорчив рожу детишкам, и быстрым шагом пошел домой. «Работает, работает!» — пело все внутри.

В этот же день он умудрился договориться по телефону о встрече с двумя режиссерами, которые раньше вечно находились на обеде, больничном, в отпуске или в турне. Сейчас ему уже ничего не стоило пообщаться с одной из секретарш голосом Дон Жуана, а с мелким администратором — вялым, но грозным тоном министерского начальника. На завтра Игорь успел на обе встречи, не проспав и не потеряв ключи. Во время беседы вел себя уверенно, о былых заслугах говорил внушительно, в нужный момент ввернул пару цитат — и в результате получил два приглашения. Одно — в небольшой районный театр, где ставили классику, а другое — в городской детский.

Вечером он шел встречаться с дядей Петей. На улице он напевал, радовался солнцу, девушки ему улыбались, чего давно уже не случалось, и он даже купил лишнюю бутылку пива для дяди Пети — все же помог, и как! Увидев старого знакомого на обычном месте, Игорь вдруг вспомнил условия договора. Не зря костюмер фирму-то порекомендовал. Видно, и он посетил «ВишМастер». Впрочем, Игорь из тактичности решил не спрашивать. Какая разница? Сработало же.

Дядя Петя выглядел довольным, пиво принял и поделился приятной новостью: к нему вернулась жена, которая недавно уехала к маме «навсегда — чтоб тебя, рохлю, в глаза не видеть». Игорь обрадовался и поинтересовался, как все было. Выяснилось, что «после некоторых событий» дядя Петя просто знал, что жена вернется, позвонил ей, шваркнул кулаком по столу и гордо заявил, чтоб она бросала все свои капризы и возвращалась немедленно. Та и прибежала, «как и было сказано, и в рот теперь смотрит». Они понимающе покивали друг другу, поговорили об Игоре, о том, в какой театр идти, «лучше б в классику, ты ж всегда ее любил», допили пиво и разошлись.

По дороге Игорь зашел в булочную и столкнулся с Натальей,

чьим счастливым мужем и являлся дядя Петя. Игорь решил было ее обойти, но она уже заметила его, расплылась в улыбке и заговорила о приятной погоде, о муже с нежностью упомянула. Игорь ее не узнавал — как подменили человека! Раньше она бы ему быстро, громко и доходчиво в очередной раз объяснила, что муж ее — рохля и дурак, «а все, кто с ним якшаются, дураки и того хуже». А теперь вон какая — глаза светятся, радостная, вежливая.

«Хорошая фирма. Отлично работают!» — подумал Игорь.

Следующее утро началось для него с телефонного звонка. Это был дядя Петя.

— Вижен включи, — мрачно посоветовал он.
— А что случилось-то?
— Да ты включи, сам все увидишь, — еще более мрачно сообщил дядя Петя и дал отбой.

По вижену шел прогноз погоды, бразильский сериал и новости. Вряд ли дядя Петя имел в виду первое и второе, так что Игорь вслушался в информ-программу. Передавали сюжет о паре мошенников. Они кочевали с планеты на планету и обирали доверчивых граждан, предлагая им так называемую «контролируемую удачу» за небольшую сумму денег. Обязательным условием они выдвигали приведение новых клиентов в течение одного-двух дней. А когда жертвы понимали, что договор не выполнен, выяснялось, что претензии предъявлять некому — пара исчезала. Комментатор сообщил, что мошенники успели порядочно заработать, пока не увеличили срок до трех дней, и кто-то все же успел обратиться в полицию. Причем случилось это на планете Земля. Долгое молчание остальных журналист связывал с природной стеснительностью венерианцев, гордостью марсиан и наивностью сатурниан. Впрочем, он добавил, что после первой обнародованной заявки наибольший шквал звонков поступил именно с этих планет, тогда как на Земле все ограничилось одним сообщением.

— Остается только гадать, — подытожил комментатор, — почему жители Земли не спешат подавать жалобы в местные отделения полиции. Мошенники находятся в межпланетном розыске и скоро будут пойманы.

«Так я им и не нашел клиентов… Не расплатился… —

некстати возникла мысль в голове ошеломленного Игоря. — Да что это я… мошенники… чепуха какая-то… у меня же все сбылось!»

Раздался телефонный звонок.

— Посмотрел? — осведомился серьезный голос дяди Пети.

— Да… Так что это было? Ведь работало же оно?!

— И у меня. Вон, Наташка на кухне суетится, вся квартира сверкает…

— Ничего не понимаю.

— Ага. Но тут подумал… а какая разница? Жена шелковая стала, грубого слова от нее не услышишь, у тебя вон тоже все хорошо. Пусть они там, наверху, разбираются, а мы уж как-нибудь так, а?

— Оно-то и верно, но почему?..

— А наплюй ты на них. Сбылось — и ладно.

Положив трубку, Игорь решил прогулять тяжелую голову. Он дошел до парка и сел на самую удобно расположенную скамейку — она оказалась свободной. «Да, когда чувствуешь себя уверенно…» — подумал Игорь. И вдруг до него дошло.

Через пару мгновений прохожие с недоумением смотрели на человека, который, хохоча, бежал вприпрыжку по улице, размахивая красным носом на резинке, и кричал: «Мы! Сами! Творцы! Своей! Удачи!» Люди качали головами, шли дальше и сразу же забывали про чудака, которому вдруг пришла в голову такая банальная истина.

Герои нашего времени

Право на мечту

Сама Доброта пожала плечами.

— Зато у тебя будет богатый муж.

— Да, — девушка брезгливо разглядывала проспекты, — все вы так говорите… «намажься этим — и станешь настоящей принцессой», «купи это — и выйдешь замуж».

— Но ты действительно…

— Вот-вот.

Сама Доброта умолкла, поерзала в кресле и демонстративно глянула на часы. Она должна покончить с этим делом сегодня и доложить обо всем, иначе… иначе не видать ей новой, модной кареты, как своих ушей. А старая-то совсем разваливается…

— Смотри сама. Если тебе не нужен принц, продолжай ничего не делать. Это бесплатно.

— Принц? А кто говорит о принце?

— Я говорю.

Пожилая дама гордо ухмыльнулась. У нее были основания.

— Ты знаешь, я всегда желала тебе добра, — именно за эту фразу ее и прозвали Самой Добротой. Уже никто не помнил, как ее звали на самом деле. — Каждый достигает счастья по-своему. Я предлагаю тебе верное средство. Но если ты собираешься провести всю жизнь на кухне, я, пожалуй, пойду.

— Погоди. Но у меня столько нет!..

— Для тебя я сделаю скидку.

Девушка потерла щеку. На бледной коже остался след сажи.

— Но моих денег хватит только на что-то одно…

— Не беда. Возьмем демо-версии.

— А эти твои… демо-версии… сработают?

— Не сомневайся. Так, держи, вот… и вот… Это автозагар… Нет, просто намазать… Ага, спасибо. И помни, есть одно условие…

Девушка тряслась в золоченой карете. Дорога была изъезжена вдоль и поперек, и колеса то и дело проваливались в очередную колею. Последнее время стало модно заказывать нестандартные экипажи, и каждый калечил дорогу по-своему. Вот и приходилось теперь подпрыгивать в самых неожиданных местах, вместо того чтобы спокойно катиться на встречу с мечтой. За окном тянулись знакомые поля, и девушка переключилась на новое платье. Да, это было красиво… И заплаток практически не видно. Карманное зеркальце отражало загорелое лицо, шелк и банты. «А туфель таких вообще ни у одной принцессы нет». Туфли были отличные, с блестками, только жали. Девушка торопливо полезла в сумочку и выяснила, что пластырь в демо-версию не входит. «Все будет нормально, не так уж и жмут. Потерплю. В крайнем случае, примну задник, буду ходить, как в шлепанцах, под длинным подолом никто и не заметит. Главное — не забыть условие…» Девушка еще раз повторила про себя слова крестной, расправила складки на платье и выглянула в окно. Замок приближался…

Сама Доброта успела к назначенному часу. Карета все-таки развалилась, пришлось пользоваться предпоследним заклинанием перелета, но ровно в пять фея была на месте.

— Ну что, ты выполнила мои указания? — заказчик кутался в черный плащ, лицо скрывая капюшоном.

— В точности, Ва… — Сама Доброта закашлялась. — Простите, что-то в горло попало. В общем, не волнуйтесь, все сделано. Платье, туфли… нужного цвета, размера и срока действия.

— Хорошо. Держи. Пятьсот золотых, как договорено. И смотри у меня! Если что не так…

— Ну, что вы…

— Прощай.

Заказчик шагнул в тень и пропал из глаз. Сама Доброта усмехнулась, думая, что и в ее возрасте фея-крестная чего-то стоит, если ее нанимают такие клиенты. Использовав последнее заклинание перелета, Сама Доброта вернулась домой, где села пить чай и мечтать о самой лучшей карете, которую она купит завтра…

— Ваше Величество, через пятнадцать минут начнется прием.

— Благодарю.

Король подошел к зеркалу и провел рукой по волосам.

Идеальный костюм, идеальная прическа, в глазах — аристократизм, ум, власть, честь… Черт возьми, даже и не скажешь, через что прошел этот благородный человек двадцать лет назад, чтобы взойти на трон. Грязь, кровь, интриги, расчетливость и коварство. Все осталось в прошлом.

Некрасивая и напыщенная жена (разумеется, она-то была королевского рода) недавно его покинула. С тех пор все хорошо. Государство процветает, чиновники воруют умеренно, подданные любят своего короля. Даже наследник радует — разумный парень с блестящими задатками. Несколько безвольный, но оно и неудивительно — чего ему добиваться? Дорого за все это заплачено. Жаль, только… И пусть хоть у него…

Король улыбнулся своему отражению и сказал вслух:

— Пятьсот золотых… Так мало за мечту. Я бы не пожалел и тысячи.

Варенье

— Куда ты ложку дел, а?

Тусклые волосы, тело, закутанное в добротную ткань, на боках — последствия хорошего аппетита, по-домашнему блестящие щеки. Дорогая… Десять тысяч золотых в год на булавки. Свет очей моих…

— Ну, чего смотришь? Куда, говорю, ложку дел? А, вот она…

Душа моя. Полные плечи с достоинством возвышаются среди брабантских кружев и узорчатого шелка. Тысячу лет назад в такой же жаркий день я увидел ее в первый раз и был пленен лукавым взглядом и этими плечами, которые затмевали мир. Я дарил ей полевые цветы и носил ее образ — и в своем сердце, и на своем щите.

— Посиди со мной, голубчик… А то, может, будешь? Чего головой мотаешь? Всего пять банок осталось, как бы не заплесневело. Уф, жарко сегодня. А до обеда еще далеко. Соседи придут, как обычно, так что хоть на стол ничего не ставь — съедят все и не постесняются… Скромнее надо быть.

За обедом будут обсуждаться виды на урожай и укороченные

жилеты, я знаю. Мы женаты уже двадцать пять лет. Как раз столько мне было, когда я увидел ее улыбку впервые… Я был беден, а она прекрасна…

— Сегодня ждут корабль с новой партией шелка. Об этом весь город говорит. Я уж все обсудила с портнихой, в столице нынче кроят иначе, а мы тут живем, как последние провинциалы…

Она ведь любила меня, я думаю. И жизнь была пропитана радостью и смыслом. Что изменилось? Мельницы остались мельницами, люди — людьми, и даже оруженосец, я слышал, осуществил свою мечту — стал губернатором в дальнем краю. А я все реже ощущаю дыхание великанов в скрипе мельничных крыльев. Мой мир был бы полон тишины, но она сделала его уютным, как коврик у камина…

— О, ты слышишь? Прибыли. Но ничего, торговать начнут только завтра. Надо будет пораньше собраться, а то все раскупят… М-м-м, съешь капельку?

Она всегда любила сладкое и заливисто смеялась вишневыми губами… Слышится грохот пушек. Что там? Я уже различаю шум толпы. И впрямь — развлечение для жителей, пришел корабль из дальних стран. Сегодня усталые моряки рассядутся по трактирам, неспешно рассказывая за кружкой пива о жарких песках аравийской земли, о северных широких реках, о странных обычаях людей и повадках морских гадов…

— Хмурый какой… Верно тебя называли — Рыцарь печального образа. Да не волнуйся, успеем мы завтра купить пару отрезов шелка, говорю же — пораньше выйдем. Ну, голубчик, не дуйся, съешь ягодку, ты же всегда любил вишневое варенье.

Жарко сегодня.

В тумане

— Дружок, иди ко мне!
— Ду-дут!
— Иди же!..
— Иду.

Короткий белый подол перепачкан зеленкой весенней травы. Маленькая девочка усаживается в клубах молочного тумана перед

матерью, та укоризненно качает головой.

— Правда, я молодец?

— Конечно, молодец. Но не увлекайся, наши только сто человек в неделю.

— А я хочу еще!

— Не все, что мы хотим, мы можем себе позволить, — назидательно говорит женщина в белом платье, невесело улыбаясь и поправляя прядь светлых волос.

— Я сейчас вообще попала с первого раза! — вопит девочка, размахивая руками.

— Да, хорошо, ты быстро учишься, — устало говорит женщина.

— Слушай… А почему они иногда так кричат, мам?

— Им бывает больно, лапушка. Но тут уж ничего не поделаешь.

— Ой, мне тоже когда-то было больно, я помню… А можно сделать, чтобы… чтобы им так не было?

— Нельзя, деточка. Ну, не расстраивайся, ты уже большая, ты же все и сама понимаешь. Радость, и та не ходит без боли. Что уж говорить о любви…

— Мам… а нам обязательно это делать?

— Да. Теперь обязательно.

— А если я не хочу?

— Мало ли чего ты не хочешь. Он ведь тоже не хотел, помнишь?.. А теперь наша очередь.

— Это было совсем давно… я не помню… наверное.

— Ну, это к лучшему, пожалуй. Вставай.

Женщина в белом поднялась с ледяной скамейки, морщась, взяла лежащий рядом массивный лук-автомат, протянула руку девочке и подняла с подмороженной травы.

— Мам, а ты ведь не всегда была моя мама, да? Ну, в прошлой жизни?

— Да. Но про это мы тоже вспоминать не будем.

— Ладно.

Герда потянулась за своим маленьким луком, не выпуская руки Снежной Королевы, и они пошли куда-то вдаль, тихо переговариваясь между собой. И постепенно две фигуры растворились в молочном тумане.

Такие, как я

Санчо ехал на тощей кобыле, пьяно покачиваясь в седле. И зачем его понесло в объезд? А впрочем, правильно. Можно спокойно доехать до дому, ну и пусть долго, зато не через лес. Жуткие, надо сказать, байки рассказывают про здешний лес. Говорят, будто по ночам из могил выкапываются мертвяки и играют в прятки под дубами. Еще, мол, разбойнички ночуют. Много говорят. Даже… Впрочем, это-то уж точно негоже к ночи вспоминать. Санчо поежился, хлестнул дохлую лошаденку — авось пронесет… Заеду к Дульсинее, подумал вдруг Санчо. А что? Самое оно, да и ждет, небось. Эх, жаль, не меня она ждала с самого-то начала. Ну, а чем я хуже? Утешу… Санчо сладко задумался.

Невдалеке послышался стук копыт. Крупная лошадь, машинально подумал Санчо. И сразу же испугался. Полночь уже, неужто еще какой случайный путник, вроде него, едет навстречу? Хорошо бы, да не верится что-то… Санчо сразу взмок и торопливо перекрестился.

Из-за поворота показалась лошадь. С всадником. Что-то было не так, но Санчо в темноте не сразу разобрал, что. И вдруг понял. У всадника не было головы.

…В глаза светила луна и противно ныло плечо и шея, — ударился, видно, когда с лошади-то летел. Санчо окончательно пришел в себя, подобрался и сел. Вокруг никого не было. И лошади не было. А вот это было по-настоящему плохо. Как же домой-то? Ночь вокруг. Тьфу ты, как баба, без чувств, понимаете ли… Всадники нам мерещатся. «Совесть-то нечиста», — проговорил кто-то. Санчо вскочил и схватился за нож, висящий на поясе. Да кто ж тут есть… А ну, выходи! Раздался тихий смешок. Санчо чудилось, что отовсюду из-за кустов глядели на него десятки глаз. Впрочем, судя по шорохам, вовсе и не чудилось. Волки, подумал Санчо. Не иначе. Или волколаки. Делать-то что?! Санчо судорожно перебирал в уме все истории, что рассказывали о ночном лесе. Заканчивались они плохо. Если вообще заканчивались…

«Да ладно тебе, когда предавал, не боялся, небось?..» Кого предавал, тупо подумал Санчо… и вдруг понял, кого.

Бежал он долго, но его не преследовали; может быть, поэтому он все-таки добежал и рухнул на собственном пороге. Минуту спустя, не отдышавшись, он ввалился внутрь, с грохотом

захлопнул дверь и запер ее на все засовы.

«Ну, здравствуй», — раздался голос за спиной. Санчо подскочил на метр, не меньше, развернулся судорожно и увидел… Да, за столом сидел давешний всадник. Только теперь Санчо узнал его. «Дон?!» — «Он самый», — насмешливо и спокойно проговорил всадник. Впрочем, какой же он всадник, коли на скамье сидит, а не на лошади?.. Головы нигде не было видно и страшно было, ох, как было страшно слушать голос, что шел неведомо откуда. «Да ты садись… чего уж». Санчо сел, не глядя, на скамью у стены. Хорошо сел, уверенно, даже на пол не грохнулся. «А вы… живой, Дон?» — тупо спросил он и сам понял, как это прозвучало. «Такие, как я, не умирают». От Дона веяло темнотой, которая не позволяла разглядеть деталей, и почему-то Санчо до дрожи захотелось увидеть, а что там, где нет головы… Но стало еще страшнее.

— Я не предавал, Дон, не убивал вас…
— Знаю, что не убивал.
— И не предавал!
— Ты не пошел со мной, и меня убили. Попытались убить…
— Я боялся, Дон! Я просто трус…

Санчо забыл, что боится. Его терзала мысль, что Дон может поверить, будто Санчо, его верный Санчо — предатель.

— Сказал бы, что нравится тебе Дульсинея, что остаться хочешь, не с ней, так подле, а не в походы ходить…
— Да не в том дело, Дон!

Санчо вдруг нестерпимо захотелось, чтобы Дон поверил ему.

— Просто зря это, Дон, все зря! Мельницы не победишь, на то они и мельницы! Да и губернатором я не стану…
— Выгляни в окно, Санчо…

Санчо глянул в окно и остолбенел. В рассветной дымке за оврагом, там, где стояла мельница, ничего не было. Только гигантская тень удалялась…

— Так что, все это правда? Это великаны?
— Конечно, друг Санчо. Просто надо уметь видеть. Теперь ты видишь. Ты же практически умер.
— Как?! Когда??

— А вот прямо сегодня. В лесу. Шею едва не сломал спьяну, когда с лошади летел.

— Да как же…

Санчо вскочил и снова сел. И опять вскочил.

— А вы? Как же вы? Как же мы с вами? Неужели ничего не сделать?

— А что тут сделаешь. Впрочем, послушай меня…

…Они ехали рядом, как в старые времена, только теперь Санчо сидел не на осле, а на кобылке своей — нашлась, зараза… Наступал уже третий рассвет с той ночи, как встретились они с Доном в лесу. С той ночи, когда Санчо едва не умер. Он уже почти свыкся с мыслью, что Дон не очень-то живой, что ему не надо теперь ничего… Почти ничего.

Гулкий звук донесся издалека. Санчо соскочил с лошади и прижался ухом к земле. «Идет! — прошептал Санчо, преданно глядя на Дона снизу вверх. — Ну, с Богом…»

Они пришпорили лошадей. Убить хотя бы одного великана, хотя бы одного, скачками неслись мысли в голове Санчо, все легче, да, а может, простят, может, забудут? А впрочем, не забудут, да, не ради себя, главное — не ради себя…

Великан вышел из рассветной дымки, скалясь, помахивая неподъемной дубиной. С плеч у него сыпался какой-то мусор. Птицы вдруг перестали петь. Мир замер. Дон и Санчо с двух сторон рванулись к великану, доставая мечи. Да, у Санчо теперь тоже был меч…

…На исходе утра, когда они уже валились с ног, Санчо удалось ударить злого великана в самое сердце. Тот упал, поднимая пыль на дороге. Птицы снова запели. Мешал какой-то скрип. Санчо утер пот и счастливо засмеялся.

— Я не хочу быть живым! Я буду как вы, Дон, как вы, вечно служить людям!

Предостерегающего крика он не услышал. Скрипевшее дерево, росшее у дороги и задетое великаном, с шумом повалилось на него.

— Такие, как я, не умира…

Малыш и Эн

Малыш, как обычно, сидел у окна. Он каждый вечер делал уроки, а потом садился на стул, подпирал подбородок руками и смотрел, как над крышами соседних домов летают птицы. Это давно уже стало привычкой — с тех пор, как его друг улетел и обещал вернуться. Мама говорила, что никто никогда не возвращается. Возможно, она была права. По крайней мере, папа тоже однажды ушел и больше не вернулся. Но Малыш все равно ждал. Он очень хорошо умел это делать.

Последнее время ничего особенного не происходило. Даже мама перестала готовить тефтели, и изо дня в день приходилось есть невкусные голубцы. Собаку ему так и не подарили. Боссе все время проводил с друзьями, приходил ночью, глазами блестел, пару раз икал и ложился спать. Бетан целовалась со своим парнем, поэтому ее вечно не было дома. Кристофер и Гунилла редко с ним разговаривали, потому что он перестал гулять. Ведь надо было сидеть у окна и ждать друга. Они говорили, что он никогда не прилетит. Смеялись. Даже Гунилла. Поэтому он раздумал на ней жениться. Впрочем, можно было жениться на маме, но она все время была в своих мыслях, а недавно сказала ему, что он все придумал про друга, заплакала и вышла из комнаты.

Последнее время Малышу стало казаться, что у него в шкафу кто-то поселился. По крайней мере, иногда оттуда раздавался шорох. Сегодня он, наконец, решил туда заглянуть. Долго собирался с духом, открыл дверцу и сначала не увидел ничего, кроме одежды. Потом разглядел, что на нижней полке сидит странное существо. Оно было маленькое, черно-серое. И немножко страшное. Оно сидело там и смотрело на него. Малыш захлопнул дверцу и никому не стал рассказывать, что видел.

Шли дни. Ни папа, ни друг не возвращались. Боссе однажды пришел домой и, качаясь, упал на пороге. А маме пришлось тащить его в комнату и укладывать в постель. Наверное, он заболел. Как-то раз Малыш услышал, как Бетан говорила маме, что будет делать аборт. Малыш не знал, что такое аборт, но видимо, это что-то очень плохое, раз мама заплакала. А потом сказала, чтобы делала, как хочет. Бетан не было дома целый день, а потом она вернулась и тоже все время плакала.

Малыш стал часто заглядывать в шкаф. Существо сидело и смотрело на него большими черными глазами. Иногда оно оказывалось на другой полке. Вообще-то оно было похоже на девчонку. Страшненькую и противную. Малыш скоро перестал ее бояться, привык. Он начал скармливать ей голубцы — все равно они были невкусные. Существо ела, наверное, ей не нравилось, но она ничего не говорила.

Однажды Малыш открыл дверцу и увидел, что существо выросла.

— Тебя будут звать Эн, — сказал ей Малыш. Ему показалось, что Эн чуть-чуть кивнула.

Эн росла теперь уже быстро и перестала помещаться на своем месте. Малышу пришлось вынуть одну из полок, чтобы ей было, где жить. Мама ничего не заметила.

Так прошло много-много времени. Малыш стал совсем большой и однажды понял, что все не так, как он думал. Он хотел заплакать, но у него не получилось. Тогда он подошел к шкафу и распахнул дверцу. Полок не было, вещи давно перекочевали на стулья, а весь шкаф занимала Эн. Малыш взял стул и стал смотреть на нее. Так они и сидели, глядя друг другу в глаза, — Малыш и Ненависть.

Маленькое переносное солнце

* * *

Жили-были Тори и Ам, Ам и Тори. Ели, пили, спали, и все у них было хорошо. Но однажды вечером Тори включила музыку, закурила и сказала:

— Я очень несчастна.
— Почему? — спросил Ам.
— Потому что у меня нет того, чего я хочу.
— Чего же ты хочешь?
— Больше всего на свете я сейчас хочу трубку с вишневым табаком, губную гармошку и почитать сказки Гофмана.
— Да ты счастливейший человек! — сказал Ам.
— Почему? — удивилась Тори. — Как это?

— Так. Вот есть у тебя сейчас винстон уан, винамп и вордовый документ, и есть у тебя ясное понимание, чего ты хочешь. Это важно. А трубка с вишневым табаком, губная гармошка и сказки Гофмана у тебя обязательно будут.

И тут Тори поняла, что все так и есть, и обрадовалась. Потому что иногда для счастья нужно только, чтобы кто-то об этом сказал.

Bad Girls

Плохие девочки любят пить виски, курить сигареты и нюхать трубочный дым. Отращивают длинные когти и острые языки. Они кусают словами и притягивают глазами. А потом опять кусают и бьют током самих себя. Девочкам нравится быть творческими, писать истерику разумно и жарко. Они любят мужчин и любят, когда их любят. Закатывают глаза и говорят: «Сколько можно…», говорят: «Кто считает», — а сами помнят, как он смешно целовал ее в кончик носа, а потом дверь в квартиру захлопнулась, а вот он подарил медвежонка, но у него оторвалась лапа почему-то. Плохие девочки не любят плакать. Иногда все равно, ночью, носом в подушку, чтобы никто. Но редко, да, редко. А внутри у них живет маленькая пугливая зверинка. Пушистая такая. Очень боится, но не плачет. Дрожит только иногда сильно. Особенно когда ее бьют. Она тогда смотрит глазами своими изнутри и когти выпускает — держится.

Destination anywhere

Так о чем это мы? О свободе, да… Что ж, слушай.

Зимней ночью нужно выйти на улицу. Только предварительно подготовиться, надеть свитер мягкий и шарф. Ты почувствуешь, что это та самая ночь. Хлопнешь дверью, непременно поскользнешься на пороге и выберешься на улицу. Под фонарем будет волноваться белое, небо будет тяжелым и невидимым. Нужно несколько минут постоять, глядя на подфонарную круговерть, а потом подставить руку и поймать снежинку. Если она будет красивая, значит, тебе повезет. Кутаясь и пряча нос, нужно пойти туда, куда глаза глядят. Это, знаешь, вот если человека умотать по самое не хочу, а потом на минутку оставить в покое, он так и будет смотреть — не то насквозь, не то вообще внутрь себя. Вот так, да… Если сделал все правильно — сам не заметишь, как окажешься на автобусной остановке, когда-то

давно лишившейся крыши и таблички с номерами. Не волнуйся, теперь тебе осталось только ждать. Сколько? Никто не знает. Через некоторое время подойдет автобус без номера. Если захочешь, ты в него сядешь. Впрочем, если бы не хотел, ты бы и остановку не нашел. Нужно зайти, сесть и расслабиться. За окнами будет мелькать что-то, а ты смотри и попытайся решить, чего же ты хочешь.

Может быть, в автобус будут заходить люди. Некоторые начнут отдуваться, озираться тревожно и вопрошать: «Это пятый?.. Это сто шестнадцатый?..» Другие просто усядутся, кто куда, и затихнут. Вот кому-то повезло — он достал из кармана билет, взглянул и улыбнулся. На следующей остановке сошел. Ну что, ты уже понял? Опусти руку в карман. Доставай. Смотри. Ну-ка, покажи… Да-а… Ну, не знаю. Ничего не могу сказать. Права не имею. Позже. А ты пока осваивайся, братишка. Сиденья еще мягкие, особенно то, справа. Почти не дует, даже у окна. Располагайся поудобней. Будет мне теперь с кем время коротать…

Эшвиш

Эшвиш, как обычно, пришел на работу без пяти девять. О такой работе мечтали многие — сидишь в теплом кабинете, от звонка до звонка, заполняешь карточки, заносишь в компьютер. А вечером домой. Красота. Не то, что за гроши рвать спину тяжелыми мешками или на ледяном ветру покрывать раствором новую кладку. Эшвиш сидел за столом и тупо разглядывал серый заоконный пейзаж — до начала рабочего дня было еще пять минут. Он всегда старался прийти пораньше, потому что за опоздания сурово штрафовали, и даже провели пару показательных увольнений. До сих пор Эшвишу удавалось не опаздывать. Поэтому никто на работе не догадывался, что ранние пробуждения для него являлись самым настоящим ужасом. И подвигом.

До самого рассвета Эшвиш мог делать все, что угодно. Единственное, чего он не мог — спать. К утру он задремывал, успевал увидеть во сне что-то высокое и летящее, но совсем скоро ему приходилось выдирать себя из теплой постели. Жизнь превращалась в ад каждое утро. И так было до самого вечера. Только когда в длинных офисных кабинетах загорались тусклые лампы, Эшвиш начинал себя хоть как-то чувствовать.

Сегодня предстоял день выплаты премий, а Эшвиш едва не

опоздал. В прошлом месяце он проспал и пришел на работу в девять ноль пять. Премию ему тогда не дали. Эшвиш задумался о постели и быстро выпрямился. Не хватало еще заснуть…

У него был один секрет. Маленькая подушка, набитая сушеными травами, в нижнем ящике стола, закрытом на ключ. На ее атласной поверхности можно было выспаться буквально за четверть часа. Подушку ему когда-то подарила мама.

Она умерла восемь лет назад. Еще до того, как он стал взрослым и получил хорошую работу. Она не дожила до его совершеннолетия. И некому было рассказать ему в самый торжественный день, кто он такой и как ему следует жить дальше…

Эшвишу удалось сосредоточиться и нормально проработать до обеда. Когда все ушли в столовую, он аккуратно закрыл дверь и только было собрался прибегнуть к верному противо- (или за?) сонному средству, как вернулся коллега, забывший кошелек. Потом начали звонить все телефоны одновременно. Затем его вызвали к начальству — вручать премию. В общем, поспать так и не удалось… А вечером им объявили о неделе аврала — начиналась подготовка к ежегодной комиссии, работа без обеда.

Через четыре дня Эшвиш, как обычно, сидел за столом. Стояла серая дождливая погода. Люди работали, и только у него все валилось из рук. Он по-прежнему не мог уснуть ночью, а днем ему спать не давали. Чтобы развеяться, он подошел к окну. Встал, прижавшись лбом к стеклу, и смотрел, как летят вниз дождевые капли. Он вспомнил, как мама называла дождик — соннышко. Пробормотав что-то о проветривании помещений, Эшвиш открыл окно. В кабинет ворвались мокрые запахи и звуки будничного города.

Никто не заметил, как он ступил на широкий карниз. Постояв секунду, он повернулся направо и медленно пошел к углу дома. Там была глубокая ниша, защищенная от дождя. Он сел, подтянул ноги и закурил.

Заметили его исчезновение не сразу, а когда в кабинете стало холодно. Окно закрыли, мимолетно удивившись, куда подевался Эшвиш. Впрочем, все тут же забыли о нем — разбирали архивы, не до того… А он стянул пиджак, рубашку, накрылся ими и уснул. Ему снилась большая птица, парящая над городом…

Наступал вечер, дождь затих и Эшвиш проснулся от рева пожарных машин. Это кто-то из младших служащих, возвращаясь с поручения, заметил скрюченную фигурку в нише, а дежурная, перепугавшись, позвонила в пожарную охрану.

Когда Эшвиш понял, что сейчас к нему доберутся люди в ярко-желтых спецовках, он поморгал, выпрямился и шагнул в сторону от поднявшейся лестницы. Тело затекло, нога неуклюже поехала по скользкому карнизу…

Он летел вниз, медленно, как во сне. Мимо проскальзывали окна, освященные всеми оттенками желто-белого цвета, иногда попадались зеленые или синие. Мелькали удивленные или испуганные фигуры, застывшие в нелепых позах. Внизу ждал город — мокрый, встрепанный, покрытый серым асфальтом.

Эшвиш улыбнулся, распахнул руки, будто хотел обнять этот город, и плавно заскользил вниз — в сторону — вниз — в сторону… Он понял, что летит.

«Я — сова», — думал Эшвиш. — «Я — сова».

Художник

Высоко, под самой крышей дома номер четыреста двадцать восемь, живет художник. У него есть чайник со свистком, почти черная кошка, работа, которая его кормит, и Клара.

Он копирует картины старых мастеров для издательства, которое платит не так, чтобы много, но на жизнь хватает. А ему много не надо. И, пока есть деньги, он заваривает чай с мятой и душицей прямо в чайнике, садится у окна, на колени ему вспрыгивает кошка. В городе мокро, тучи, туман, стекло покрывается неровной сетью дрожащих и оползающих капель, барабанит по крыше уютный дождь. А художник мечтает. Он хочет написать эротический роман.

Невидящим взглядом смотрит он в мутноватое стекло и все рисует и рисует перед глазами сцены нежности и насилия, не решаясь перенести их на бумагу. Стройными рядами идут мускулистые нубийцы, жаркие эфиопки, тайки с бархатной кожей, бредут по берегу моря, чтобы упасть в прибой и подставить обнаженные тела солнцу — игра света и тени,

полутона и влажный песок на лице. И что же? Воображение отказывает художнику, он застывает, кошка тихо мурчит у него на коленях, чай стынет.

На следующий день, закончив очередной набросок, он сядет в кресло у окна, обхватит колени руками, брысь, кошка, не до тебя, и станет рисовать новую сцену. Девочка, еще пухлая щеками, фруктовая, пушистая, берет со стола персик и маленькими быстрыми пальчиками разминает его, впивается губами — крупные мазки, акварель, гуашь, капли сока. И что? Художник хмурится, ни одна сцена не удается ему по-настоящему, он теряет детали, он не может поймать главное, он плачет. Кошка тихо сидит на подоконнике, боясь его потревожить. Приходит Клара.

Она шлюха, ее обход закончен, клиентов сегодня мало. Клара подумывает завязать со своим ремеслом, сколько можно. Ей нравится, когда художник просит ее позировать для редких собственных работ, нравится лежать обнаженной на потрепанном куске красного бархата, вдыхая запахи красителей и душицы, которыми пропитана мансарда. Ни одна картина из тех не закончена, ну и что. Кларе нравится художник, и она не прочь остаться. Закипает чайник. Художник замечает Клару, наконец, и они молча пьют чай с домашним печеньем.

После чая она не спешит уходить, а он не гонит ее, занятый мыслями об очередной сцене — не идет кисть, цепляется капризным беличьим ворсом за холст, тонкая французская девочка разметалась в белоснежной шелковой постели. Никто не идет, она прекрасна, в полумраке комнаты она выглядит силуэтом с дагерротипа, обнаженной фигурой речи, точеные линии, точные штрихи, кто придет к ней? Художник не знает, он ложится спать.

Кошка сегодня останется на подоконнике — место в постели занято, там ляжет Клара. Кошка не против.

Художник ворочается, вздыхает и никак не может уснуть. Клара смотрит на него в лунном свете, падающем из окна, гладит его по щеке и делает ему минет, бережно и сосредоточенно, как заядлый курильщик, аккуратно берущий губами последнюю сигарету из пачки, хранимой на самый черный день, затяжка, затяжка, выдох, удовольствие с привкусом душицы и мяты. Дождь закончился. Художник автоматически целует Клару в губы, откидывается на подушку и в ту же минуту засыпает.

Ему снится горькая и соленая эфиопка, она выходит из моря и сворачивается у него на подоконнике большим блестящим кольцом. Клара засыпает тоже, но ни ей, ни кошке в ту ночь не снится ничего такого, о чем можно было бы рассказать хозяину. А утром снова идет дождь.

* * *

У меня есть отличное переносное солнце, купленное на распродаже. И если его включить, станет видно, что, в сущности, мы очень счастливы. Черты станут ярче, ногти застынут нугой из разломленного напополам шоколада, а на губах проступит винный отпечаток винстона, фильтром искупанного в бокале, как ты меня научил. Станет как-то очень заметно, что тебя здесь нет и я, кажется, никогда больше тебя не увижу, потому что уже давно две тысячи километров умножились на два. Станет светлее, стоит включить солнце: маленькое — можно поставить рядом, чтобы тепло, можно закрыть ладонью, чтобы пальцы были кровавыми, словно искусанными — до локтей далеко, не достать. Можно закрепить над зеркалом, подойти — и тогда сразу видно, что год получился зимний и цирковой; холодно, правда, холодно под куполом: красный нос, трико, гаснущие факелы в руках, в ступни врезается тонкий трос, на щеке нарисованная слеза. Маленькое солнце можно носить на ладони, светить, выжигая на эпителии слова радости и любви, освещая дорогу — даже и не себе, если хватит запала. И, забыв о судьбе крокодила, можно даже проглотить это солнце, когда станет совсем небольшим, растраченным более чем на две трети, чтобы там, внутри, тоже было светло и как-то сразу понятно, что мы, в принципе, очень счастливы. Сны станут ярче, страхи застынут и растворятся белой таблеткой в красном бокале, который я непременно выпью, потому что всем известно: от себя не уйти, а царапины нужно обрабатывать спиртом, закусывать шоколадом, не уронить бы факелы, не уронить.

Твое здоровье, солнце мое, от неба и до самого дна.

Та история

Если бы мне пришлось рассказывать Ту историю, я бы обязательно начала так…

Давным-давно, еще когда для того, чтобы прослыть творческим человеком, не приходилось рисовать белым по

белому, а чтобы объяснить свою точку зрения, не нужно было доводить мысль собеседника до абсурда, жили на свете двое. И так они любили друг друга, что даже говорить неудобно — кажется, что все слова выходят какие-то ненастоящие, банальные и не о том.

Говорят, что все на свете написано, но подлинную историю этих двоих найти невозможно. Неизвестно, где и в когда искать, да на каком языке. Есть, конечно, отдельные смельчаки, которые пишут слабые копии, думая, что создают оригиналы. А есть небывалые герои, которые пытаются воплотить Ту историю в жизнь. И совсем уж мало тех, кто воплощает.

У Той истории нет морали. Говорят, правда, что у нее есть конец: «И жили они долго и счастливо, и умерли в один день». Не верьте — такой конец есть только в копиях. У Той истории не может быть конца. По законам жанра. Это ведь не какой-нибудь там роман.

А заканчивать я бы, конечно, не стала.

Пицца

— Вы заказывали пиццу?
— Да, я… Давайте… Да разувайтесь вы…
— Ну, давайте разуюсь… Как у вас чисто.
— Да… Сколько с меня?.. Ой, сейчас…
— Ага. Простите… У вас что-то случилось?
— Нет, почему это?
— Ну, просто так люди не плачут.
— Я… не обращайте внимания.
— Я могу вам чем-нибудь помочь?
— Нет… Хотя… В каком-нибудь фильме героиня предложила бы съесть с ней пиццу.
— Да, а герой бы согласился. И я бы… если бы был героем.
— А знаете что? Я вас действительно приглашаю.
— Вы серьезно?
— Ну да, почему нет?
— Ну… хорошо.

У него больше не было заказов на сегодня. Видимо, поэтому они очнулись над пустыми чашками и тарелками, когда было уже…

— Ой, уже час ночи! Как же вы поедете? Вы же на своих двоих?

— Ну, машину поймаю. Где у вас тут машину лучше ловить?

— Выходите за угол, там дорога, вот по ней… Слушайте. А может… вы останетесь?

— А это удобно?

— Почему нет?

— Вы всегда отвечаете «почему нет»?

— Почему нет?

Они рассмеялись, и он поставил обратно сумку.

— Предупреждаю, через полчаса я ложусь спать, мне завтра рано на работу.

— Да и мне.

Диван в соседней комнате не годился даже для того, чтобы на нем сидеть, не говоря уже о большем. Она привыкла укладывать гостей в свою постель, благо у нее никогда не оставались чужие люди. Когда выключили свет, до нее дошла вся пикантность ситуации.

— Располагайтесь…

— А диван?..

— Он сломан. Кроме того, вы там не уместитесь.

— Ну, хорошо…

Они полежали под одним одеялом минут десять — тихо, как мыши. Каждый думал, что это будет неправильно, но… Его утомило расставание с последней — молоденькой и безбашенной — девчонкой, а тут хорошо, но потом… А ей первый раз за тысячу лет можно уснуть не одной, но утром…

— Было так интересно, что я бы так до утра и сидел.

— Да? Ну, можете пойти на кухню и посидеть еще немного.

— Потом он поел еще немного… и еще немного…

— Ага, Винни-Пух.

— Спать?

— Спать…

— А что бы дальше сделал Винни… тьфу, герой фильма?

— А что бы ответила героиня?

Они повернулись друг к другу и шепотом одновременно спросили:

— О чем ты сейчас думаешь?

Вышеград

Вышеград — белые холмы, черные дома. Зима пришла, застелила, выстудила горячее сердце малого города. Люди кутаются в меха, кожу, сукно, по вечерам сидят у огня, ведут разговор о былых подвигах, а о новых — ни слова. Какие подвиги в такую стужу-метель?.. Холодно в Вышеграде.

— Витко, посиди со мной…

— Да я каждый день с тобой, никуда не хожу.

— Как это — никуда? Вчера за дровами в лес кто пошел?

— Так ведь замерзнем мы с тобой, если я дров не принесу.

— А кто по утру сбежал? Чуть с жизнью не рассталась, когда увидала, что нет тебя!

— Будить не хотел… Любавушка, есть-то нам что? Зима долгая в этом году. Вот и пошел на охоту…

— Не смей мне говорить про голод! Что ты про него вообще знаешь?! Не ты, не ты сидел там один, без всякой надежды, без корочки хлеба…

Женщины прядут, вспоминают, как в прошлом году Изран оборотней победил, как Вересей Хельгу спас. Вздыхают девицы, мечтают, чтобы когда-нибудь пришел их черед. Велика ли беда — посидеть пару дней в темном лесу или в разбойном логове, если прискачет на коне добрый молодец, победит врагов, спасет девицу, возьмет в жены? Усмехаются женщины, ничего не говорят.

— Что ты, милая?.. Это морок ночной, успокойся…

— Витко, веки не закрыть, смотрит, смотрит на меня зверь лютый, дышит, на черный дым исходит. Не могу я спать, Витко… Не трогай меня, уйди!.. Нет, постой…

— Любавушка, тихо, тихо, не плачь, я с тобой…

Выехал на гору, посмотрел вниз. Расступается лес у подножья гор, камни лежат грудами, чернеет пещера… На горе добрый молодец Витко крутит чернявый ус, поправляет меч у пояса, улыбается солнышку жаркому. Знает Витко, победит он дракона, привезет домой Любаву Прекрасную, станет жить-поживать…

Вышеград — стылые холмы, теплые дома. Зима пришла,

заморозила, выстудила горячее сердце малого города. Люди кутаются, по вечерам ходят в гости, сидят у огня, ведут разговор о былых подвигах. Только нет среди них Витко Храброго, почитай, три года не видят его в чужих домах, да и на улице редко встретишь Витко. Не выходит он из дому. Разве что на самом рассвете, когда жена забывается неровным сном, крадучись, выскальзывает он, идет в лес, собирать хворост или охотиться на дикого зверя. А потом возвращается Витко туда, где углы затянуты паутиной, садится осторожно на край широкого ложа и смотрит, как мечется во сне Любава, что звали Прекрасною. Поправляет Витко край одеяла, а потом, проведя рукой по белым, как сама зима, волосам, идет растапливать печь. Холодно в Вышеграде.

Томасина Скай

Я люблю девочку по имени Томасина Скай. У меня кружится голова, может быть, это плохо, иногда мне даже страшно, но я все-таки люблю ее. У Томасины мягкие ступни пятилетнего ребенка, жесткие волосы, которые мне нравится гладить, светлые глаза, лицо с морщинками смеха. Девочка по имени Томасина Скай не знает, что такое быть хорошим или плохим. Добро и зло она не оценивает, а совершает, ведомая лишь импульсами своего сердца. Девочка смеется от неожиданности, когда новый поступок приносит ей что-то хорошее, она хмурится, когда он приводит к плохому. Она не будет печалиться долго, просто станет жить дальше. Это видно по ее глазам. Томасина Скай носит платье, потому что она немножко принцесса. Никто не знает, сколько ей лет. На нее падает солнце и никогда не упадет.

Я видел ее только один раз, на картине. С тех пор я люблю ее. Сегодня мне представилась возможность познакомиться с художником, и я подумал: почему бы и нет? Томасина Скай не побоялась бы разрушить иллюзию. И я решился. Рисовала эту картину женщина — сильная, звонкая, тонкогубая экзальтантка. Эмоциональная, с жесткими волосами и в строгом платье — слишком строгом для юной принцессы. Сейчас я смотрю ей в глаза и не слышу ее имени. Мне кажется, меня щекочут искорки смеха, я делаю шаг, и мне становится жарко — неудивительно, ведь на нас все время падает солнце, и я только надеюсь, что оно никогда не упадет.

Теплая метель

Когда говорят «тепло»,
имеют в виду — «мне тепло»…

…Снег никогда не таял, лежал на крышах и подоконниках маленьких домиков, на зеленых елках, на заборах и на земле. Люди не выходили на улицу, поэтому метель за окном всегда была для них теплой. К тому же ей действительно никогда не было холодно. Потому что сюда не заглядывал ветер. А снег поднимался в воздух только от землетрясений. Это случалось все реже, и люди постепенно начали забывать о теплой метели. А она помнила и ждала, когда же вздрогнет земля, качнется небо, искрами взовьются снежинки и долго еще будут кружить, медленно опускаясь вниз…

Да что там землетрясения, даже день — и тот наступал редко. Вокруг было темно и тихо.

Сегодня все и случилось. День наступил сразу, земля ушла из-под ног, проснулась метель, счастливая вскинулась, но тут же как-то странно тряхнуло, завертелось все и вдруг…

Раздался треск, стеклянное небо раскололось пополам, подул холодный ветер, снег рассыпался, и громкий голос виновато сказал: «Мама, я не нарочно…»

* * *

Посвящается тебе

Он разорился и превратился в альфонса. Она же стала звездой экрана и кормила его. Потом ей надоело, и они поругались. Он стал бомжом, спал на вокзале, потом как-то выкрутился, написал книгу о прожитом, а на полученные деньги уехал на Кипр. Там они и встретились — она спросила, как доехать до Пафоса, а он продавал апельсины. Он узнал ее, а она его в рыжебородом торговце — нет. Она села в «форд эксплорер» и пыталась понять, где видела это лицо. Решила, что в местной рекламе, а ее спутник улыбался и просил не думать о чепухе. Потом, уже зимой, в Москве, она вспомнила и собралась на Кипр, но что-то не сложилось. Через полгода она случайно узнала, что тот самый торговец эмигрировал в Англию. А он считал пенни, сидя в ирландском пабе, и писал книгу о

них между строчек глянцевого журнала, чтобы издать в России, — вдруг она увидит? Камера крупным планом покажет

глянцевую страницу и чей-то голос произнесет: «Стоп. Снято».

Книгу не издадут, но появится онлайн-версия, и она случайно на нее наткнется, набрав в поиске два ключевых слова. Она будет искать, кто ее написал, но первоисточника уже не найти. Почти отчаявшись, она начнет писать свою книгу, чтобы он ее когда-нибудь прочитал. Книгу переведут на английский, и он увидит ее в Австралии, лежащую посреди пустоши. Буквально выдернув томик из-под кенгуру, он прочитает фамилию автора и снова захочет ее найти. Они увидят друг друга через стеклянную перегородку в аэропорту Хитроу: он — возвращаясь в Европу, она — улетая в Австралию. За пять минут они много успеют сказать друг другу одними губами. Она не станет садиться в самолет и побежит к нему стеклянными коридорами, но ее примут за террористку и задержат до выяснения обстоятельств. Он будет ждать ее на стоянке, и когда ее через три дня выпустят, они

вернутся домой. К тому времени дом покроется пылью, и она немедленно начнет чихать и сляжет с аллергией, а он будет приносить ей носовые платки и чай в постель. И когда он склонится над их общей постелью, чтобы забрать пустую чашку, и улыбнется ей, камера крупным планом покажет ее лицо, и чей-то голос скажет: «Стоп. Снято».

Они будут жить долго и счастливо, есть брусничное варенье, сажать желтые розы, читать вслух газеты, и вся округа будет знать, что в том домике на окраине живут двое сумасшедших стариков, которые каждый вечер гуляют, держась за руки. А потом он умрет во сне, и она поедет на Кипр, чтобы высыпать пепел над морем, как он хотел. И она будет долго смотреть на закатное солнце и слушать шум прибоя. Камера будет держать в кадре ее спокойное лицо с развевающимися седыми волосами, и чей-то голос воскликнет: «Стоп. Снято». Она рассмеется, снимет парик, повернется и увидит его. Не смывая грима, они пойдут в бар пить коктейли и вспомнят Москву декабря 2003 года.

Н. Крайнер

Город

В этом городе четвертую неделю идет дождь. Он смыл все острые углы и все акценты. Остались только недомолвки, недостачи и флирт на расстоянии вытянутой руки. Иногда — чуть ближе. Слова стекают вместе с водой в канализационные решетки и плывут куда-то по своим делам.

Дождь выгнал на улицы всех бродячих собак и прогнал оттуда всех кошек. Кошки сидят на персидских коврах около каминов и слушают, как их хозяева, прижимаясь носами к стеклам, клянут, на чем свет стоит, погоду и редкие молнии и еще более редкий гром. Это не тот дождь, который очистит и пройдет. Это тот, который залезет глубоко под кожу, затопит костный мозг, будет хлюпать в голове и в босоножках, когда побежишь через площадь за хлебом и вином. И ничего не останется, кроме как пить и есть, смотреть за стекло и гладить кота, который, для разнообразия, не будет возражать, потому что внутри тепло и сухо, и не стоит ради собственных принципов с этой благодатью расставаться.

Дождь идет, и все одинокие женщины теперь плачут по пять минут перед сном, не понимая, зачем они это делают. Не осознавая, что это просто дождь выливается из них, потому что не может больше помещаться внутри. А все одинокие мужчины очень сосредоточенно смотрят в телевизор и крепко держатся за бутылки с пивом, боятся, что их смоет. Те, что посмелее, пытаются найти себе компанию на эти дни. Те, которым хватило на это смелости, успели обзавестись подругами, все же, четыре недели — не шутка.

На кладбище сейчас пусто и сыро, только один человек с огромным черным зонтом каждый день приходит посмотреть на свою могилу. Все никак не может поверить в то, что умер. Даже перестал пытаться, просто выполняет этот нехитрый ритуал в любую погоду, иногда приносит себе цветы, всегда живые и всегда желтые, прощается с собой. Мы ему не мешали никогда, теперь-то уж точно не станем. Тем более, когда он не на кладбище, жизнь у него приятная и легкая, все столики в кафе освобождаются, как только он подходит туда, поэтому не надо ждать свободных мест и никто не разговаривает над ухом. Но сейчас, когда он стоит у своей могилы, лицо у него бледное и дождь плачет за себя и за него. Потому что дождю все равно, а этот человек как не умел плакать при жизни, так и сейчас не научился.

У соседки дочка третий день рисует солнышки. Уже на всех

обоях и на всех дверях, но нашаманить настоящее солнце ей пока не удается, потому что маленькая, да и рисует карандашами, а не акварелью. Как же можно бороться с дождем карандашами. Я ей не объясняю ничего, сама до всего додумается, потом, когда станет постарше, и мама ее перестанет рассказывать ей на ночь страшные сказки про ведьму, которая живет на соседней улице.

Ведьма, кстати, устроилась лучше всех. Она попивает чай и раскладывает бесконечные пасьянсы. Она это делает в любую погоду и в любое время суток, ей совершенно все равно, затопит нас всех или нет.

А колдуны говорят, конца света все-таки не будет. Это просто боги смотрят художественный фильм «Титаник», а дальше у них по плану наверняка что-нибудь более веселое.

* * *

Колдуны, кстати говоря, всегда правы. Поэтому у нас в городе их не очень любят. Хотя, бывает, обращаются за советом, но радости от этого мало. А когда радости мало, пользу разглядеть сложно. Соседка вот, как-то вскочила среди ночи, схватила зонтик и пошлепала по лужам к колдунам, очень захотела узнать, как ей жить дальше и найдется ли мужчина, который полюбит ее и ее дочку. Ведь одиноких мужчин полно, должен найтись хоть один. Это она мне уже потом объяснила, капая слезами в блюдце с вишневым вареньем. А тогда и не думала особо, просто пошла. Но колдуны ей только одно и сказали, на все ее вопросы. «Дура» сказали колдуны. И ничего больше. И даже в лицо такому не плюнешь, потому что прав.

* * *

Если дождь все-таки закончится, у нас тогда праздник будет. День Всего проходящего. Мы бы сами не додумались, конечно, это все колдуны. Сказали, что человек хотя бы раз в год должен осознавать, что все когда-нибудь да закончится, даже самое плохое. Не говоря уже о самом хорошем.

Вот мы тогда с утра и просыпаемся, зная, что все сегодня будет заканчиваться. Нет, не горячая вода конечно и не дождь даже. Но вот кофе в любимом кафе вполне может, одну чашку выпьешь, а вторую тебе уже не принесут, может, только, подсунут украдкой в счет 42 зернышка, на эспрессо. И с чаем те же проблемы. И еще так повелось, что если пачка сигарет кончилась,

то новую тебе уже не продадут. Мы поначалу понять не могли, какая от этого праздника радость, на колдунов поглядывали недобро и все ждали, может, они тоже закончатся. А потом поняли, что с этим нужно делать. Так что каждая чашка кофе пьется с тем удовольствием, которые обычно от трех-четырех получаешь. Да и сигарету в пепельнице на пять минут уже не оставишь. Будешь курить вдумчиво и смотреть на дым, не забывая про кофе, конечно. Или про вино.

Вино, кстати, в этот день в кабаке старого Джона подают отменное, красное, сухое, только что не пересыпается из бутылки в стаканы. Только мало. Дай бог, бутылок пять. А город у нас хоть и небольшой, но к Джону почти все ходят, кроме самых маленьких детей. Вот и нацеживает он почти наперстки, если после трех дня прийти. Если раньше, то, может, побольше достанется. Но зато такого вина во все остальные дни года не попробуешь. Мы Джона уже всем городом уламывали, не помогло.

Еще в этот день везде свечи зажигают, и пускают по реке бумажные кораблики. Кораблики, конечно же, тонут, а свечи догорают, но пока это все плавает и горит, можно сбежать из кабака и постоять немного на набережной, допивая вино и глядя, как тонет кораблик, который ты пустил плавать. Я к своим корабликам всегда глаза пририсовываю, чтобы можно было опознать.

Нет, конечно делается грустно иногда. Потому что, хоть и танцы на площади и люди веселятся, как могут, но музыканты-то наколдованные, в любой момент исчезнут, а ты в этот момент вдруг танцуешь с каким-нибудь прекрасным незнакомцем. Он-то вполне может исчезнуть вместе с музыкантами.

Да, примета есть такая, что всякие в этот день заведенные отношения тоже долго не проживут. Даже дружба. Про любовь я и не говорю уже. Она вообще может погаснуть одновременно с какой-нибудь свечкой. Хотя бы с той, что у вас на столике стоит и горит. Бывает, конечно, и по-другому, но не особенно. Вот приятель мой, Матиас, который в соседнем доме живет, познакомился два года назад с девушкой на этом празднике. Влюбился без памяти, хотя за ним такого раньше не водилось. И даже умудрился на следующее утро рядом с ней проснуться. Но вот как начал ее рисовать, Матиас у нас художник, да, так она посидела минут двадцать для приличия, а когда он отвернулся, чтобы красок на мольберте смешать, раз и ушла куда-то. Или просто исчезла — не поймешь. И ходил потом Матиас, как дурак, с недорисованной картиной. И мог бы, конечно, по воспоминаниям нарисовать, да вот беда, влюбился-то он без

памяти. Какие уж тут воспоминания. Впрочем, он утешился довольно быстро, стал пейзажи рисовать. Говорит, природа понадежнее людей будет. Сейчас сидит дома и рисует дождь. Уже столько дождя нарисовал, что у него на полу время от времени лужи появляются.

Ну да, я же про праздник. Под утро уже, когда все музыканты исчезают, и все кораблики тонут, мы обычно вспоминаем, что жизнь тоже когда-нибудь заканчивается, умираем да и расходимся по домам — спать.

* * *

Город наш, если идти вдоль реки и вдоль него, продолжается всего две бутылки пива. А если идти поперек, от квартала тишины к реке, то и того меньше. Всего бутылка, да еще чашка кофе, которую непременно надо выпить в кафе у моста. С другой его стороны. По секрету скажу, в этом кафе варят самый лучший кофе во всем городе. А то и во всем мире. Лечит от разбитого сердца и черной меланхолии. Для разбитого сердца нужна одна чашка крепкого колумбийского, для черной меланхолии — латте.

Но в это кафе почти никто из нашего города не ходит. Из тех, у кого все совсем хорошо, по крайней мере. Потому что, если перейти мост, а кафе сразу за мостом стоит, то начинает происходить Неожиданное. Неожиданное живет у нас за мостом уже очень давно, оно появилось даже раньше колдунов. Как всякое Неожиданное, оно норовит случится с каждым горожанином, которого судьба или любовь к хорошему кофе заносит на ту сторону реки. Разбираться, как там что у человека в жизни, оно, разумеется, не станет. Так что, если было у тебя все совсем хорошо, может неожиданно стать обычно. Или плохо. Но чаще всего просто по-другому. Наше Неожиданное, в общем-то, не злое, просто у него свои представления о человечьем счастье. Вот горожане и побаиваются. Но не все, конечно же. Я-то ладно, я туда через день хожу, потому что наши с Неожиданным представления о счастье очень друг на друга похожи, и мне «по-другому» только на руку, иначе ни работать, ни жить толком не получается. Но есть еще молчуны из квартала тишины, они туда раз в неделю приходят, сидят и, наверное, о чем-то с Неожиданным договариваются. Успешно, потому что это единственное время, когда они улыбаются. Еще в кафе, бывает, ходят влюбленные пары, когда им окажется, что любовь вот-вот сойдет на нет. Неожиданности в таких случаях очень помогают. А если не помогают, так разбегутся эти влюбленные, как и было

задумано судьбой. Тоже не худший из вариантов.

Но лучший момент — это даже не момент возвращения на эту сторону реки. И не тот момент, когда входишь в дом и понимаешь, что изменилось и в какую сторону. Самый лучший момент — это когда ты сидишь за столиком в кафе и чувствуешь, как что-то с твоей жизнью происходит. Сразу в голове как будто бутылку шампанского открыли. Ну, или не шампанского, а старого рома, к примеру. Это кому что по вкусу.

Вчера, вернувшись домой, я обнаружила, что мой кот, отличающийся мизантропией и свободой суждений, теперь умеет разговаривать. Спорили с ним полночи, до хрипоты (моей) про судьбы человечества и про фатализм. Надеюсь, это ненадолго. До завтра, максимум.

* * *

Сегодня по домам ходили социально опрашивающие, спрашивали сколько у опрашиваемых было в жизни проебанных возможностей. И как они себя в связи с этим ощущают. Да, прямо так и спрашивали. Специфичные они потому что здесь. И никогда не поймешь, зачем им это надо. Может быть, под Новый Год подарков наделают, может быть, просто, для статистики. Или какую-нибудь газировку выпустить собираются с названием "Последний шанс".

Пришли, помялись в дверях, потом зашли таки в дом, уселись на кухне и давай допрашивать.

— Сколько? — спрашивают.

Я задумалась, конечно. Ведь если признать, что возможность таки да, того самого, это ведь навсегда. А навсегда меня пугает. Но врать нагло в лицо меня так и не научили. Пришлось советоваться с памятью. Память услужливо подсунула один случай. Да, обидно было до сбитых костяшек, я помню. С другой стороны, говорю я памяти, это был принципиальный вопрос. Из разряда тех принципов, которые кажутся очень важными, когда тебе 18 и очень показательными, когда тебе 30, к примеру. "Все равно ничего не получилось бы" сказала я памяти. "Мы не сошлись принципами"

Память покивала и рассказала еще один случай. То есть, еще один кусок жизни рассказала. И опять таки да, могло бы. Срастись и разрастись, и вылиться в прекрасное тихое и уютное. Глупости, говорю я. Вся моя тишина с уютом — они здесь и сейчас. И не надо путать уют с болотом. И покой с волей тоже не надо. На всякий случай.

Опрашивающие смотрят на меня, но молчат, видимо, понимают, в чем тут дело. Видимо, не только я так себя веду. Я оторвалась от общения с памятью, налила им гостевого чая. Я-то его не пью, а гостям приятно иногда. Пепельницу поставила. Пусть ждут и ни в чем себе не отказывают.

Память, тем временем, поднапряглась и выдала самое оно. Самое больное и недавнее. Я аж зубами заскрипела от досады. Могло быть красиво. Да чего там, и было красиво. Только несколько меньше, чем хотелось бы. Ну так это поправимо.

— Ни одного, — гордо ответствовала я и пошла в комнату разыскивать записную книжку.

Опрашивающие допили чай, грустно о чем-то пошептались и ушли.

Наверное, газировку новую так никто и не выпустит. И подарки под Новый год придется покупать самим. Ну, оно и к лучшему.

* * *

А со мной недавно вот какая штука случилась. Я пропадать начала, по частям. Проснулась утром, а ноги и нет. Причем, что обидно, правой. Мне-то как раз левая всегда меньше нравилась. Хотя я ее чувствую вроде, ногу эту, но не вижу. А пока я кофе утренний пила да тревожилась, еще и рука пропала, тоже правая. Я тут совсем заволновалась и начала думать, к кому бы пойти. Можно, к примеру, к колдунам, но эти ведь дурой обзовут и окажутся правы, а мне это не поможет, скорее всего. Я же тут буквально на части разваливаюсь. Точнее говоря, на их отсутствие. Еще можно в квартал тишины пойти, к молчунам, но они пока объяснят на пальцах, что к чему, я уже успею целиком исчезнуть. А значит, остался только один вариант. Пойти к старику Петру, который у нас в городе мебель делает. У него получаются чудесные кресла, в которые можно забраться с ногами и все равно будет удобно. И даже место для кота останется. А кроме деланья мебели Петр еще дает советы. Мудрые, конечно же.

Я порылась в шкафу, нашла платье длинное до полу, с рукавами, чтобы никто не заметил, что со мной творится, и пошла. Петр, к счастью, всего в паре кварталов от моего дома живет. Но тетушки, которые сидят по утрам на площади, все равно меня заметили. Еще бы, они ведь когда-то были кошками, все три. И им почему-то из тех кошачьих времен осталось наследство в девять жизней. Я уж не знаю, сколько из них они

прожили, но каждое утро тетушки сидят на площади, хищно смотрят на голубей и рассказывают друг другу про своих многочисленные любовников из всех своих многочисленных жизней. Я еще маленькой совсем была, а они там уже сидели. Так что, наверное, жизней прожили немало. Не одну, и не две даже. Мы, когда детьми были, все пытались их подслушать, уж больно интересной нам казалась тема многочисленных любовников. Но тетушки нас всегда замечали и шипели тогда, почти совсем по-кошачьи. А мы убегали с визгом, конечно же.

Так что мне и сегодня пройти мимо тетушек незамеченной не удалось. Одна из них еще посмотрела так пристально и сказала — Ты сегодня что-то выглядишь плохо. Прозрачная почти. Ты кушай побольше рыбы, что ли. Я только кивнула и быстренько мимо них, чтобы не догадались.

А вот старый Петр сразу все понял. Посмотрел на меня и говорит- Исчезаешь? Ну, я только кивнула, что еще оставалось. А он мне налил вишневого сока и давай вокруг меня ходить и что-то приговаривать, пока я сок пью. Минут пять ходил, потом уселся в кресло и начал трубку раскуривать. Кресло Петра — это вообще разговор отдельный. Удобнее кресла во всем мире нет, я там как-то один раз сидела, когда у меня была любовь сильно несчастная и я, как обычно, за советом прибежала. Посидела в этом кресле минут пять и забыла про все, и про любовь и про несчастья сопутствующие. И поняла заодно, почему Петр у нас такой мудрый.

Ну вот, а он, значит, раскурил трубку и сказал:

— Это потому, что ты в себя не веришь.

Я удивилась, конечно, и обиделась даже.

— Я, — отвечаю, — в себя верю. Я в вампиров верю, они по ночам в старом доме на окраине песни поют. И в привидения верю, от них вообще спасу нет, во все окна норовят сунуться. Я даже верю в то, что молчуны каждый день спасают наш город от Постижимого. А уж в себя-то куда проще поверить, чем в Постижимое.

Но Петр только головой покачал.

— Ничего говорит, не проще. Была бы ты вампиром, тогда да. А тут вон как, пропадаешь. И если не изменишь ничего, так и исчезнешь совсем.

А потом он пошел к себе в мастерскую и принес мне кресло, новое совсем.

— Вот, — говорит, — как ты любишь. Чтобы с ногами можно было залезть. И место для кота еще останется.

Я его поблагодарила, конечно, хоть и не поняла ничего. Зато на обратном пути креслом можно было от всяких любопытных

знакомых загораживаться, чтобы не здоровались и не смотрели.

Так что я теперь сижу дома в кресле и думаю, что же дальше будет. И не пойти ли попроситься в вампиры. Иначе как же я в себя поверю тогда.

* * *

В вампиры меня, кстати говоря, не взяли. Сказали, мордой не вышла. Бледности и загадочности у меня в морде не достает. И вообще. Я собралась было расстроиться окончательно, но тут колдуны опять чудное удумали. Сказали, что мы скоро будем встречаться со своими двойниками. Вообще, встреча с двойниками сулит скорую смерть, но колдуны нас уверили, что все будет в порядке. А поскольку они всегда правы, мы решили не бояться. Выбили ковры, вымыли город и стали ждать. Колдуны еще что-то сказали про то, что вам, морокам, вообще ни черта не страшно, но сказали это очень тихо и куда-то в сторону. А, стало быть, к делу это отношения не имеет.

Но утром назначенного дня все равно все начали нервничать. Не каждый ведь день доводится самого себя встретить. И мало того, поговорить. Так что все жители города выбрались на улицу, расселись за столиками в кафе на площади и у старого Джона и начали обсуждать, как это все будет происходить. Молчуны, конечно, в общем ажиотаже не участвовали. Во-первых, потому что говорить им давно уже не о чем, а во-вторых, потому что молчунам двойников не положено. Очень цельные натуры, потому что. Некоторые говорят, что даже слишком цельные. Но это уже субъективные мнения.

И вот, когда мы с соседкой слегка трясущимися руками схватились за очередные чашки с кофе, которые нам принесли, в город стали приходить двойники. Они чувствовали себя так же, как и мы, нервничали, смущались и все время смотрели по сторонам, пытаясь разглядеть тех, с кем им предстоит встретиться. Ну, и встретились в итоге, конечно же. Хозяевам кафе пришлось принести из подвала все имеющиеся столики, но их все равно не хватило. Тогда те, кто живет на первых этажах, притащили всякую мебель, которая у них в домах стоит. все расселись и тут же шумно стало и даже весело.

Двойник моей соседки был похож на нее, как две капли воды. И одеждой и поведением, и даже дочка у нее такая же, светленькая и очень умная. Такое ощущение, что соседка в зеркало смотрелась все время. И разговаривала тоже с зеркалом.

К Матиасу, художнику нашему, пришел какой-то

респектабельный дядька в костюме. То есть, не дядька конечно, он же Матиасу ровесником приходится, но ощущение такое, что дядька. Потому что невыносимо серьезный. Серьезным он, правда, только поначалу был, потом они с Матиасом взяли кувшин вина и давай обсуждать женщин, спорт и даже политику. Совершенно непонятно, откуда наш Матиас что-то про политику знает, но поди ж ты, разговаривают. И даже спорить умудряются. Потому что одному нравятся брюнетки, а второму блондинки. Сошлись на рыжих, в итоге, говорят, рыжие девушки — это вообще самое чудесное, что может в жизни случится. Но случается очень редко.

Двойник Петра, который у нас мебель делает, оказался писателем. Причем, каким-то очень известным. Я не расслышала что и про что он там пишет, потому что Петр с двойником в самый угол кабака забились и пили там ром. Темный. Так что я ром разглядела, конечно, а все остальное почти не слышала.

Кстати говоря, у меня еще одна соседка есть, их тех, с которым можно кофе утром попить. Софья. Правда, мудрости у нее все нет и нет. Зато любовь постоянно случается, и все несчастная. Откуда она в нашем маленьком городке столько несчастных любвей нашла — понятия не имею. И почему ни одной счастливой не было — тоже не знаю. Зато двойником у нее была совершенно счастливая дама, вся в шелках и украшениях. Женщина-вамп, сразу видно. От такой даже наши вампиры разбегутся. И она, конечно же, принялась нашу Соню всяким жизненным предмудростям учить, но уж это мне совсем неинтересно слушать было. Соне, по-моему тоже. Ее, кажется, такая вот жизнь, с хроническими несчастными любовями, вполне устраивает.

А двойник старого Джона очень обрадовался, что у старого Джона свой кабак. Сказал, что он всю жизнь мечтал открыть какое-нибудь питейное заведение, но вот как-то не получилось. Семья большая, трое детей, и никак не рискнешь всем накопленным, чтобы мечту осуществить. Старый Джон ему посочувствовал в перерыве между двумя заказами, а потом они вместе работать стали, потому что посетителей огого сколько набежало.

К нашим тетушкам, сидящим постоянно на площади пришли три кошки — серая, черная и рыжая. И, кажется, они с тетушками нашли общий язык. Хотя молчали все, и кошки, и тетушки. Что на них, на тетушек, в смысле, совершенно непохоже. Я даже залюбовалась.

А пока я это на это все смотрела, и мой двойник появился наконец. Опоздал, что, впрочем, не удивительно совсем. Я тоже

особой пунктуальностью не отличаюсь. Мы с двойником посмотрели друг на друга, потом на толпу всю эту, купили у старого Джона бутылочку токайского и пошли на берег реки. Уселись там и давай друг друга друг про друга расспрашивать. Двойник мой, в общем, тоже неплохо живет. Старается, по крайней мере. Только в тех местах, где у нее дом, все немного сложнее, чем у нас. Жить так, как хочется, по крайней мере, очень сложно. Она мне про это долго рассказывала. Ну а я ей, в свою очередь, рассказала про то, что я исчезаю. То есть, кроме ноги и руки вроде больше ничего пока не пропало, но все равно неприятно. И платьев длинных у меня не так много.

Тут мой двойник, точнее, двойница, встрепенулась и говорит — А вот я бы из своей жизни с удовольствием исчезла. Ведь я, если там исчезну, где-нибудь обязательно появлюсь. И там, может быть, будет лучше. Может быть, — говорит, — нас удастся как-нибудь состояниями поменяться.

А я знать не знаю, удастся или нет. Про такое мне никто ничего не объяснял. У меня только один рецепт от всего, сходить за мост, туда, где Неожиданное обитает. Ну и попросить его, может быть, ведь как-то молчуны с ним общаются.

Так что я двойнику ничего не сказала, просто в охапку схватила и повела за мост. Там мы в кафе посидели, а я в это время пыталась объъяснить Неожиданному, что и как. Что я практически на все согласна, даже на третий глаз во лбу и полную перепланировку квартиры, только бы пока никуда из этого города не исчезнуть. Ну, и надо же двойнику своему подарок сделать. Она ведь хорошая, только грустная очень. Куда лучше всяких там вампов, вроде той, что у Сонечки.

Я не знаю, услышало меня Неожиданное или нет. Может быть, все просто само собой случилось, может быть, это все за тем и затеивалось, ведь что и зачем колдуны делают, никто никогда не знает. Но так или иначе, все получилось. У меня ноги-руки на место вернулись, а двойник мой стал каким-то полупрозрачным и ужасно счастливым. Она меня еще благодарила долго, пока не пришло время всем возвращаться в привычную среду обитания. А я ей на прощание посоветовала не очень в себя верить. Тогда исчезнуть быстрее получится. Она как-то очень удивленно на меня посмотрела, но кивнула. Может, у них в городе в себя как-то по-другому верят, не знаю.

В общем, двойники все разошлись к полуночи, старый Джон закрыл заведение, потому что утомился сильно за день, горожане наши, шумя, вернулись по домам. Я тоже вернулась, надела свой любимый сарафан, короткий и без рукавов вообще и пошла на площадь, посидеть, порадоваться. А может и потанцевать, если

луна будет полной. Луна у нас ведет себя как хочет, так что может и полной оказаться.

На площади, за столиком закрытого кафе сидела моя соседка и плакала. Я не стала спрашивать, что с ней такое, и так ведь все ясно.

* * *

Иногда, раз в неделю примерно, я хожу встречать утренние сумерки. Чаще всего, это просто красиво и спокойно, но, если повезет, если звезды расположатся удачно, если день обещает быть пасмурным и если туман, можно увидеть, как день вчерашний превращается в день сегодняшний.

Это, конечно, совсем не просто. Нужно знать где и когда оказаться, чтобы это увидеть. У нас рядом с городом есть пруд. Маленький совсем и почти заросший. О нем почти никто уже не помнит, поэтому пруд и зарос. От невнимания людского. А когда люди перестают обращать на что-то внимание, на это-то что-то тут же обращает внимание мир. Поэтому все происходит только на этом пруду, нигде больше. А на берегу есть огромный камень, на который нужно забраться и усесться, чтобы все как следует разглядеть. И приходить смотреть на все это нужно только одному, никак иначе. Еще бы хорошо не привлечь к себе внимание мира, потому что он может обидеться и начать совершать всякие чудеса в каком-нибудь другом месте. А его еще найти нужно будет. На это иногда сотня лет уходит. Это-то место я случайно нашла, просто пошла погулять как-то утром, чтобы побыть немного в этих самых сумерках и набрела на пруд. но так ведь очень редко везет.

Так вот, если все-все эти условия выполнить, и усесться на камне поудобнее, то минут за пятнадцать до восхода солнца вчерашний день превратится в сегодняшний. Ниточки, которые удерживают вчерашний мир, сгорают странным серым пламенем, красивее которого во всем свете не найдешь, даже если обойдешь его вокруг три раза и поплюешь через правое плечо. И вчера, которому не на чем больше держаться, тогда падает и потихоньку растворяется между совсем еще небом и совсем уже землей. Если обнаглеть, можно зачерпнуть его ладошкой, пока растворяется, и тогда у тебя на всю жизнь останется немного вчера. Но от этого радости обычно никакой. Вчера в неволе хиреет и тускнеет. Лучше все-таки хранить в памяти, а не в кулаке. Хотя я поначалу жадничала, из каждого увиденного вчера по чуть-чуть зачерпывала и раскладывала дома по скляночкам. Думала,

оставлю себе на старость, начнется склероз, а вчерашние дни тут, как тут, надо только в скляночку смотреть подольше. Но потом я их всех повыпускала на том же пруду. Ведь если у меня склероз начнется, я наверняка не вспомню, что это за скляночки, и что там внутри.

Да, еще иногда перед восходом можно увидеть как совы превращаются в то, чем они не кажутся, а являются, но про это я рассказывать не буду. Я им обещала.

Зимой дни такие короткие, что превращаются один в другой совершенно незаметно. Да и утренние сумерки случаются совсем поздно, когда уже людей везде полно. Так что зимой приходится сидеть дома, красить дощечки на санках и иногда ходить на пруд кататься. Забывая про всякое волшебство. Зимой вообще просто забывать. А жить сложно. Но я тренируюсь.

* * *

У нас в детстве была такая игра "Ничего не держи". Каждый из нашей компании, нас шесть человек было, мог в любой день в любой момент сказать «игра», и мы все тут же бросали все, что в было в руках и ничего не держали. И ни за что не держались. Столько, сколько ведущий скажет. Ведущий, правда, тоже должен был играть с нами. А мы ведь не просто так по улицам ходили, пока игра шла. Мы все время пытались найти что-нибудь такое, сложное-пресложное. Сначала мороженое ели. Это весело было, конечно, но не сложно ни капельки. Продавщица мороженого наша доставала из кармана назначенного казначея деньги за шесть порций, и совала нам в зубы стаканчики с пломбиром. А потом мы его на каком-нибудь столике, громко чавкая, поедали. Умываться, правда, потом приходилось долго. Но это ничего. Потому что единственными исключениями из правила были вода с воздухом. Их все равно не удержишь, как ни старайся.

Потом Ник, наш заводила, начал таскать нас к старому веревочному мосту. Вот это правда поначалу страшно было. И понимаешь, с одной стороны, что ничего с тобой не случится, и не упадешь ты никуда, а с другой стороны, мост ведь раскачивается, и руки сами тянутся к этим истертым канатам. Мост еще мой прадедушка строил, так что висел он на честном слове. Честного слова, правда, вполне хватало. И даже сейчас хватает. И вот ты, чтобы ни за что не ухватиться и не проиграть, суешь руки в карманы поглубже, идешь по мосту и орешь во всю глотку. От страха. И чтобы как-то отвлечься. А обратно уже по обычному мосту, на всякий случай.

Правда, со временем мы и к этому привыкли. Бегали по мосту туда-сюда, даже в салки иногда играли. А Ник сказал, что это уже скучно и что теперь надо попробовать походить по крышам.

Крыши — это штука совсем жуткая, там ни за что не ухватиться вообще практически невозможно. Но мы вот что обнаружили. Если все-таки пойти, даже если крыша наклоняется совсем, и если там внизу поручней не поставили, и если скользко так, что даже босиком съезжаешь куда-то вниз, если сделать три шага вперед, то можно взлететь. Ненадолго, конечно, секунд на десять всего, но зато взлететь совсем по-настоящему. Потом, правда, когда обратно спустишься, точно за что-нибудь ухватишься. И проиграешь. Но это уже неважно было. Потому что мы потом только и делали, что пытались взлететь на подольше. У Ника как-то почти полминуты получилось провисеть над крышей моего дома. Мы обзавидовались. А почему так только у него получилось — не знали. Да и сам он не знал, наверное. Только гордился и нос задирал.

Вот, а потом мы стали постарше. То есть, доросли до такого возраста, когда мосты и крыши — это уже не способ полетать, а место для более-менее романтического свидания с поцелуями под луной. Или без луны. Как сложится.

Но тут получилась вот какая штука. Как только кто-нибудь из нашей компании себе находил что-нибудь любимое, оставшиеся пятеро тут же объявляли игру. На целый день. Дольше нельзя было по правилам. Но ведь и дня вполне хватало. Я ведь помню, каково это было. Когда просыпаешься с мыслями о том, как вам вдвоем вчера было хорошо и как еще сегодня будет, а тут Ник в окно стучится. И бумажку показывает с надписью "Сегодня весь день Игра". И тебе уже хочется послать их всех подальше, и не видеть больше никогда, вернуться в постель, обнять, поцеловать, забыть на фиг про все…но потом вспоминаешь мост и крышу, и то, какое лицо было у Ника, когда он висел в воздухе тогда, и понимаешь, что нельзя, никак нельзя отказаться от игры. Одеваешься тихонько, и выбегаешь на улицу, сколько бы лет тебе ни было — 17 или 27. И идешь есть мороженое. Или кофе пить. Кофе пить без рук я только совсем недавно научилась. А вот ни за что не держаться и ничего не держать, наверное, уже давно. На мосту, может быть. Вот я еще прикуривать научусь как-нибудь, и будет тогда совсем счастье. Ник последний раз сказал, что научился. Но врет, наверное.

* * *

Люди у нас в городе умирают, когда захотят. Да, именно так, захотел человек умереть и через минуту уже лежит и не дышит совсем. Поэтому мы все к жизни относимся очень серьезно. Чтобы, не дай бог, умереть не захотелось. Об этом родители детям еще в самом детстве рассказывают. Чтобы не было всяких мыслей, вроде "а я вот умру, а вы все пожалеете". Потому что судьбе все равно, маленький ты или большой, или просто понарошку умереть хочешь. Судьба у нас в городе считает, что человек имеет право на исполнение желаний. Особенно, таких желаний.

Вот и приходится изо всех сил любить жизнь. Это не то, чтобы совсем просто, конечно же. То и дело какая-нибудь гадость норовит случиться. То несчастная любовь, то какой-нибудь кризис самооценки, то просто депрессия, когда темно, снег идет и впереди еще месяц зимы. Но приходится справляться, потому что как только начинаешь раскисать, тут же колет где-то в районе сердца, такое весьма ощутимое напоминание. Так что все несчастные любви приходится превращать в счастливые, ну или просто в пустяшные эпизоды своей жизни, которых была уже куча и еще такая же куча предвидится. Зато потом, когда возьмешь себя оперативно в руки, можно с объектом любви посидеть в кабаке у старого Джона и посмеяться. Над самими собой. И над тем, что тратим жизнь на такие глупости как кого-то неразделенно любить или не любить. Я так очень часто делаю, как только хотя бы намек на неразделенную любовь замаячит на горизонте. Но это только в последние годы, а раньше приходилось изо всех сил с собой бороться и бросаться за помощью ко всем подряд. Хорошо, что все подряд очень хорошо понимают, чем все это может закончиться, и помогают. Поговорят с тобой, нальют кофе, позволят залезть на яблоню в своем саду и насобирать зеленых еще совсем яблок. Их в кофе хорошо класть, если лето жаркое.

Но потихоньку учишься справляться самостоятельно. Заводишь себе несколько безотказных ритуалов, несколько любимых книг, парочку очень хороших фильмов. И все это в комплекте используешь. Когда любовь несчастная — помогает почти всегда. Вот если кризис самооценки, там сложнее. Но для такого случая у нас в городе специальная профессия существует — хвалитель. Это такой человек, к которому можно прийти, и он тебя похвалит. И всегда найдет за что. Сейчас у нас хвалителем Томас работает. Раньше он был не очень хорошим писателем, и все переживал по этому поводу. Тогда колдуны его назначили хвалителем, и у всех все тут же стало замечательно. Томас каким-то образом умудряется в каждом что-нибудь хорошее углядеть, да

еще и похвалить так, чтобы человек не подумал, что это все по долгу службы. Так что с Томасом нам очень повезло. А он после того, как на эту работу пошел, вообще зацвел и заколосился. Женился тут же, на второй красавице города, первая красавица решила замуж не выходить, детишек наделал. Троих, кажется.

А если зима или дождь зарядит на месяц, как вот недавно, хвалитель, понятное дело, не помогает. Приходится зажигать свечи, представлять себе лето, звать в гости друзей, рассказывать страшные истории по полночи. Когда тебе страшно, тут уже не до мыслей о смерти. Я эти истории каждый вечер придумываю и в специальную тетрадку записываю. На зиму коплю. Или на дождь. И друзья то же самое делают. Мы уже подумываем когда-нибудь это все издать в одной книжке, чтобы каждый мог купить и с зимней хандрой бороться.

Так вот и живем. Лет через пятьдесят, конечно, привыкаешь уже ко всему, это во-первых, да и учишься относиться к жизни немного проще. Точнее говоря, ко всему, что в этой жизни творится. Но, понятное дело, что люди все-таки умирают. Не хватает им чего-то, то ли силы воли, то ли желания жить дальше, то ли им просто скучно становится. Я себе с трудом представляю, как от этой жизни может быть скучно, но говорят, так бывает. А некоторые просто по рассеянности мрут, забудутся на минутку, подумают что-нибудь про смерть, а она уже тут как тут. Вот тот человек, который все на кладбище ходит, на свою могилу, он, скорее всего так и умер. Потому что колдуны, если понимают, что человек не то, чтобы очень сознательно с жизнью расстался, они ему какое-то подобие себя самого оставляют все-таки.

Умирают ли колдуны, не знает никто.

И еще вот что. Из-за того, что мы научились жить столько, сколько сами захотим, колдуны за хорошее поведение нам сделали подарок. Мы проживаем всю жизнь, до самой глубокой старости, а потом выбираем, в каком моменте этой жизни нам до ее самого конца хочется остаться. Кто-то уже лет двести пятилетним ребенком бегает, кто-то все прелести пубертатного периода переживает бесконечно. А вот старый Джон решил, что его вполне устраивает быть старым. Говорит, что хозяин кабака должен выглядеть солидно. Но я думаю, что он просто так много всего за жизнь успел, что решил отдохнуть от этого. Но большинство людей, конечно, где-то в молодости или среднем возрасте остаются. Говорят, если из города уехать, это все кончится. Но пока что никто не проверял.

* * *

В городе не очень любят афишировать свои отношения, если вдруг у кого-то случилась любовь или что-нибудь на нее похожее. Чтобы не натыкаться на сочувственные взгляды. А сочувствуем мы все не потому, что не верим в любовь или что-нибудь на нее похожее, а потому, что каждому жителю города при рождении отмеряется своя порция одиночества. При рождении каждого ребенка присутствует колдун, который выдает родителям конверт. Конверт надо отдать ребенку, когда ему исполнится 16. Все по честному. А в конверте написано, сколько лет одиночества человек должен прожить. Кому-то всего год или два достается, но такое случается очень редко, у остальных счет на десятки лет идет, а то и на сотни. Мы же долго живем, столько, сколько захочется, так что бывает, человеку 211 лет одиночества на роду написано. Точнее, не на роду, а в том самом конверте. Колдуны говорят, что если человек не будет одинок на протяжении всего отмерянного ему срока, он не сможет прожить в этом городе. Потому что, как говорят колдуны, такой человек потеряет легкость. Колдуны, конечно же, всегда правы, и спорить с ними никто не осмеливается, но очень бывает тяжело, если вдруг решишь, что встретил свою судьбу на всю оставшуюся жизнь, а сам точно при этом помнишь, что у тебя еще тридцать лет одиночества не прожиты, и никуда от них не деться, как ни старайся. Все равно, даже если все будет очень хорошо, рано или поздно ты останешься один, и будешь в таком состоянии доживать все, что у тебя в конверте написано. Так вот с соседкой моей получилось, и с ее мужем. Они решили, что можно попытаться обмануть и колдунов, и судьбу заодно, и поженились тихонько, чтобы никто не узнал, и дочка у них родилась. Дочка, кстати говоря, просто замечательная. Но вот жизнь семейная у них не получилась, конечно же. И через год после рождения дочки муж ее просто исчез. Никто не знает, то ли он ушел от нее тихо, и пошел к молчунам, например, то ли и правда не смог прожить в этом городе. Потому что у него там еще порядка сорока лет оставалось, да и у нее двадцать. Но соседка все ждет, что, может быть, лет через 30 он вернется, или позже. А пока что растит дочку и плачет по ночам, потому что не знает еще, что у дочки в конверте написано. И очень боится узнать. А Матиасу, художнику, ему вообще не повезло, у него в конверте просто было написано "всю жизнь". И точка. Он, когда в шестнадцать лет, в разгар какого-то своего бурного романа этот конверт вскрыл, так и обалдел совсем. Но ослушаться не решился, знал, что ничего из этого хорошего не выйдет. Так что он время от времени находит себе каких-то девушек, на пару дней, не больше. Чтобы судьба не успела заметить. И вроде ничего, пока справляется, говорит, что

уже привык, что ему уже, в общем-то, никто и не нужен. И даже с друзьями вполне можно видеться раз в неделю, совсем ненадолго, так, кружку пива выпить. А в одиночестве, говорит он, и рисовать как-то проще и лучше получается. Хотя, конечно, влюбляться без взаимности ему никто не мешает. Потому что человеку нужно вдохновение. А влюбленный без взаимности человек еще более одинок. Это все знают.

А я свой конверт не вскрываю пока. Еще просто повода не было проверить, сколько мне там на самом деле одиночества отмеряно. Я с этим одиночеством пока что вполне неплохо живу. И, может быть, проживу так весь срок, который полагается. А там посмотрим.

Еще говорят, есть такое одиночество, когда тебе все равно, сколько вокруг тебя людей — ты все равно будешь один. Но этому надо учиться, долго. Зато, если научишься, год такого одиночества за два обычных идет. Такие дела.

* * *

Еще у нас в городе есть облака. Много и волшебные, как и все остальное. На облаках у нас всякие девушки гадают, когда приходит им пора влюбиться. И каким-то образом умудряются увидеть там, наверху, не слонов и бегемотов, а суженого-ряженого или даже совсем настоящую свадьбу. Как выглядят эти свадьбы, я так и не поняла, но девушки говорят, что вполне пристойно. Я-то по старинке на кофейной гуще гадаю,

если вдруг повод появляется, как-то мне оно сподручнее. Да и облака переводить на такие глупости — это, как по мне, расточительство непростительное. Нет, им-то можно, конечно, они ведь молодые и влюбленные. А молодым и влюбленным вообще все можно. Хоть свадьбы в облаках видеть, хоть в этих же облаках витать. Им прощается. Я долго пыталась понять, почему так, а колдуны объяснили, что обычный человек только пару раз в жизни перестает быть человеком и становится чем-то вроде бога. И это вот как раз один из таких случаев. Так что пусть, сказали колдуны, у них это все равно быстро заканчивается, сразу после свадьбы, и облака тогда перестают всякую ерунду показывать.

А когда облака перестают показывать всякую ерунду, в них можно разглядеть прошлое, настоящее и будущее. Прошлое лучше всего рассматривать перед закатом, тогда можно увидеть то, что было на самом деле, а не то, что ты себе навспоминал да напридумывал. А будущее обычно показывают перед рассветом, разумеется, когда солнце еще только собирается взойти. И вот в

этом, оранжево-розовом, с помощью которого оно готовится, как раз будущее и показывают. На это, правда, редко кто решается. Потому что облака, как и колдуны, всегда оказываются правы, и того, что ты утром там увидишь, уже никак не изменить.

Ну и днем, сидя на улице или на берегу реки, можно увидеть свое настоящее. Самую его суть. Это очень помогает иногда, если хочешь в себе разобраться. Там, на небе, все очень доходчиво объясняют обычно.

А еще, бывает, облака занимают детишки, и вот тогда по небу плывут слоны, верблюды и драконы, как и полагается.

И выйдешь, бывает, утром, кофе попить, смотришь на небо и пытаешься понять, то ли это девушки опять гадают, то ли детишки балуются, то ли тебе твое настояшее показывают.

* * *

Случилась у нас тут в городе эпидемия странная. Не то в воздухе что-то появилось, не то в воде, не то старый Джон какую-то гадость в вино подмешал. Он у нас шутник знатный. Как бы то ни было, а стали люди в городе выглядеть одинаково со своим настроением. Не то, чтобы там пол у кого-то поменялся или что-то еще кардинальное, это нет. А вот возраст менялся туда-сюда за милую душу. И всякие прочие внешности.

Я как узнала-то об этом, шла себе спокойно по главной улице в дальнее кафе. В дальнее кафе редко кто ходит, за мост и то чаще. Все потому, что в дальнем кафе полагается только печальные мысли думать. И приходить туда надо с печальными мыслями, иначе кафе это и не появится даже. Сначала никто понять не мог, зачем это у нас в городе такое кафе сделали, нам же всем вроде радоваться жизни полагается в любую погоду, а потом каждый хоть раз там да побывал. Уж очень хорошо там думается о печальном. А главное что — выходишь оттуда и настроение уже немного лучше. Потому что, как я думаю, ты там всю свою грусть вместе со счетом оставляешь. А уж куда хозяева кафе ее потом складируют — этого никто не знает. Да и не интересуется особо, потому что тайны у каждого свои.

Хозяев в кафе двое — девушка красивая длинноволосая и ее мама. Мама обычно сидит где-нибудь в уголке, все что-то подсчитывает. А девушка кофе носит. Только не улыбается никогда. Ну это-то как раз понятно.

И вот иду я значит в своих мыслях и вдруг чувствую, что как-то мне не очень хорошо, поясницу вдруг ломить начало, и вообще, состояние здоровья не мое совершенно. А мне навстречу

мальчик идет. «Бабушка» — говорит. "Вам, может помочь чем? До лавочки какой-нибудь отвести?"

— Ты что, — отвечаю я, — совсем с ума сошел, мальчик? Какая я тебе бабушка?

— А какой я тебе мальчик? — обиделся он. — Я уже молодой человек, как минимум. А что-то у вас бабушка лицо такое знакомое?

Я на него смотрю и понимаю, что мне он тоже как-то очень знакомым кажется. Очень сильно на друга моего Матиаса похож. Так у него, из-за его одиночества пожизненного детей вроде быть не должно. Хотя всякое бывает, конечно.

И я его так осторожно спрашиваю

— Матиас, это ты, что ли?

— А что, — отвечает, — непохоже?

Ну тут мы сразу разобрались в чем дело, и на радостях весь день в песочнице играли. А что еще делать оставалось. Не ковылять же мне старушкой с грустными мыслями до того самого кафе.

Эта напасть у нас еще дня четыре была, пока колдуны из отпуска не вернулись и не сделали все как было. Но эти четыре дня жить было как-то уж очень странно. Потому что и друзей своих узнаешь с трудом, и сам то и дело меняешься. Самое страшное было, когда я вдруг в крашеную тетку превратилась. Большую такую и очень злобную. Я до того разозлилась на кого-то сильно, уже не помню за что, вот, видимо, со мной такая штука и произошла. Пришлось тут же идти с человеком мириться, чтобы не оставаться в этом виде надолго. Уж больно я себя теткой неуютно ощущала. Мне все думалось тогда про какие-то покупки, стирки и готовки. Бабушкой и то лучше было. У нее мысли прозрачные совсем. Но чаще всего я все-таки почти собой оставалась или вот, если с Матиасом встречалась, тут же в детство впадала. Это заразное, наверное, потому что он все четыре дня ребенком пробегал и даже расстроился немного, когда колдуны все починили.

— Всю жизнь я таким, конечно, оставаться не хочу, — сказал Матиас. — Но еще недельку, хотя бы, можно.

А я, когда все это закончилось, все-таки решила дойти до дальнего кафе. Но как-то не получалось. Как начну что-нибудь грустное думать, сразу себя старушкой вспоминаю. Мне как-то обидно стало, что я не могу кофе хорошего попить там, где хочется, и пошла я тогда к колдунам поскандалить.

— Что, — говорю, — Опять воспитанием занимаетесь? Как-то уж слишком в лоб на этот раз.

Колдуны в ответ только пробурчали что-то про сбой в

матрице и истинные сущности, и ничего толком не ответили. А я, когда от них уходила, мельком в зеркало глянула, и померещилась мне там тогдашняя тетка. Я испугалась очень, и весь день потом лепила куличики с дочкой соседки. А кофе до сих пор попить не могу. Потому что наглядность страшная штука все-таки.

* * *

Вчера Соня, моя соседка и главная городская модница с вечно несчастной любовью потащила меня в секонд-хэнд. Сказала, что туда возможности привезли. Совершенно свежие и ненадеванные. Секонд-хэнд у нас приличный, поэтому попользованных возможностей привозить не стали — только те, которые люди почему-то не захотели использовать.

В общем, приходим с Сонечкой в этот секонд-хэнд, а там и правда целая куча возможностей. Они даже по отдельным корзинам рассортированы: в одной возможности изменить жизнь, в другой — возможности стать богатым и знаменитым. Этих, правда, как-то совсем мало было, только на дне корзинки. А вот возможностей изменить жизнь сколько угодно. Я в них часа два копалась, искала самые красивые. Чтобы к цвету глаз и к городу подходили.

А Сонечка, конечно, ушла выискивать себе что-то в корзинке с возможностями полюбить и разлюбить. Их почему-то в одну корзину засунули. Нашла себе что-то белое воздушное и начала загадочно улыбаться. Когда Сонечка загадочно улыбается, это значит, скоро в ее жизни появится очередной транзитный принц на белом коне. Они все к Сонечке приезжают, пережидают у нее маленько и дальше по своим делам скачут. А она страдает. И все, в общем-то, довольны.

В этот раз завоз какой-то особенно удачный состоялся, поэтому кроме обычных возможностей еще всякие разные были — возможность увидеть, например. Или понять. Или быть честным с собой. Вот их почему-то особенно много было. Даже несколько возможностей прожить жизнь правильно попалось. Я не удержалась, конечно, похватала себе всяких разных. Одну возможность радоваться жизни, одну возможность называть вещи своими именами (я ее уже давно искала), одну возможность забыть и одну возможность вспомнить (это так, на всякий случай). Сонечка тоже себе целую кучу набрала. Ну, оно и правильно, когда еще приедут и привезут.

А те двое, которые эти возможности привезли, сидят на

подоконнике, курят, на нас любуются и разговаривают тихонько. Не то муж с женой, не то друзья детства — не поймешь.

Я к ним подошла, решила спросить, неужели там где-то, в других городах, от такого количества возможностей отказываются.

— Ну да, — ответила женщина, наливая себе кофе из термоса. — Мы-то ведь не торговцы, на самом деле. У нас работа другая, мы людям возможности даем. Совершенно бесплатно, потому что нам это правильным кажется. И не угадаешь, использует человек эту возможность или откажется от нее. Вот мы излишки сюда и свозим, потому что, по-хорошему если, возможность она для каждого человека своя, уникальная. Так задумывалось, по крайней мере. А вам тут почему-то все подходят. Ну и не выкидывать же. Хорошие возможности. Самые лучшие, наверное.

— Угу, — кивнул мужчина. — Вот от самых лучших обычно и отказываются. Им всем ширпотреб подавай. Возможность взять кредит на три года, возможность в Турцию съездить в отпуск. А такие возможности и давать-то неинтересно.

Я не очень поняла, о чем это он говорит, но покивала сочувственно, вытащила Сонечку из вороха возможностей и повела ее пить вишневый сок.

* * *

Осень в городе никогда не наступает просто так. Сначала все долго готовятся, вытаскивают из кладовок пледы и хандру, вспоминают, как варить глинтвейн и по чем сегодня в магазине специй гвоздика. А осень ждет, у нас она не любит приходить просто так, без всякого приглашения, ей нужно почувствовать себя нужной. И поэтому приходится ждать. Пока все летние романы, которым грош цена в базарный день, будут перепроданы тем, кому они понадобятся через год. Пока всякая любовь захочет закончиться и мужчинам надо будет пить виски, глядя на дождь, а женщинам — пить дождь, глядя на мужчин. Пока наш главный специалист по временам года — вечно средних лет человек по имени Виктор, не выйдет на крыльцо своего дома и не закурит трубку, набитую вишневым табаком. Летом он вишневый не курит никогда, это проверено.

Осень ждет, а мы пока что бегаем и суетимся. Потому что город, как и весь мир вокруг, становится прозрачным и совсем ненастоящим. Еще более ненастоящим, чем обычно. Так, что можно уйти как-нибудь за гвоздикой и не вернуться совсем. Или

вернуться, но уже весной и, конечно же, без всякой гвоздики, а наоборот — с букетом дурацких одуванчиков. Не на салат, а просто так. Мы бегаем и делаем все необходимое, отправляем в последнее плавание последние кораблики, например. На них можно написать желание, но только такое, которое подойдет для осени. Иначе не сбудется, никак. А желания для осени все больше про то, чтобы в голове не оставалось ничего лишнего, не говоря уже про сердце и душу. Ведь надо соответствовать собой прозрачности мира, пока не пойдут первые бесконечные дожди. Люди в кабаке у старого Джона берут в аренду зонтики. Зонтики, как раз те, которые люди забывают везде постоянно, а Джон находит и несет к себе. Чего, говорит, им без дела маяться.

Колдуны говорят, что у них есть где-то специальный рубильник, которым они включают осень, но я думаю, это они все врут. Чтобы их не перестали уважать. Я думаю, что это у осени где-то есть специальный рубильник для отключения колдунов. Потому что все три месяца, пока дни становятся короче, а вечера безнадежнее, от колдунов ничего не зависит. И все об этом знают. Но когда колдуны начинают опять хвастаться своим рубильником, весь город им сочувственно кивает. Потому что осенью колдуны тоже люди. И чего бы им не похвастаться тем, чего у них на самом деле нет. Самое подходящее дело для этого времени года.

* * *

Когда у нашего города еще было название, мы, живущие там, были самыми обычными людьми, в меру трусливыми, в меру счастливыми, в меру желающими каких-то, нам самим непонятных перемен. И именно тогда, где-то между осенними ливнями и первыми заморозками, в городе появились колдуны. Сначала на них никто почти не обращал внимания, все были заняты своими делами и мимо колдунов ходили, снимая шляпы и кивая. Иногда какая-нибудь впечатлительная девушка делала реверанс. Наши колдуны умеют впечатлять девушек, этого у них не отнимешь.

Колдуны жили в городе почти как обычные люди. По утрам ходили в булочную, по вечерам пили вино. Они присматривались, и им в этом совершенно никто не мешал. У жителей города, у нас, тогда вполне хватало проблем. У нас остановились башенные часы, сливки кисли прямо в кофе, и вообще творилось много непонятного и неприятного. Мы же тогда не знали, что если колдуны рядом — оно всегда так. И не потому, что злые они или

желают нехорошего — просто свойство организма.

Через полгода где-то колдуны к нам присмотрелись и собрали жителей на городской площади, сославшись на очень важное дело, которое им нужно обсудить с нами. Мы побросали все свои дела и страдания и столпились на площади. Мы чувствовали, то те самые неформулируемые перемены уже где-то рядом, и мы были согласны платить за это кислыми сливками и стоящими часами. Если мы будем счастливы, решили мы, часы нам все равно не понадобятся, а кофе можно пить черным. В крайнем случае, класть туда побольше сахара.

Колдуны сказали, что они могут сделать из нашего города Н. просто город. Который никак не будет называться, чтобы его не нашел никто лишний. Что этот город будет притягивать к себе чудеса. Что они точно пока не знают, какие именно чудеса нас ждут, но это и не очень важно, ведь чудеса не бывают плохими, это общеизвестно. Что мы, жители этого города, всегда найдем, чем заняться, и нас больше не будут мучить дурацкие проблемы. Все проблемы, сказали колдуны, будут у нас отныне не дурацкими, а очень правильными. А решать правильные проблемы — это ведь совсем другое дело. Вы увидите разницу, сказали колдуны, вы себе пока даже не представляете, насколько велика эта разница. И плата за это очень небольшая — надо всего лишь принести в жертву одного жителя города. Потому что настоящие, чудесные города не появятся, пока не будет пролита кровь. Потому что города не поверят, что это все всерьез. Колдуны сказали, что если есть добровольцы, то пусть они объявятся, тогда проблем будет меньше. Потому что если добровольцев нет, они выберут сами. Потому что они уже все решили, и наш город им вполне подходит для жизни.

Мы тогда разошлись с площади полные всяких тревог и страхов. Нам очень хотелось обещанных чудес, мы не могли дождаться, пока наш город станет настоящим, без названия. Но никто из нас не собирался приносить себя в жертву, потому что все очень хотели посмотреть на новый город и пожить в нем. Потому что чужое счастье — это что-то очень призрачное, а твои надежды — это нечто безумно материальное, можно даже потрогать. Колдуны дали нам на раздумье два дня, и сказали, что они очень рассчитывают на нашу гражданскую сознательность. Еще они сказали, что тот, кто захочет пожертвовать собой, просто умрет, тихо и без всяких ритуалов. А потом появится город.

Два дня мы сидели по домам и испуганно выглядывали из окон, не пойдет ли кто к колдунам. Два дня мы все надеялись, что найдется альтруист, который пожертвует собой. Те, кто курит, курили, прикуривая одну от другой, те, кто пьют, пили, не

просыхая. Все остальные просто боялись. Нам было страшно, как бывает всегда накануне чуда. Нам было страшно, что колдуны выберут кого-то из нас, что добровольца не будет, что все решит слепой жребий. Было страшно, что жребий станет подглядывать и выберет именно тебя. Потому что у тебя сегодня вид непрезентабельный. Или галстук съехал набок. Или из прически выбилась одна прядь и торчит, портя всю картину. Или просто жребий не любит такие лица, так ведь тоже бывает.

Потом наступил вечер последнего данного нам дня. Но все равно, ни одна дверь ни открылась, и на нашей. обычно шумной площади не было ни души. Только колдуны сидели в шезлонагх и беседовали о чем-то. Наверное, о том, какие все-таки трусливые жители в этом городе. А ведь они расчитывали на большее. И на лучшее.

А на утро третьего дня оказалось, что умерли все жители города. Все до единого. Потому что желание жить в городе без названия, зато с чудесами, каким-то, непонятным для нас образом, победило страх. Колдуны поматерились, конечно, но потом, когда город Н уже стал превращаться вгород без названия, воскресили всех обратно. Сказали, что такой жертвой, пусть даже не вечной, будет доволен любой город. И хотя они хмурились неделю, воскрешение — все-таки очень утомительное занятие, я думаю, они были довольны. Если, конечно, не подстроили это все сами. Хотя, подстроили, конечно же. Иногда ведь достаточно просто рассказать.

* * *

Нынче город меня дальше моста не пускает. Да и на мост тоже. Сижу в кофейне за мостом, где несбывшееся, мы с ним хорошо уживаемся вместе. Навсегда там не останешься, иначе тоже не сбудешься, но чашку другую кофе выпить вполне можно. И покурить с ним на пару, поболтать о тех временах когда. "Те времена когда" у нас с несбывшимся почти одинаковые. Там светло, пахнет морем и, кажется, есть какая-то великая любовь. Это больше похоже на сны, чем на воспоминания, но мы не жалуемся. Я говорю несбывшемуся, что все еще будет, понимаю, как глупо это звучит, но все равно говорю.

Приходили колдуны, сказали, что в город мне пока что нельзя. "ты слишком на земле сейчас" грустно сказали колдуны. Да, я слишком на земле, согласилась я. Пока что так, пока что снег не выпал, настоящий. Землю еще видно, и можно быть слишком на ней, запросто. "может, ты так надеешься избежать

отмеренного тебе одиночества?" поинтересовались колдуны. Да нет, ответила я, меня вполне устраивает это одиночество, я же даже конверт не открывала, я не знаю, сколько там еще. Просто так получилось, в какой-то момент понимаешь, что ты слишком над землей и начинаешь потихоньку спускаться. У меня тут не то, чтобы много хорошего, у меня тут межсезонье. Но уже морозно. У меня тут полулюбовь и дружба всякая, та, которая издалека, и та, которая близко, на расстоянии дыхания, примерно. "зачем тебе полулюбовь?" спросили колдуны "тебе ведь от любви плохо". Мне плохо, согласилась я, но как иначе, ведь иначе, если совсем без любви, я никогда не смогу снова оказаться в городе, я не смогу подняться, вы же понимаете. Вы же тоже когда-то были на земле. Колдуны кивнули, они были, они очень хорошо знают. "а в кафе на площади новый сорт кофе теперь" сказали они, как будто просто так, как будто без намека. "Почти как кенийский, но в сто раз лучше". Да, у нас в городе все в сто раз лучше, иначе не бывает. У нас в городе и жизнь сама в сто раз лучше, чем тут на земле. Мне надо еще одно дело сделать, понимаете, сказала я, взглянув на несбывшееся. Понимаете, в поезде на Новый год — это просто необходимо, это то, что должно сбыться. Ведь надо же отделить прошлое от будущего, иначе нет никакого смысла жить в этом городе, где все в сто раз лучше. Колдуны снова кивнули. Вы не бойтесь, сказала я колдунам, я ведь уже умею ни за что не держаться, и ни за кого. Так что я обязательно и непременно вернусь. Как только снег выпадет совсем. Как только мое несбывшееся сбудется. Тогда я смогу выйти из этой кофейни. Но и в нее я еще вернусь. Потому что несбывшегося много, а я одна, но мне нужно иногда помогать ему сбываться. Ему же тут тоже скучно.

Колдуны все поняли, ушли обратно через мост. Я им вслед смотрела, долго. Я знаю, что там меня всегда ждут, что там Матиас, которому не с кем бывает поговорить. Там моя соседка, с дочкой которой можно рисовать солнышки на дверях, когда идет дождь. Там практически все, что у меня есть. Но есть какое-то еще «то», которого у меня никогда не было. И если не попробовать, то есть ли смысл возвращаться? Несбывшееся обняло меня за плечи и налило мне еще одну чашку кофе. До Нового года месяц, надо начать успевать.

* * *

Недавно к нам с Несбывшимся приходил Матиас. Рассказывал, что в городе наступила зима. Колдуны решили

расстараться, непонятно с чего. Единственное условие, которое они поставили — никто не должен отмечать Новый год. По крайней мере так, как это принято в других городах. Матиас, конечно, тут же обрадовался и побежал заснеженные пейзажи рисовать. А то у него белая краска которую уже вечность простаивает практически без дела. А тут такое раздолье. Да и все остальные жители города тут же себе зимних занятий понаходили. Начали с горок кататься и снежные крепости строить. Говорят, в одной, самой красивой, даже поселилась настоящая Снежная королева. Ее никто в глаза не видел, но продавщицы окрестных магазинов говорят, что она иногда приходит за сигаретами и апельсиновым соком. Но, наверное, врут. Снежная королева от сигарет наверняка бы растаяла. Впрочем, кто их знает, королев этих. Матиас, как про королеву услышал, тут же загорелся мыслью написать ее портрет. Ведь говорят, она прекрасна, как все зимы этого мира. Правда, и характер соответствующий. Но Матиас все равно вставал с утра пораньше и караулил ее у магазинов, ждал, пока она снова пойдет за соком. Долго ждал, дня два, наверное. Но так и не увидел. Но все еще не отчаивается, говорит, оставлю ей записку в магазине. Какая же королева от портрета отказывается. Но я-то думаю она здесь у нас просто отдыхает. От своего титула, в том числе. Но Матиас уже почти влюбился. Хотя знает, что ему нельзя. С другой стороны, любовь к Снежной королеве совершенно на одиночество не влияет. Он так думает. Что думает Снежная королева, никто, конечно же, не знает.

Еще Матиас сказал, что все были очень сильно в недоумении по поводу Нового года. И долго расспрашивали колдунов, как же так. Ведь главный зимний праздник. Вроде бы так заведено. Желания загадывать и шампанское пить. Только шампанского у нас в городе днем с огнем не сыщешь. Старый Джон его из своих закромов давным-давно доставать зарекся. Просто был у нас когда-то очередной праздник, все напились шампанского и вдруг превратились в гусар. Самых настоящих, в мундирах. Некоторые, впрочем, превратились в гусарских лошадей. Но дело не в этом. А в том, что гусары, то есть, мы, разнесли тогда полгорода. Кто же знал, что на нас так шампанское подействует. Кто-то даже стреляться норовил, не до смерти правда. Потому что, кому же захочется умирать, если он вдруг гусар, и куража столько, что можно весь город завалить по самый шпиль часовни. И еще немного останется. В качестве гуманитарной помощи посылать, в другие города. В общем, с утра, кое-как приведя заведение в порядок, старый Джон зарекся продавать шампанское. Ну, а мы без шампанского, понятное дело, очень скоро обратно сами в себя

превратились.

Так что с шампанским, конечно, все плохо. Зато елок вокруг пруд-пруди. И жители сказали, мол, ну давайте, хотя бы елочку нарядим. Нам же интересно узнать, что это вообще такое, Новый год этот ваш. Мы ж его только на картинках видели, да и картинки были не очень хорошего качества, мало что разберешь. Но колдуны вдруг совсем суровыми сделались, и сказали, что нет, нельзя ни в коем случае. Понимаете, сказали колдуны, если люди отмечают Новый год, так, как по всей земле принято, у них все их чудеса только в одном дне в году собираются. В этом самом 31 м декабря. А поскольку чудес много, а день один и не очень большой, все они там просто не помещаются. И тогда чудеса начинают потихоньку исчезать. И остается их ровно столько, сколько в этот день уместится. Совсем немного, то есть. А если честно, то очень даже мало. Колдуны сказали, что город наш не сможет существовать, если чудес будет мало, он ведь только ими и живет. Так что, дорогие жители, заявили колдуны на прощание, не будет вам никакого Нового года. А будет просто зима, не очень длинная, не очень холодная, но совершенно при этом прекрасная. Вполне себе повод радоваться жизни. Жители подумали-подумали да и плюнули на Новый год. Матиас сказал, прямо всем городом взяли и плюнули. А на этом месте потом каток сделали. И катаются теперь. На ботинках, конечно же, коньков-то у нас отродясь не бывало. Но колдуны сказали, если будем этой зимой себя хорошо вести, в следующую зиму дадут нам коньки. И может даже полмира впридачу. Хотя, зачем нам.

А когда Матиас уходил, Несбышееся ему что-то на ухо шепнуло. Видимо, где и когда искать Снежную королеву. Вот и хорошо, может, он таки напишет этот свой портрет. Если она, конечно, и вправду такая красивая. А даже если нет, думаю, Матиасу не очень это помешает. Все-таки он ее два дня ждал, а это много на что влияет.

* * *

В городе, говорят, сейчас хорошо. Придумали какой-то новый глинтвейн и теперь всем городом пьют его по вечерам на площади. Даже столики обратно на улицы поставили. Потому что с таким глинтвейном можно сидеть в любой холод, и будет казаться, что сейчас середина апреля. Говорят, что рецепт этого глинтвейна принесли молчуны. Как обычно, ни слова ни сказав. Оставили Джону и ушли обратно в свой квартал. Но вроде улыбнулись на прощание. А это хороший признак. Значит, все

идет правильно. Я все чаще стою у моста и смотрю на ту сторону. Потому что наступило дурацкое время воспоминаний. Конец декабря, иначе не получается. У нас в городе так заведено — если декабрь, значит, пришло время вспоминать.

Колдуны говорят, что, если воспоминания у человека легкие, он сможет спокойно жить дальше. Только у нас не получалось поначалу. Воспоминания были приятными, но почти что осязаемыми, и постоянно хотелось вернуться и что-то, может быть, сказать по-другому. Или просто пережить еще раз какие-то моменты. Колдуны говорят, что чем дальше от тебя событие, тем больше оно хочет вернуться. А если хочет вернуться, сделает все, чтобы показаться тебе белым и пушистым. Тогда ты пригласишь его в свою жизнь. Только никому, кроме воспоминаний, от этого легче не будет. Воспоминания — существа не очень умные, и не понимают, что им нужно находиться в прошлом, и только там. Им там почему-то неуютно. Но если они возвращаются, неуютно становится людям. Говорят, это называется ностальгией. Или, может, еще как. У меня с теорией всегда было не очень хорошо. А вслед за воспоминаниями может вернуться и само прошлое, и это будет уже совсем неправильно.

У нас, когда все только начали вспоминать хорошее, несколько человек так и сгинули, там, в прошлом. Вроде бы жив человек, но ходит с пустыми глазами, и только горестно иногда вздыхает. Это потому что внутри него сидит прошлое и нашептывает, как раньше все было хорошо. И как теперь стало хуже. Хотя не хуже. Но если человеку такие глупости слишком долго шептать, он может согласиться уйти вместе с прошлым. И тогда его тут, в сейчас, не становится совсем.

И вот ведь что странно, те, кто постарше, они почему-то остались. Исчезли те, кто только начал всякую интересную жизнь проживать. Говорили что-то про яркость чувств и полноту эмоций. Как про фотографии. А потом исчезли. Кого-то позапрошлогодняя любовь достала, кого-то весна четыре года назад, когда было половодье, и пришлось три дня жить на крышах. Вот тогда, говорили, было весело, не то, что сейчас, размеренная жизнь и праздники раз в неделю. В общем, исчезли они все. Колдуны сказали, ничего с этим не поделаешь, человек сам выбирает, что ему нужно — много разных жизней или одна, но многократно повторенная. Остальные жители на это все посмотрели, и тут же стали учиться вспоминать правильно. Тут главное, знать, что все хорошее от тех времен, оно еще где-то в тебе, глубоко очень, но есть. И надо только поискать какследует. Если найдешь, то что бы тебе ни вспоминалось, будешь только улыбаться. Но не с ностальгией. А вот тем самым, которое еще в

тебе. Потому что если улыбнешься вдруг грустно, воспоминания тут же обратно побегут, за тобой. Мы долго учились, это же так сразу не поймешь. И как бы хорошо ни было, все равно, бывает, уйдешь в дальнее кафе грустить по временам, когда. Но как-то справились, выпили все запасы джина, почти все запасы кофе, но справились. Три наших тетушки так вообще кошками обернулись. Говорят, кошки не умеют жалеть о прошедшем. Поэтому у них, кстати, девять жизней.

А я стою у моста и что-то себе вспоминаю. Про много-много весен, когда высыхают тротуары и на улицы выносят столы и зонтики. Про осень, когда бывает просто необходимо безнадежно влюбиться и жечь в камине дурацкие стихи. Про лето, когда все обычно так прекрасно, что каждое воспоминание превращается в бабочку. Или в стрекозу. Вспоминаю и думаю, что надо бы улыбнуться. Потому что было хорошо. По-настоящему. Но не улыбаюсь, разворачиваюсь и ухожу курить в тепло. Потому что я сейчас не знаю, какой будет эта улыбка. А рисковать не хочется.

* * *

Дороги, которые ведут из города, никогда не приводят в другие города. Никто не знает, почему так получилось. Может, в другие города нам просто нельзя. Развоплотимся или еще какая гадость случится. Зато дороги, ведущие из города, всегда приведут человека к его судьбе. Или судьбам. Тут уж как повезет.

А после того, как человек поговорит со своей судьбой, он может оказаться где угодно — и в другом городе, и в другом мире. А может оказаться у себя дома, в кресле, допустим. И это не значит, что все так уж плохо, просто судьба такая. Судьбы всем, конечно, разными представляются — кто-то прекрасных женщин видит, кто-то старух со зловещим взором. Моя подружка Сонечка увидела какого-то совсем уж прекрасного принца на белом коне. Не знаю, то ли правда у нее судьба такая, то ли просто решили ей приятное сделать. Сонечка сказала, что теперь ей даже страдать будет как-то легче, раз уж у нее судьба такая. И всегда где-то рядом. Говорит, он ее даже поцеловал на прощание, но вот не знаю, врет или нет. Кто его разберет, чем они, судьбой поцелованные, от нас отличаются.

С судьбой, кстати, не обязательно на всякие торжественные темы разговаривать. Даже, пожалуй, лучше на такие темы не разговаривать. Судьбы от всей этой торжественности очень устали. Им ведь каждый день с этим жить приходится. И сознавать, что каждый их поступок на жизни подопечных влияет.

Да не просто влияет, а может перевернуть эту самую жизнь к чертовой матери. Поэтому у них, у судеб, на лице (если есть лицо, конечно) вечно читается огромная ответственность. Так что если говорить с ними, то обо всяких глупостях, все равно судьбу не изменишь, только если на другую сменяешь в базарный день, а поболтать они любят. Но есть один секрет, мне его моя судьба открыла. Точнее, не совсем моя, какая-то приблудная, со своей судьбой мне поговорить не удается. Вроде иду по дороге, вроде никуда не сворачиваю, а все равно впереди то пень, то болото, то камень с надписью. Мол, налево пойдешь, будешь спокойно дальше жить, направо пойдешь, тоже будешь жить, но уже не очень спокойно, а вот если прямо пойдешь, фиг знает, что с тобой вообще случится. Ну, да, я как раз прямо и пошла.

Мне тогда показалось, что у меня в жизни застой с кризисом образовались, и надо что-то срочно изменить. И пошла прямо. А там, как ни странно, судьба. Но не моя, совершенно точно. Сидит себе посреди леса, костер жжет, кофе в котелке варит. И говорит, присаживайся, мол, рядом, разговаривать станем. Потому что я ни с кем уже лет сто не говорила. И кофе мне налила. Она, судьба эта, странная какая-то была. Потому что, то мужчина, то женщина, а то просто марево страшное, от которого мурашки внутри бегать начинают. Если бы мне так не хотелось жизнь поменять, я бы оттуда убежала. А так присела рядом, угостила судьбу самокруткой. Она даже ненадолго совсем человеком стала, чтобы покурить нормально. И кофе попить. Поговорили мы с судьбой о разных глупостях — о последних городских новостях и о погоде. А потом она огляделась по сторонам и сказала — Я тебе сейчас тайну открою, страшную. Тебе с ней тяжело жить будет. Но раз уж выбрала эту дорогу, значит, нужно тебе ее знать. Значит, жить тебе с ней придется. Дело в том, что вы люди, тоже вполне себе судьбы, для нас. А вы живете себе благостно, не думая о том, что творите. Потому что судьба есть, потому что не уйдешь от нее. А на самом деле, всякий ваш поступок на наши жизни тоже влияет. Вы что думаете, у судеб своих жизней нет, одни только заботы о том, чтобы вы, дураки, по правильным дорогам ходили? Ничего подобного. У нас тоже жизнь, любовь и смерть, все как полагается. И если ты по дурости какой-нибудь шанс не используешь, и у судьбы в жизни этого шанса больше не будет. Или, допустим, решишь ты не ходить сегодня никуда, просто посидеть дома и посмотреть в окно. А у твоей судьбы как раз какое-нибудь свидание ответственное запланировано. Но ей приходится сидеть дома, потому что ты там тоже сидишь. Ты думала, наверное, что мы, судьбы, все это из чистого альтруизма делаем, или потому что призвание у нас такое? Так вот, ничего

подобного. Просто мы стараемся свое существование сносным сделать. А для этого вас приходится то и дело направлять, куда надо. А вы еще и сопротивляетесь. Так вот. Так что ты думай теперь хорошенько, что делаешь. Может, хоть одной твоей судьбе жить проще станет.

— Одной? А у меня их несколько, что ли? — спросила я.

— У тебя их бесконечно много, — ответила судьба. — Поэтому тебе с ними и не встретиться никак. Зато ты каждый раз, когда идешь по этой дороге, выбираешь себе новую судьбу. И это хорошо. Потому что если ты теперь думать начнешь, они все счастливее будут. Может, поэтому тебя ко мне и прислали.

Потом судьба разлила остатки кофе из котелка и мы с ней сидели, смотрели на закат. А когда кофе закончился, оказалось, что я уже дома, и кот вопит, потому что некормленный три дня. Оказывается, мы с судьбой как-то очень долго кофе пили.

Так что, живу я теперь с этим секретом, поэтому, то и дело думаю, правильно ли поступаю. Наверное, скоро у меня тоже на лице огромная ответственность вырастет. Зато мои судьбы смогут ходить на танцы, свидания и даже, может быть, в кино.

Линк

1

Ссылка, если даже добровольно в нее наступить — занятие самой высшей степени поганости. Ни тебе свободы воли, ни в родные края слезоточивых визитов. Одна свобода слова и остается. Да и слово это все больше матерное.

Туда (в ссылку) направили мы себя почти что сами, с одной лишь целью, не принимать участие в Войне Трех Судеб, которая вздумала зачем-то разыграться в родном нашем Ксю-Дзи-Тсу. Еще когда этот мир только задумывался, я, просматривая ТЗ для младших демиургов, говорила, что в городе с таким названием ничего путного случиться не может. Но Киол только поржал похабно и тут же внес в ТЗ еще и город Ксар-Сохум. По иронии судьбы (Первой), оба стали столицами. В Ксар-Сохуме, восточной столице, мы свою ссылку и отбывали.

Мир у нас маленький. Всего десять городов. Зато столицы целых две. А у одной из них — три судьбы. Все потому, что населяют этот мир сплошь и рядом божества. Развоплощенные и не слишком. Те, которые не пригодились в родном своем мире.

Я вот, к примеру, божество кофеен, со всеми прилагающимися атрибутами: пепельницами, сигаретным дымом и разговорами ни о чем. В Ксю-Дзи-Тсу моими стараниями возникла целая сеть кофеен, где-то, когда-то закрывшихся, или просто испортившихся так, что туда перестали заглядывать завсегдатаи — одним словом, канувших в Небытие. Это мир наш так называется: Небытие. Все, что каким-то образом пропадает из других миров, попадает к нам. И не все из этого приятностью отличается. Вот липший мой кореш Терикаси, тот вообще божество истерик. Кто и зачем его выдумал, мне неведомо. Однако вот, живет, и все истерики, с кем-либо случившиеся и свое за давностью лет отжившие, теперь бродят у нас по улицам и пугают прохожих. Терикаси их строит время от времени, но истерик много, а он один, да и сам к ним неровно дышит. Бардак получается, одним словом.

Впрочем, сперва о судьбах. Поначалу, когда Киол — божество несбывшихся миров, все это выдумывал, судьба у нас в мире была только одна. Самая обычная. Которая к какой-то цели ведет и сворачивать по пути не велит. Но потом появилась Вторая судьба. Та, которая ни с того ни с сего роняет на головы кирпичи и уводит из-под носа автобусы. Она особо не бузила, вела себя тихо

и выступала только в положенные сроки, когда Первая ей разрешала. Но пару месяцев назад кто-то выдумал третью судьбу — судьбу сослагательных наклонений. Так ее сам автор назвал. Это все то, что могло бы произойти с человеком, если бы он, скажем, успел на уехавший автобус. Или если бы домой пошел не как обычно, а по другой какой-нибудь дороге.

Третья судьба обладала крайне вздорным характером и порядки свои насильственным путем устанавливала. Первая со Второй, разумеется, не выдержали. Тоже вовсю разошлись.

С тех пор жить в Ксю-Дзи-Тсу стало просто невозможно. Идешь, к примеру, по улице, прямо. Тут на тебя с чистого неба кирпич летит, под ногами люк канализационный открытый появляется, да и сам ты вдруг не только по этой дороге идти начинаешь, но и еще по парочке других, которые тебе, может, и не нужны совсем. Мы помаялись-помаялись, а потом Киол всеобщую мобилизацию объявил и всех на борьбу с судьбами отправил.

Только вот я божество мирное. Занятие мое требует душевного спокойствия, иначе таких кофеен сюда притащу — ужас чистый. А у нас и без меня проблем хватает. Вон с судьбами, хотя бы.

Об этом я Киолу и заявила: не могу, мол, ничего делать, когда меня каждый фонарный столб норовит по голове ударить, да еще и в трех реальностях одновременно. И ловить никого не стану, ловец из меня хреновый потому что. Тут Лянхаб, подружка моя, божество матерных слов (да-да, и такое у нас имеется), начала нецензурно рассказывать, что ей тоже надоело, что у нее за последние три дня пять раз отняли сумку, при этом она находилась одновременно дома, в автобусе и почему-то в городе Урюпинске, который вообще не в этом мире расположен. Да еще и с грудным ребенком на руках.

Киол зажал уши (с божеством матерных слов мало кто в состоянии долго общаться) и сказал, что мы можем отправляться к чертовой матери, в ссылку. Потому как за дезертирство наше он нас обратно, в родной Ксю-Дзи-Тсу не пустит. По крайней мере, пока ситуация не устаканится, и потом еще три вечности, начиная с четверга.

Желания пожить в Ксар-Сохуме у меня не было никогда, но и вариантов не осталось. Мы с Лянхаб собрали, что было: я — салфетки с пепельницами, чтобы квалификации не терять и парочку кофеен в Ксар-Сохум притащить, она — злополучную сумку, которую, к счастью, в одной из реальностей просто забыла дома, и осторожненько поехали на вокзал. За транспортные пути у нас отвечает Олеогоб — божество ночных путешествий, поэтому

поезда ходят только ночью, зато и добираются до любого города часа три, как раз, чтобы поговорить обо всем успеть, да пару чашек чего-нибудь выпить.

2

До вокзала добрались почти без проблем, поймали частника. Частник у нас один на весь город, зато вездесущий. Потому как бог частного извоза. Казалось бы, что нам, божествам, могли бы и по воздуху долететь, хоть до вокзала, хоть до самого Ксар-Сохума. Может, мы и смогли бы, но на Киола в период сотворения мира ностальгия обрушилась, и между городами он летать запретил. Да и Олеогобу надо чем-то заниматься. А мы существа понимающие. Вот Лянхаб из любви к Терикаси время от времени истерики закатывает. Только слушать их очень тяжело.

А уж по Кзю-Дзи-Тсу в военное время летать — так лучше уж сразу признать себя мертвым богом и отправиться прямиком в Галлавал — остатки вечности пропивать. А не хочется. Очень уж город неприятный.

Поезд наш в 00:09 уходил, как и все остальные поезда, впрочем. Очень уж это время нашему Олеогобчику чем-то приглянулось. Мы уселись на нижних полках (других просто не было), попросили две кружки свежесваренной темной Крушовицы и стали думать, как дальше жизнь свою выстраивать. Лянхаб говорит, пивом побулькивая:

— Жилищем нужно обрасти, тудыть. Дела великие вершить, опять же, сюдыть. Киол, чтоб его перевернуло, наши великие дела увидит и тут же нас простит.

Лянхаб, когда не на работе, вполне умеет цензурно мысли выражать. Хотя трудно ей. Я задумчиво гляжу в окно, за которым огоньки мигают, и возражаю:

— У Киола все великое им же самим монополизировано еще в том столетии. А выпендриваться будем, так разве что от Юплидзи получим того, чем он, собственно, заведует. Я считаю, тут главное устроиться покомфортнее и вечность коротать уютно. Да и поработать можно. В одном, Лянхабная моя, ты права. Квартирный вопрос в любом мире самым первым появляется.

— Да, — отвечает Лянхаб, — Но у меня знакомые есть в Ксар-Сохуме. Может, етить, помогут чем.

И начинает вытряхивать все из сумки. А сумка, надо заметить, у Лянхаб волшебная, Киол на день рождения подарил. В ней можно найти все что угодно, только не то, что нужно. Тем временем и третья Крушовица закончилась, и вокзал Ксар-Сохумский где-то на горизонте появился. А Лянхаб уже с головой

в сумку залезла и матом оттуда приглушенно ругается. Это у нее реакция на стрессы такая, рабочий режим включается.

— Вылазь, — говорю я ей, — подъезжаем. Все равно в этой сумке ты сейчас не найдешь ничего. Проверено ведь. Лучше имена вспоминай.

— Да епть, — отвечает Лянхаб. — Чего их вспоминать-то. И замолкает минут на пять. — А, вот, не помню, — говорит потом. — И понятия не имею, как их, тудыть, там найти.

Поезд тем временем к перрону подошел, притормозил незаметно и, наконец, вообще остановился. Олеогоб в форме начальника поезда подмигнул хитро, когда мы на платформу выскакивали. Считается, что это примета хорошая. В первую очередь, самим Олеогобом считается. А он ошибается редко.

И вот шагаем мы с Лянхаб по платформе, курим нервно. Город незнакомый потому что. И мрачный. Небо над головой висит свинцовое, прохладно за макушку цепляется время от времени. И вдруг навстречу нам идет кто-то неимоверно прекрасный. Прекрасный — потому что улыбается и на нас смотрит.

— О, — говорит Лянхаб, — да это ж Геп. И начинает ему на шею бросаться. А он улыбается по-прежнему и одной рукой подружку мою держит, чтобы не случилось чего. Лянхаб ловкая, об этом все с первой встречи знают, и потом уже всегда придерживают. На всякий случай.

— Да, я Геп Туберр — божество встречающих и прибывающих. Вот, при исполнении, скажем так, — говорит он мне и протягивает руку, ту, которой не держит Лянхаб. Я руку жму, говорю:

— Очень приятно, меня Каф зовут.

Тут он узелок с салфетками и пепельницами у меня из рук выхватывает и шагает с ними куда-то целеустремленно, за ним Лянхаб вприпрыжку несется.

— Давай, — кричит, — перетудыть, Гепочка, помогу!

Я мгновение смотрю на это ошалело, а потом за ними бегу. Куда же я в Ксар-Сохуме без салфеток, Лянхаб и нового знакомого Гепочки.

3

Геп Туберр к выходу с вокзала подбежал, потом остановился задумчиво и говорит:

— Есть у меня ощущение, что вас надо кофе напоить по приезде, вот только кофеен у нас в городе нету.

— Ну это-то не проблема, — говорю я.

Тут же в другой мир переношусь, нахожу кофейню, где глупый бариста пытается в гляссе полкило шоколада одним куском запихнуть (я такие вещи чувствую — практика), копаюсь в головах посетительских, нахожу самые приятные воспоминания об этой кофейне, собираю их в один клубочек — и обратно.

Геп Туберр с Лянхаб говорят о чем-то, на меня внимания не обращают. И хорошо, не люблю, когда на работу мою смотрят. Могут желаниями своими испортить все.

Я клубочек разматываю, нитку воспоминаний между двух столбов натягиваю, на нее салфетку вешаю. Потом закуриваю и дым туда же выдыхаю. И вырастает из ниоткуда кофеенка, небольшая, уютная, с курящим залом, маленькими черными пепельницами и правильными бариста. Геп с Лянхаб оборачиваются, Лянхаб улыбается радостно, Геп подозрительно на кофейню косится.

— И что, она теперь тут всегда будет, или только пока мы кофе не попьем?

— А как захочу, — отвечаю. — Может быть, всегда. А если сильно понравится, с собой заберу, рядом с домом поставлю.

И тут мы с Лянхаб мрачнеем синхронно, потому как кофе — это хорошо, но жить в кофейне неудобно. Заходим туда, забиваемся за столик в углу и начинаем думу думать, пока Геп Туберр нам черный лесной берет.

— Да, — говорит Лянхаб, — надо, етить-колотить, с Гепочкой поговорить. Может, он что посоветует. Хотя, тудыть, он ведь только встречает, и живет на вокзале, наверное. От поезда до поезда.

— Все равно поговорить надо. Или хотя бы еще раз бумажки в сумке поищи. Может, сейчас найдутся.

Лянхаб опять в поиски с головой уходит, а я про себя Киола предпоследними словами вспоминаю, вместе с подарочками его. Недавно он мне неразменный блок сигарет подарил. Там всегда одна пачка остается. Только никогда не знаешь, какая. Бывает, оттуда «Ротманс» вываливается, а бывает — «Беломор», или сигареты «Друг». Есть у меня подозрение, что сорт сигарет от настроения Киола зависит. А он в последнее время рефлексии и депрессии подвержен, вот и коплю дома пачки Беломорканала. Недавно даже «Прима» появилась, это Киол, наверное, опять с Врестой ненаглядной своей поссорился. И знает же — ничего хорошего от божества стервозности не дождешься, но все равно любит и ссорится.

Пока мы обе своим занимались, Геп нам кофе принес. А себе какао. Я смотрю на него изумленно: кто же в кофейнях какао пьет? Но молчу: уж больно лучезарно улыбается. Даже возникает

желание очки темные надеть.

Лянхаб, мрачная как сам Ксар-Сохум, закрывает сумку и утыкается в чашку с кофе. Потом говорит смущенно, умеет она это:

— Гепочка, тудыть, а ты нам жилище тут найти не поможешь, вечности так на три-четыре?

— Нет, — говорит Геп Туберр, продолжая улыбаться, — не помогу. Я ведь божество приезжающих и встречающих. А божества живущих и ищущих жилье — это совсем другие сущности. Я сейчас вообще какао допью и исчезну, дела потому что.

Я давлюсь кофе, Лянхаб вообще какой-то странный квакающий звук издает, и обе мы смотрим на Геп Туберра с таким изумлением и тоской, что он даже лучезарность свою выключает временно:

— Простите, это действительно вне моей компетенции. Правда, могу вас к другу своему отправить. Поживете у него пока. А там уже разберетесь.

И пишет нам на бумажке что-то. У меня в голове мысль начинает бродить, и нашептывает в ухо изнутри, что фонарный столб — не худший вариант, если задуматься. Да и Урюпинск — не Ксар-Сохум. Я мысль пинками в глубь сознания загоняю и на Геп Туберра смотрю. А он Лянхаб бумажку протягивает и в воздухе растворяется. Хорошо, хоть улыбки своей по традиции чеширской нам не оставил. И без нее тошно.

Лянхаб на меня глазами квадратными смотрит, я — на нее. Потом мы вдвоем глядим на бумажку.

А там почерком красивым две строчки:

Касавь,

улица Иилян, 2

— Может еще кофе попьем? — спрашиваю я, пытаясь лицу радостное выражение вернуть.

— Да… не помешает, — отвечает Лянхаб, изо всех сил стараясь не перейти в рабочий режим, по глазам судя.

Я кофе приношу, сажусь, пачку сигарет к себе тяну и вижу, что на столе пепельницы больше нет.

— Лянхаб, — спрашиваю. — А где пепельница?

— Тут, — говорит она, улыбаясь, и на сумку косится.

— Нельзя в день появления пепельницы из кофейни воровать, — очень медленно говорю я, стараясь не перейти в ее рабочий режим. — Примета плохая.

— Зато пепельница хорошая.

4

Гуляем мы с Лянхаб по Ксар-Сохуму. Прохожих останавливаем, пытаемся про улицу Иилян у них выспросить. Они только плечами жмут недоуменно и в разные стороны света посылают. Уже и поесть раза три успели и городом налюбоваться до изжоги. Красивый он, но мрачный. В Ксю-Дзи-Тсу солнце всегда светит, домики маленькие, одноэтажные, по ночам фонари горят зеленые, деревья растут, гремлины по улицам бегают, хоть и не существует их. А здесь сплошь и рядом ранняя готика, все темное, высокое, в небо стремится. Кафешки, наоборот, в подвалы запрятаны, пять минут будешь по лестнице спускаться, прежде, чем поешь. А небо над этим всем висит, и время от времени тучами вниз падает, к самой земле. Охотится, наверное.

Лянхаб рассказывает, как она сюда первый раз ездила, лет сто назад:

— Ну да, я тогда с Гепой познакомилась, мать его так. У него как раз смена заканчивалась, он меня встретил, а я его потащила пить вино из фонтана Истины. А, итить, ты же не знаешь, это фонтан самый достопримечательный в Ксар-Сохуме, из него вино круглосуточно льется, красное сухое. Кстати, надо будет спросить, если уж не можем улицу эту злосчастную найти, едрена вошь, так хоть вина попьем.

Я головой киваю, а сама по сторонам смотрю. Прохожие тут такие же, как и сам город — красивые, но далекие очень. Хотя и смотрят, вроде, с интересом, и злобы на лицах нет.

— Вот, а потом сам Гепа, тудыть, как третий ковшик залпом выпил, потащил меня по всем своим знакомым и друзьям. Ночью все у кого-то собрались, едрен. Кто-то ящик вермута белого притащил, а дальше я, мать, вообще ничего не помню. Я со всеми с утра по новой знакомилась. Но вот Гепу помню. И еще, как же его, вот ведь, мы же с ним пять раз на брудершафт пили…

— А ты зачем вообще сюда ездила? — спрашиваю я, поеживаясь под очередным заинтересованным взглядом. Все-таки очень они странные тут, словно бы и не прохожие, а мороки какие-то. Может быть, тут где-то божество мороков живет, вон в том, например, доме, с круглым окном под крышей?..

— Да в себя приходила. Ну, после того, как мы с Киолом поссорились…

Конечно, конечно. А с Киолом они после того поссорились, как с горя три дня витрины били и подопечных Терикасинских по улицам гоняли. Разумеется, погром этот случился в связи с трагедиями личными и непереносимыми. Иногда я подозреваю, что мои друзья состоят в тайной какой-нибудь секте мазохистов. Один выбрал самое стервозное существо в мире и начал его обожать безмерно, вторая умудрилась целую вечность с богом

цинизма под одной крышей прообитать. У нас с Киолом этот бог — Кицни — вызывал только одно желание: подарить ему на Новый Год красивый подарок в обертке с красной ленточкой, большой воздушный шарик и плюшевого бегемота. Просто чтобы посмотреть, как по-дурацки он будет со всем этим выглядеть.

Впрочем, однажды мы так и поступили.

— А, ну да, — говорю я Лянхаб. — Помню.

А сама смотрю по сторонам, и становится мне жутко. Потому как забрели мы в очень странное место. Набережная из темного гранита. Внизу река течет, широкая, черная, за рекой не видно ничего, тьма сплошная. Синяя. И никого. Только ветер. Лянхаб тоже отвлеклась от воспоминаний и теперь на меня испуганно смотрит.

— Это где это мы? — спрашивает.

— Мне-то откуда знать, я тут в жизни не была.

— Я тоже. Мне такого прошлый раз не попадалось.

И тут прямо перед нами из воздуха фигура появляется. Очертания приобретает. И становится в итоге вполне антропоморфным существом. Высоким, худым, с темным лицом. По лицу беспрестанно рябь бежит, так что и не различишь его толком.

— Я, — говорит существо, — Нвае, — божество Реки.

— А я Лянхаб, божество матерных слов, — заявляет моя подружка. — Сможешь в этом убедиться, если не объяснишь, какого мы тут делаем!

— А как река называется? — встреваю я.

Мне когда страшно, я всегда вопросы глупые задаю.

— Река называется Река, — терпеливо говорит Нвае. — А вы здесь потому, что решили жить в Ксар-Сохуме. И если окончательно решили, вам придется выпить по кружке речной воды. Иначе город вас не примет. Ксар-Сохум живой, и чтобы он вас принял, надо выпить его крови. Иначе вы тут жить не сможете. Вы вот никак улицу Иилян не найдете, верно? Это потому, что вы только город гостей пока видите. Для тех, кто приезжает. Он ненастоящий. Морок.

— Как — морок? — опять перебивает Лянхаб. — Что, и вино в Фонтане Истины морок?

Тут у Нвае какое-то подобие улыбки на лице заколыхалось.

— Вино настоящее, но это одно из немногих исключений. Так вот, для тех, кто тут живет, город совсем другой. И если вы воды из Реки выпьете, то второй город увидите. А уж понравится вам тут жить, или нет, сбежите через неделю, или останетесь — вопрос второй. Это от того зависит, полюбит вас Ксар-Сохум, или не полюбит.

Мы с Лянхаб задумались, переглянулись и одновременно руки вперед протянули.

5

И тут у нас с ней в руках кружки оказываются. Большие, глиняные. А в них темная жидкость плещется. Лянхаб, как самая смелая, делает первый глоток. Морщится, но ничего, вроде живая пока. И допивает до дна, мило Нвае улыбаясь между глотками.

Я тоже из кружки отхлебываю. И тоже морщусь. Потому что в кружках на самом деле что-то вроде вишневого сока. Но как будто в него жженый сахар добавили. И песка от души насыпали. Правда, мне по долгу службы и не такое пробовать приходилось. Поэтому пью. Делаю последний глоток, и тут чудеса твориться начинают.

Тьма, которая за рекой была, исчезает, и перед нами город появляется. Другой совсем, не тот, по которому мы с Лянхаб полдня ходили. Обычный. Тоже, конечно, пасмурный, но вполне живой и обитаемый. И Нвае более-менее очеловечился. Уже не колышется лицом, улыбается вполне искренне.

— Замечательно, — говорит. — Улица Иилян там, за мостом, и направо. Спросите, если что. И Касавику привет, давненько я с ним не виделся. Захотите жилье найти, обратитесь к Генсоватт. Богиня наша, которая недвижимостью занимается. Она, правда, со странностями. Так что будьте повнимательнее. Ну, удачи. Еще свидимся.

И исчез.

— А вот как ты думаешь, Каф, если фонтан не только для гостей, тудыть, мы его теперь найти сможем? — спрашивает Лянхаб, как будто и не случилось ничего.

— Да, наверное. Только давай не прямо сейчас. Давай все-таки сначала Касавя найдем. А потом с кем-нибудь из местных фонтан поищем. Что-то мне не хочется пока в одиночку по городу этому ходить. Неуютно.

— Ну ладно, — соглашается Лянхаб. — Тогда пошли. Мост — вон он.

И правда, через реку мост. Красивый, каменный.

Идем по мосту, смотрим во все четыре глаза, город изучаем. Настоящий. А настоящий он настолько, что вспоминается мне другой мир — тот, откуда я кофейни таскаю. Дома как на подбор грязно-желтые, готика средней полосы России, трамваи длинные, как гусеницы.

— Интересно, — задумчиво говорит Лянхаб — А Ксар-Сохум такой с самого начала был, по Киоловому замыслу?

— Это вряд ли, — отвечаю. — Киол до того как божеством стать, издателем был. У него только с чужим воображением хорошо, а со своим проблемы. Может быть, то, что мы сейчас видим, действительно он сам придумал. А тот, второй город, гостевой, это уже сам Ксар-Сохум наворотил. Вот почему он ожил — это вопрос поинтереснее…

— Ну да, йопть. Давай расследование проведем.

— Нет уж, Лянхабчик. Нам в этом мире одного Локреша Смолха достаточно. По крайней мере, пока.

Локреш Смолх — наше божество расследований. Бывает, гуляешь по улице вечером, а он за тобой крадется, расследует что-то свое, в дурном тебя подозревает. Однажды одна из Терикасиных подопечных пропала. Самая красивая и со странностями, как у красоток водится. Локреш поднял на уши весь город. В Ксю-Дзи-Тсу каждый третий был под подозрением, а каждый второй свидетелем проходил. Когда Локреш добрался, наконец, до дома, чтобы передохнуть, он обнаружил пропавшую в прихожей. Она, оказывается, его подвигами вдохновилась и пошла к нему домой, в любви великой признаваться. А он неделю дома не был, расследовал.

— Ага, ну хорошо, — бормочет, тем временем, Лянхаб. — Вот мы себе жилье найдем, тудыть, тогда у нас время будет, тогда займемся…

— Да-да, когда жилье найдем. А то бродим тут, два божества без определенного места божительства. Кстати, чтобы жилье найти, нам хотя бы до конца моста дойти нужно…

Тут я умолкаю и начинаю вокруг озираться. Потому как появилось ощущение, что кто-то на нас смотрит. Пристально наблюдает, приглядывается, прислушивается, на вкус пробует.

— Лянхаб, — говорю. — Видишь, как оно все. На нас сам Ксар-Сохум посмотреть пришел. Вот сейчас не одобрит, и будем мы на этом мосту до скончания вечности и коллапса вселенной стоять.

— Да, — говорит Лянхаб. — Я тогда вязать научусь. Давно хотела научиться вязать, мать.

Ксар-Сохум понял, видимо, что его заметили, смутился, отвернулся куда-то. И мост сразу же кончился, началась серая гранитная набережная.

6

А возле набережной парк маленький оказался. Несколько плакучих ив, скамеечки зеленые, дорожки, по дорожкам огромные белые кошки носятся. И над всем этим солнце светит. А над нами,

как обычно, тучи.

— Атас, — говорит Лянхаб. — Давай мы тут полчасика посидим, епть. Покурим, пива попьем. Хорошо же тут, а?

А мне, вроде, и хочется уже улицу Иилян найти, но парк действительно красив не по-здешнему. Как будто его сюда кто специально притащил. Чтобы было, где посидеть, если настроение мерзкое, и весь мир большой экзистенциальной жопой кажется.

— Какое, — спрашиваю я, — пиво? Откуда мы его возьмем?

— Ну… — мямлит Лянхаб смущенно, — Я тут научилась, вроде, пиво из ниоткуда доставать. Ну, то есть, я училась, епть. Меня Киол учил.

— Киол… Киол хорошему не научит, сама же знаешь. Впрочем, выхода у нас с тобой нет. Придется проверить.

И вот мы в парк этот забредаем, находим скамеечку под ивой, куда лучи солнечные пробиваются, и Лянхаб, глаза закрыв, чего-то под нос себе бормотать начинает. Потом рукой какой-то странный знак в воздухе чертит, и в руке этой бутылка оказывается. Я смотрю, вроде как даже «Гинесс», хоть и бутылочный. А на скамейку кошка запрыгивает, белая, пушистая.

— Слышь, красавица, а сливок не наколдуешь? А я тебе судьбу предскажу.

Нас с Лянхаб при слове «судьба» на полметра над скамейкой подбрасывает, и зубы непроизвольно постукивать начинают.

— А какую из трех? — спрашивает Лянхаб.

— Дура ты, красавица. Это в вашем городе, смешном и дурацком, судьбы шведскими семьями живут. У нас, в Ксар-Сохуме, судьба одна. И ее так запросто никто не узнает. Так что я тебе шанс даю, какой мало кому выпадает. Раз уж увидели вы этот парк.

— А мне? — спрашиваю. — Мне судьбу предскажете?

— Смысла нет. У вас, пока вы тут живете, судьба одна на двоих. Потому что Ксар Сохум вас вдвоем увидел. И никуда вам теперь друг от друга не деться. Так где сливки-то? А то я предсказывать уже начала, а сливок нету.

Лянхаб опять в бормотания свои ударилась, а я сижу, смотрю на кошку во все глаза. Она прищурилась, хвостом туда-сюда мотает и ждет. Так и не скажешь, что пару минут назад вещала что-то метафизическое.

Наконец из ниоткуда появился пакетик 30-процентных сливок. Кошка открыла глаза, достала не пойми, откуда миску, и мы ей сливки эти в миску перелили. Она попила, морду облизала, еще немного пощурилась от избытка чувств и снова на лавку вскочила. Уставилась на нас. Смотрит, а глаза все темнее и

темнее, и взгляд почти чугунный, не кошачий совсем.

— Ну что я вам сказать могу, красавицы. Будет вам тут плохо. Будет страшно. Но если поймете что делать, страшно ваше полезным окажется. Будет вам хорошо, но не дома… Да, дом-то вы найдете, но странный. С домом особенно осторожными будьте. Любовь вам будет, неземная и тоже страшная. А особенно вам надо бояться часов и часовщиков. Да, и ни в коем случае не открывайте северную дверь.

Сказала она все это и исчезла. Вместе с парком. Стоим мы с Лянхаб посреди улицы, а перед нами указатель: "Ул. Иилян", и стрелка направо, стало быть.

— Бля, — говорит Лянхаб. — Вот ведь нагадала, тварь хвостатая. Прям хоть уезжай отсюда, прям сразу.

— Ну да, зато видишь, сказала, дом мы себе найдем. Хотя бы насчет этого можно не переживать. А там прорвемся, наверное. Все лучше, чем три судьбы. И вообще, определенность — это хорошо.

Лянхаб кивает, но хмуро как-то. Видно, испугали ее слова кошачьи. Мне и самой не по себе, но бодрюсь. Надо чтобы хоть кто-то из нас двоих бодрился. Иначе все, раскиснем, и удача убежит, она кислого не любит, ей перченое подавай.

— Ладно, — говорю, — вон указатель, пошли. Сейчас Касавя найдем, и все у нас будет.

И вот мы закуриваем дружно и идем направо, как указатель говорит. Минут через пять выходим на улочку, узенькую, темную, дома высокие, почти все небо закрывают. Зябко, ветер с Реки, судя по всему, надрывается.

— А вон, вон второй дом! — кричит Лянхаб и несется куда-то вприпрыжку.

Смотрю, и правда, большая красивая цифра два нарисована. И дом, на котором она нарисована, тоже большой, красивый. На башню похож, только не ввысь, а вширь почему-то. А на самом верху болтается маленькая башенка. Не на крыше стоит, а просто висит себе в воздухе, и все.

Мы с Лянхаб подходим к двери, мнемся, думаем, как бы так, чтобы удобно было, вломиться. Наконец Лянхаб решается, берет молоток, который около двери висит, и стучит три раза. Дверь тут же распахивается. Мы заглядываем вовнутрь, но там темень непроглядная. И тут из этой темени вылезает что-то большое, красивое, смотрит на нас так, что мы уже пятиться потихоньку начинаем, и вдруг говорит:

— Ну, заваливайте, лягухи-путешественницы. Мне Геп уже рассказал все. Сейчас вас кормить-поить будем.

И вот сидим мы у Касавя дома, перед нами стол от еды-питья ломится, как в русских народных сказках. Хорошо хоть жена Касавя не в сарафане нас встречать вышла. А мы пьем терпкое совсем сухое вино и очень не хотим больше думать. Ни о чем. Впрочем, нам и не дают.

— Я божество Острова, — громогласно вещает Касавь.

Он вообще громогласный и большой, как дэв. Зато очень уютный.

— Остров называется Остров, если вы вдруг спросить решили, — поясняет.

— Ну да, — бормочет Лянхаб себе под нос, но так, чтобы я слышала. — Все просто и незатейливо, как лыжня. Река под названием Река, остров под названием Остров.

— Глупая ты, — говорит Касавь и наливает Лянхаб еще вина. — Ты же уже поняла, что у нас город живой. Живой совсем, только что в сортир не ходит. А знаешь, когда он ожил? Когда ему название дали. Официально. Приперся этот гад надутый с мордой редактора (это он про Киола) и нарек, так сказать. И понеслось. Поэтому мы ни реку, ни остров называть не стали. Просто так, для подстраховки. Одного живого города нам вполне для нескучности бытия хватает. Идешь по улице вечером и не знаешь, домой ты придешь, или куда-нибудь еще. Я вон недавно на горную вершину забрел, когда за пивом в магазин ходил. Это нормально, по-вашему?

Тут мы с Лянхаб начинаем наперебой ему про наше троесудьбие рассказывать и доказывать, что им тут еще везет несказанно. Что горная вершина — это даже красиво, а вот Урюпинск — грустно.

— Это-то все конечно да, — говорит Касавь — Но у вас все это когда-нибудь кончится, а у нас такое всегда. И не дай бог, Ксар-Сохум полюбит кого. Тогда вообще трындец, как он есть. Завалит чудесами по уши, дышать нечем будет.

— Блин, — произносит Лянхаб с явно выраженной матерной интонацией и делает глоток вина, основательный такой. — Это что же классическая непоностакзолотуха получается?

Я киваю, а сама думаю: знал ли Киол о свойствах местного климата, когда нас сюда высылал? Надо будет спросить при встрече.

— Да ладно вам, девчонки, — Касавь сгребает нас в охапку (от полноты чувств или от паров алкогольных — не разберешь) — нормально все будет! Поживете у нас пока, в башенке. Вот только развлекать вас не получится особо. Все-таки на мне весь Остров, я

даже в одиночку не всегда справиться могу. Мне тогда жена помогает.

А жена у Касавя красивая — сил никаких нет. Только почти все время молчит. Но хоть и молчит, а забыть про нее не забудешь. Улыбнется, как будто табун солнечных зайчиков по комнате носиться начинает.

— Ну да и это не беда, — продолжает Касавь. — У меня тут парочка знакомых хлопцев есть, вот они вас развлекать и будут. Кстати, сейчас одного из них и вытащу, он, вроде, вот-вот работать заканчивает.

И выходит куда-то.

— У вас тут чего, телефоны? — удивленно спрашиваю я.

Иногда мне кажется, что не ту профессию я себе выбрала. Надо было мне божеством глупых вопросов становиться.

— Да нет, — отвечает жена Касавя. — Он пошел самолетик отсылать.

— Кого?! — мы с Лянхаб синхронно хлопаем глазами.

— Самолетик. Ну, бумажный такой. У нас в городе только так на расстоянии общаться можно. Но они всегда долетают, это проверено.

Как только Касавь вернулся, мы на него с расспросами накинулись.

— Ага, — говорит он, ухмыляясь, — самолетики. Причем только из бумаги в клеточку. Кстати, вот, возьмите, пригодится, — и протягивает нам тетрадку школьную, двухкопеечную.

— А операторы самолетной связи у вас есть? — интересуется Лянхаб. — Ну, чтобы знать, к кому подключаться…

— Да нет, они как-то сами добираются обычно.

Сидим, разговариваем, и вдруг стук в окно раздается. Касавь форточку открывает, и в комнату влетает самолетик.

— Ага, — говорит Касавь, прочитав то, что на самолетике написано. — Придет скоро, радость наша.

— А «радость наша» — это, мать его, кто? — интересуется Лянхаб.

— Это наше божество самодостаточности. Ну, или БС. Дело в том, что он так самодостаточен, что ему даже имени не требуется. Он сам и так прекрасно знает, кто он такой… Он хороший, в принципе, но есть одна небольшая проблема. У БС сильно выраженный маниакально-депрессивный психоз. И в депрессивные моменты с ним лучше вообще не общаться, повесишься через 15 минут, осознав бессмысленность бытия. Зато в маниакале он просто незаменим. К счастью, стадии у него четко распланированы, и во время депрессии он работает.

После этой речи Касавь смотрит на часы.

— Ну вот, через полчасика он тут образуется. А пока давайте еще что ли вина выпьем.

И выпили. И даже еще немного. Так что к моменту, когда стук в дверь раздался, нам уже без всяких БээСов было хорошо и весело.

Жена Касавя пошла дверь открывать. Потом вернулась. А за ней следом прибежало очень странное существо. Маленького росточка, заросшее черной шевелюрой по самый подбородок и все время нетерпеливо подпрыгивало на месте.

— Приветвсем, — пробурчало оно скороговоркой. — Я БС, вам уже сказали, собирайтесь, пошли.

— Куда пошли? — вопрошаю я. Очень уж с теплой кухни уходить не хочется.

— Посмотрим еще, куда пошли. Куда Ксар-Сохум решит, туда и пойдем, но будет весело. Ну, чего сидим еще?

Пришлось нам с Лянхаб отрывать таки задницы от теплых кресел и идти за БС. Но как только за дверь вышли, даже возрадовались. Потому что закат красивый, и впереди что-то интересное. Не то маниакальность у БС заразная, не то у Касавя дом такой коварный.

8

И вот идем мы с БС по почти вечерним улицам. Народу вокруг никого почти, или мы просто не видим. Или просто есть еще один Ксар-Сохум, третий, совсем уже для своих, проверенных временем. Неизвестно, да и спросить не у кого. БС несется вперед, время от времени грозясь показать чудесное, мы с Лянхаб вприпрыжку за ним, не успевая даже заметить в какую сторону движемся, Остров это или не Остров уже.

— А реку-то мы перешли? — спрашивает Лянхаб.

А я и не помню.

Наконец БС остановился.

— Вот, — говорит, — чудо ваше сегодняшнее. Вам, — говорит, — повезло. Так близко он мало кого подпускает.

— Кто подпускает? К чему? — спрашиваю.

А вокруг нас горы выросли, оказывается. Высокие, синие, как на картинках.

— Вон за тем склоном есть замок, — отвечает БС. — Этот замок — любимый секрет Ксар-Сохума. Если знать подход, к нему можно совсем близко подобраться, а если повезет — и внутрь попасть. Только вот куда именно тебя при такой ворожбе закинет, это только сам Ксар-Сохум может решить. Он тут вообще много

чего сам решает.

— Так это ж про эти самые горы Касавь говорил! — вдруг вспоминает Лянхаб. — Шел, мол, за пивом, а попал на горную вершину.

— Ага, — кивает БС, — с ним всегда так. Задумается и начнет где-то внутри себя ворожить. По привычке, что ли. А потом удивляется.

— А он в замке был? — встреваю я.

— Нет, — отвечает БС и улыбается печально, того и гляди, обратно в депрессивную стадию рухнет. — Ксар-Сохум, может, и рад бы, да Касавю этого не надо. Он с вершины всегда возвращается. У него все хорошо и без замков. Или ему так кажется. Ему досталось по знакомству три мешка покоя, так они с женой даже один никак не используют.

— Интересная метафора, — замечает Лянхаб.

— Это не метафора. Ладно, пошли, а то мы тоже до замка не доберемся, а лично мне мешков с покоем не дарили пока.

Все повторяется, БС скачет впереди, мы с Лянхаб — за ним. И вроде как даже не по горам идем, дышим нормально, воздух теплый, и иных признаков высоты тоже не наблюдается. Но об этом мы БС расспрашивать не стали. Не так уж это и удивительно по со сравнению со всем остальным.

Наконец перешли перевал. А внизу и правда замок. Готический, разумеется. Ксар-Сохум, как я погляжу, вообще к готике неровно дышит. Вокруг замка ров, мост через него на цепях, все как водится.

— Там живет кто-нибудь? — спрашиваю.

— Не знаю, — говорит БС. — Мне внутрь попасть не удавалось еще. Последний раз на мосту завернули. Вот хочу еще с вами попробовать, может, вы ему больше нравитесь. Может, сделает вам такой подарок по поводу переезда.

Начинаем гуськом по тропинке загогулистой спускаться вниз. Я все жду, когда нас пинком обратно отправят. Не может так быть, чтобы приехали две непонятно что, непонятно откуда, а им тут сразу и чудеса на подносе, чуть ли не в постель, вместе с кофе. С другой стороны, БС виднее. Вон, скачет впереди, в ус не дует. А есть у него усы-то? И не разглядишь.

Пока думала, мы уже до моста добрались. Тут БС притормозил немного, закурил, достал из кармана фляжку, сделал основательный глоток и нам ее протянул.

— Вот, хлебните. Сейчас ворожить будем. А без этого ворожба сухой и грустной получится.

Хлебнули. Что-то явно спиртосодержащее, и вкус знакомый. Начинаю вспоминать судорожно, что же это быть может.

— Эксклюзивный рецепт, — объясняет БС, хитро на наши рожи задумчивые глядя. — Когда-нибудь потом расскажу. А сейчас пошли, только надо думать про огонь, обязательно. Любой, хочешь спичечный, хочешь Олимпийский.

Снабдил нас БС этими инструкциями и пошел по мосту.

До середины моста мы чуть ли не ползком доползли. Я боялась хоть шаг в сторону сделать от БС или потерять нарисованную внутри картинку — большой костер на главной площади Ксю-Дзи-Тсу, который мы в прошлом году разводили. Жгли воспоминания. В какой-то момент оказалось, что в домах скопилось столько воспоминаний, что повернуться невозможно без того, чтобы какое-нибудь из них не задеть. А если его задеть, оно начинает звенеть противно и картинки на стенах показывать. И вот Киол решил свалить все это на главной площади и поджечь. А мы стояли, грелись и смотрели на улетающие вверх кусочки жизней, пытаясь опознать среди них свои.

На середине моста БС остановился, улыбнулся откуда-то из-под челки и заявил.

— Ну все, самое опасное позади. Теперь дойдем, только не забывайте про огонь думать. На всякий случай.

Лянхаб ко мне наклоняется и шепчет:

— Слушай, Каф, а про это нам кошка не говорила ничего.

— А это и не судьба, наверное, — отвечаю я тоже шепотом. — Это так, чудеса попутные. Судьба позже начнется.

9

В замок мы все-таки попали. Долго стояли на пороге, пытались заглянуть в темноту там, внутри. Ничего не увидели, пришлось идти дальше. БС снова из фляжки глотать начал, уже для храбрости: кто его знает, какие чудеса Ксар-Сохус для избранных хранит? С его-то непростым характером…

Но все тихо вроде бы, никто на нас из темноты не бросается, даже свет появился, факелы на стенах загорелись. Оказалось, находимся в большой такой зале, парадной, наверное. Стол огромный, на нем всяческой еды и питья человек на сто расставлено.

— Это все для нас? Чудо такое? Чтобы обожраться и умереть? — интересуется Лянхаб, разглядывая все эти кулинарные шедевры.

— Чудо. Но совсем не для этого, — объясняет БС. — Все зависит от того, что съешь и что выпьешь. Вот тогда-то чудо основное и начнется. Причем, для каждого свое. Ксар-Сохум толп не любит. Даже таких маленьких, как наша компания. Так что,

если не боитесь, — пробуйте.

И сам тащит со стола тарелку с чем-то вкусным.

— А ты откуда знаешь? — не отстает Лянхаб. — Ты же не был тут.

— Я не был, другие были. Стол этот всегда стоит. И каждый свое получает, только мне никто не говорил, что именно. Но вроде недовольных не было.

Сказал это, и вдруг исчез куда-то.

— Ой, мама, — шепчу я. — Это что же, его обратно вернули? А как же мы возвращаться будем?

А эхо мои слова по всему замку разносит.

— Да нет, это он просто сожрал чего-то, вот и исчез. Я тоже хочу попробовать, — отвечает мне Лянхаб и хапает со стола кубок. — О, вино, красное, — булькает, сделав один глоток, и тоже исчезает.

И остаюсь я одна. Мне совсем не по себе становится. Уж больно замок большой и гулкий. И пустой. Я нацеливаюсь на стол, выхватываю из всего разнообразия чью-то ногу обжаренную, начинаю ее грызть, и тут случается.

Я оказываюсь в обычной такой маленькой комнатке. Сижу на диване, в руке у меня чашка с капучино, на столике пепельница, а напротив сидит человек — ну, вроде бы. Обычный человек, в джинсах и рубашке. Судя по всему, не из наших, не из божеств.

— Привет, — говорит. — Я с тобой так давно мечтал поболтать, если честно. Вот так вот, чтобы с кофе, и тихо.

— А ты кто? — спрашиваю. Потом осекаюсь. Ну, разумеется, еще один дурацкий вопрос. Он и сам расскажет, если захочет. А не захочет, так чего тогда спрашивать? Поэтому ищу сигареты, нахожу, закуриваю и выжидательно на него смотрю.

— Как тебе кофе? — спрашивает он.

Я смотрю на чашку в своей руке, делаю глоток.

— Хороший, — говорю, — кофе. Сам готовил или как?

— Ну, можно считать, что сам. Мне только немного помогли.

— Кто?

— Есть тут парочка духов, они мне с кофе сильно помогают. Пропорции там рассчитать, или еще что — в техническом плане. А уж настроение этому кофе я сам даю.

— Настроение?

— Да. Этот кофе с легкой грустинкой. Потому что, скорее всего, хоть эта встреча и первая у нас, а не увидимся мы больше. И даже непонятно, сколько нам времени дадут, чтобы пообщаться. Впрочем, хорошо, что его вообще дали. Видишь ли, такая штука получается, что я — твоя вторая сторона.

У меня в голове тут же начинают судорожно проноситься все

прочитанные книги по эзотерике и мифологии.

— Вторая сторона? Двойник что ли? Доппельгангер?

— Да нет. Просто вторая сторона. Знаешь, как у пластинки. Я совсем не ты, мы мало в чем похожи, разве что кофе любим оба. Только я его готовлю, а ты кофейнями заведуешь. Ты божество уже, а я пока что человек. Даже живу не в твоем мире. Просто каждому полагается его вторая сторона. Она в судьбу с самого начала вписывается. Только об этом почти никто не знает. Я бы тоже не знал, просто мне сны начали сниться.

— Какие?

— Мне снилось, что по улице ходят люди, странные такие, с одной стороны посмотришь — вроде один человек, а с другой посмотришь, так уже другой. Я и подумал, что у каждого есть вторая сторона. Только ее найти нужно. А если еще точнее, ее нужно понять.

— А зачем они нужны, стороны эти? Если их даже в судьбу вписывают, значит полезная в хозяйстве вещь, так ведь?

— Очень полезная. Обратная сторона — это твое “не-я”. Собрание всего, что существует на одной с тобой частоте, но никогда ни в тебе, ни рядом не появится.

— А тогда зачем…

— Как обычно, для равновесия. Чтобы не болтало ни тебя, ни меня по системам координат вселенским. Ничего из того, что у твоей второй стороны есть, тебе недоступно, а значит, не сделаешь глупостей, и последствий страшных не будет. И наоборот. А если две половины вместе соберутся, они таких дел наворочают, что всем страшно станет. Они мир за пять минут смогут завоевать, даже не заметив. Поэтому и не позволено. Только, разве что, вот так. В порядке чуда.

— Тогда расскажи, какой ты? Интересно же, чего во мне никогда не будет.

— Лучше ты расскажи. Или нет, не надо. Давай просто кофе попьем.

Сидим, пьем, смотрим друг на друга, молчим сосредоточенно. Хорошо, тепло и уютно. И не хочется, чтобы кончалось. Потому что когда кончится, снова начнется Ксар-Сохум странный, поиски жилья, ссылка. И хоть прекрасна вполне моя жизнь божественная, но вот таких моментов в ней не бывает. Разумеется, так же по закону бытия положено.

— Знаешь, — говорит, наконец, моя обратная сторона. — Я эту теорию сам придумал, только вчера, когда проснулся. А сегодня попал сюда, тебя увидел, и понял, что все правда. Или стало правдой.

— А может ты тогда придумаешь что-нибудь, чтобы нам еще

раз кофе попить вместе? А то как-то совсем уж сурово получается.

— Может быть, — соглашается он. — Я подумаю еще. В любом случае, я всегда рядом. Половина все же. Если удастся вовремя оглянуться, может быть, увидишь.

Я собираюсь спросить, а как же все-таки зовут обратную сторону моей пластинки, но не успеваю. Оказываюсь вдруг в большой зале Ксар-Сохумского замка. А там уже БС с Лянхаб сидят, на пару содержимое фляжки употребляют. Задумчивые оба, дальше некуда. Увидели меня и тут же фляжку мне выдали. Видать, лицо мое к этому располагало.

Вот только выйти из замка у нас не получилось. Совсем не получилось. БС вышел, а мы за дверь дергаем, и хоть бы что. БС уже с той стороны кричит, надрывается:

— Ну чего вы там застряли, мне пора уже!

— Да мы выйти не можем, — отвечаю я. — У нас дверь не открывается.

Тут БС начал материться, да так, что Лянхаб с завистью в сторону двери посмотрела. Поматерился, а потом и говорит:

— Ну раз так, я ничего поделать не могу. Ксар-Сохум все сам решает. Так что пойду я. Может, увидимся еще, если выберетесь.

И ушел. Мы даже вслед ему печально посмотреть не смогли, дверь мешала.

— Ну что, — спрашивает Лянхаб, — допрыгались? Чудес им захотелось, видите ли. И чего теперь-то будет?

— Не знаю, — говорю. — Мы, кажется, в какой-то тупик судьбы случайно залезли. Ждать будем. Вон, поесть еще можно.

— Да, и нас опять колбасить начнет?

— Думаю, уже не начнет. Это, наверное, больше одного раза не работает.

Мы с ней пошли к столу, уселись и начали есть. Причем на нервной почве наелись до состояния едва шевелящихся тушек. И ничего сверхъестественного не происходило — кроме, конечно, нашего сверхъестественного обжорства.

— Я домой хочу, — говорит Лянхаб, с отвращением косясь в сторону стола. — Домой, в Ксю-Дзи-Тсу, к Киолу. Не хочу больше этих странностей. В Ксю-Дзи-Тсу странности свои, родные и знакомые, а тут сплошь ужас какой-то. А вдруг у меня клаустрофобия, вдруг я замкнутых замков до колик боюсь?

— Да, домой я бы тоже не отказалась. Мне все-таки работать надо. Вот просидим мы тут три вечности, так в Ксю-Дзи-Тсу все кофейни испортятся, за ними же глаз да глаз нужен. Сменят один раз персонал, потом всю кофейню на помойку можно выбрасывать. Да и вообще…

— Слушай, — оживилась Лянхаб, — ну а может попросить

его? Типа, отпусти нас, батюшка Ксар-Сохум, к детишкам малым, кофейням славным, и все такое?

— Что-то мне кажется, это не поможет.

И мы опять замолчали.

Но долго молчать, как всем известно, куда сложнее, чем долго говорить, и мы потихоньку начали вспоминать Ксю-Дзи-Тсу. Все тамошние истории, которых оказалось очень много, Киола, который, если вдуматься, не такой уж и плохой, Терикаси, который, наверное без нас со своими прямыми обязанностями не справляется, и прочих добрых божеств, которые продолжали существовать в нормальной (хоть и с тремя судьбами) реальности, в то время, как мы сидели здесь, и совершенно не знали, что случится в следующую минуту.

Самое страшное, что не случалось ничего. Мы по-прежнему сидели около стола, потягивали вино и курили. И никаких потусторонних шорохов, никаких намеков, что хоть кто-то тут есть и к нам прислушивается. И не оставалось ничего, кроме как заснуть прямо в креслах в надежде на то, что утром все хоть как-то прояснится.

Утром все действительно прояснилось. Когда продрали глаза, оказалось, что дверь открыта настежь, а за ней виднеются привычные глазу, милые сердцу башенки и домики Ксю-Дзи-Тсу.

Мы с Лянхаб завопили от радости и рванули на улицу. Никакого замка позади нас, разумеется, больше не было. Зато впереди маячил Киол. Подошел к нам и спросил со всей возможной суровостью:

— Ну что, с судьбами воевать пойдете? А то, глядите, сошлю.

И мы пошли воевать с судьбами. А что нам еще оставалось делать?

Эпилог

На войне с судьбами нас, разумеется, убили, и даже не один раз, потому что солдаты из нас, как мы и предупреждали с самого начала, хреновые. Воскресая, мы всякий раз ругались и шли пить кофе.

Часть вторая

1

После войны с судьбами, которую нам чудом каким-то удалось выиграть, в Ксю-Дзи-Тсу все более или менее пришло в норму. Насколько это в Ксю-Дзи-Тсу возможно, конечно же. Появлялись время от времени новые божества, старые божества умирали и отправлялись в Галлавал. Жили мы почти как люди, одним словом. Я кофейни создавала, Лянхаб ходила со мной по этим кофейням, для счастья мало, что еще нужно. Киол разомлел и даже подумывал новый город основать, назвать его Адоесс и ездить туда в отпуска. Киол решил, что ему, как всякому начальнику, полагаются отпуска. Мы особо не возражали.

Но, конечно же, все не могло быть сплошь и рядом хорошо, иначе мне бы вам рассказывать не о чем стало. Попивание кофе за душевной беседой — занятие увлекательное, бесспорно, но только для участников процесса.

Как-то утром после обильного ночного возлияния и жалоб на жизнь (преимущественно личную, это основная проблема любого божества) мы с Лянхаб и Терикаси сидели в кофейне на главной улице Ксю-Дзи-Тсу, наблюдали сквозь стеклянные витрины за городом и беседовали неспешно, как в таких случаях и полагается.

— А чего бы тебе, Лянхабушка, не переквалифицироваться, — говорит Терикаси. — Я уже который год жду, пока у нас какое-нибудь божество кино появится, или хотя бы книжного магазина «Москва», да все без толку. А ты пойди к Киолу, попроси тебя переназначить, будешь нам фильмы показывать, вместо того, чтобы матом ругаться беспрестанно.

— Да ну тебя, епть, — отмахивается Лянхаб, попутно переворачивая чашку с кофе. — Киол меня тем же самым матом пошлет куда подальше. Он считает, что порядки, установленные этим миром при участии его, любимого, нарушаться не должны, иначе всем пиздец настанет.

— Это-то да, — соглашается Терикаси, поглаживая по коленке одну из своих подопечных (он утверждает, что на них это благотворно влияет) — но мир же все равно меняется. Вон, вы рассказывали, что с Ксар-Сохумом случилось. Так лучше же, чтобы эти изменения под контролем были.

— Тебе просто очень кино посмотреть хочется, — вмешиваюсь я, закончив сооружать курган из салфеток на месте

пролитого Лянхаб кофе. — Мне тоже хочется, но тут только ждать и остается. И, между прочим, Киолу мы про Ксар-Сохум ничего не рассказывали толком. Ни к чему ему это, расстроится еще.

— О чем это вы мне не рассказывали? — это Киол, как обычно, возник у нас за столиком, никого не предупредив.

— Слушай, едрить твою, я тебя сколько раз просила вот так вот не делать больше. Я нервничаю. — Лянхаб подпрыгивает на стуле и начинает копаться в своей сумке в поисках сигарет, разумеется, безуспешно.

— Да ладно, я же не появляюсь, когда ты в ванне с резиновыми утятами купаешься, — усмехается Киол и протягивает Лянхаб свою пачку сигарет.

Лянхаб, разумеется, краснеет, Киол умеет делать, чтобы очень неудобно стало, а Терикаси, напротив, оживляется.

— Слушай, Лянхабушка, а ты где утят-то доставала, а то я давно таких хотел.

Мы с Киолом ржем в голос, а Лянхаб начинает крыть нас всех многоэтажным матом, автоматически переключившись в рабочий режим, как обычно.

— Ладно, — Киол перестал смеяться, заказал себе ристретто и многозначительно уставился на нас, видимо, требуя пристального внимания.

Мы втроем кроим рожи посерьезнее, и, как обычно, готовимся внимать. Киол, если не на периодические попойки, просто так не появится.

— У нас неприятности, — начинает Киол, поглощая ристретто. — Серьезные.

— Ох ты ж, неужели судьбы опять? — от Киолового тона мне не по себе становится, да и Терикаси с Лянхаб сидят, оба серьезные, жуть.

— Нет, не судьбы. С этим городом вообще все совсем в порядке, к счастью. Это в Галлавале все плохо. Там боги умирают.

— Постой, — перебиваю я Киола, пока это не сделали все остальные. — Они же там и так мертвые.

— Ты, Каф, хоть и умная, но такая дура иногда, — Киола вывести из себя — проще некуда. — Само собой, мертвые они там. Но кто-то их убивает. А после этого они просто исчезают из этого мира.

— И дальше что? — интересуется Лянхаб, явно радуясь тому, что с Ксю-Дзи-Тсу все в порядке. — Убивают и убивают. Все равно мертвые. Толку с них даже для них никакого.

— Ты же знаешь, дорогая, что у этого мира свои законы. Есть божества живые, а есть — мертвые, и все они должны быть, иначе мир расстроится. И я тоже. — Киол, впрочем, и без того

расстроенный, только что молнии из глаз не мечет, ну так это просто потому, что не умеет.

Но тут Терикаси, он умный очень, несмотря на специфику профессии, странно так смотрит на Киола и говорит: — Не, Киолушка, гармония, баланс и довольство мира — вещи, безусловно, приятные, только мы здесь при чем? Я, конечно, допускаю, что ты просто с друзьями решил проблемами поделиться, я бы так и поступил. Но у тебя ведь не бывает «просто».

Киол безуспешно попытался испепелить Терикаси взглядом, не преуспел, закурил любимый свой «Житан» без фильтра и вынес нам приговор:

— А разбираться, в чем дело, будете вы.

Мы, конечно, чего-то подобного и ожидали, но все равно начали в три голоса доказывать Киолу, что он явно не прав.

— Да куда нас слать-то, мы даже в ссылку по-человечески отправиться не можем, — говорит Лянхаб.

— Ты, Киолушка, по-моему, окончательно из последнего ума выжил, — Терикаси изображает спокойствие необычайное, при этом остервенело болтая ложечкой в чашке.

Я какое-то время просто изумленно смотрю на Киола, потом выдаю: — Подожди, а чего бы тебе Локреша Смолха не послать, это же, вроде, его работа.

— Каф. Это не смешно. Ты помнишь хоть один раз, когда его расследования заканчивались хоть чем-то.

— Ладно, ладно, но мы ничем не лучше. Так себе, мелкие божества, ни за что серьезное не отвечаем. По-моему, Киол, ты, либо, и правда что, слегка с ума сошел, либо просто чего-то не договариваешь. В конце концов, поехал бы сам в этот Галлавал и разобрался.

— Я не могу, — качает головой Киол. — Во-первых, на мне весь мир висит, негоже его без присмотра оставлять, а во-вторых, вы же знаете, в Галлавал могут попасть только мертвые боги.

Тут мы теряем дар речи и смотрим на Киола, раздумывая, очевидно, об одном и том же — а не отправить ли его самого в Галлавал досрочно.

Наконец Терикаси приходит в себя и интересуется: — А скажи, Киолушка, ты научился вдруг видеть будущее или просто хочешь его подкорректировать?

— Да нет, вы все опять не так поняли…

— Ну да, епта, не так. Все так, такее просто уже некуда. — Лянхаб вертит в руках тяжелую кружку из-под кофе и явно прикидывает, не кинуть ли этой кружкой в Киола, так, для получения морального удовлетворения.

— Слушайте, мать вашу, я могу вам объяснить, в чем дело без всяческих ваших комментариев. Помолчите хоть пять минут. — Киол явно приближается к грани нервного срыва, как и все остальные.

Но тут он, кстати говоря, прав. Божества живут долго, практически вечно, поэтому говорить мы тоже можем долго, практически вечно.

Мы умолкаем, смотрим в шесть глаз на Киола и ждем нового повода заговорить.

— После того, как вы съездили в Ксар-Сохум, я получил подтверждение некоторых своих догадок. А именно, все города в этом мире стали жить по каким-то собственным правилам, не тем, которые задумывались с самого начала. То есть, я этого не планировал, но меня-то как раз редко кто спрашивает.

Я открываю рот, чтобы спросить «А как же Ксю-Дзи-Тсу?» и закрываю его обратно.

— Да, и Ксю-Дзи-Тсу тоже — Киол улыбнулся и продолжил вещать. — Ксю-Дзи-Тсу выбирает, какие божества тут появятся, а какие — нет. Так что все мы, по большому счету, у него на хорошем счету. Потому и живется нам так, припеваючи. А вы понравились еще и Ксар-Сохуму, насколько я понимаю. И при такой общей к вам любви городов, понятно, что кроме вас в Галлавал ехать явно некому. Мне он точно свои тайны раскрывать не будет. Начальство, знаете ли, никто не любит.

Мы-то знаем, и поэтому делаем вид, что нет.

— А Терикаси поедет с вами для страховки. Чтобы вы, если что, смогли вернуться обратно, не увлекались тамошней жизнью особо, ну и так далее. Вот. — Киол допивает остатки ристретто и смотрит на нас.

— Это все очень хорошо и убедительно, — задумчиво говорит Терикаси, — Но про главное ты так и не сказал. В Галлавал могут попасть только мертвые божества.

— Эмм, — мычит Киол, — Ну я вас того, временно умертвлю. Не по-настоящему, конечно же.

— Ага, не по-настоящему. Как же, тудыть налево — Лянхаб по-прежнему вертит в руках кружку.

— Да ну вас, блин, — неожиданно обижается Киол. — У вас паранойя коллективная. Зачем мне, спрашивается, вас навсегда умертвлять, если можно не навсегда. И вообще, дело добровольное, надумаете — найдете, — он грохает пустую чашку об блюдце, и растворяется в воздухе.

— Ну вот, обидели Киолушку, не поверили в его добрые намерения, — хмыкает Терикаси.

— Ну, где-то он прав. Свиней Киол нам никогда особо не

подкладывал, если задуматься, — отвечаю я.

— Дык он же власть,ептыть, — Лянхаб снова начинает рыться в сумке в поисках сигарет, я протягиваю ей свою пачку. — А власть ничего просто так не делает. И вообще, верить власти — последнее дело. Вон, сумку он мне подарил, так я до сих пор мучаюсь.

— Ну, это же все мелочи, — я чувствую, как во мне зачем-то неземная любовь к Киолу просыпается, заколдовал он меня, что ли. — А так, мы же тут с самого начала вместе. Если он нас умертвит, ему же не с кем пить будет. И на жизнь жаловаться тоже некому.

— Это-то да, — Терикаси о чем-то усиленно думает. — А давайте так. Мы ему расследуем эти убийства, а он нам кинотеатр.

— Угу, и резиновых уточек в каждую ванну, — добавляю я.

Лянхаб снова берет со стола кружку.

Терикаси усмехается и говорит в пустоту.

— Эй, Киолушка, давай, возникай, я же знаю, ты тут где-нибудь рядом стоишь и подслушиваешь. Согласен нам сюда божество кино притащить, если мы в Галлавал поедем, маньяка твоего искать?

— Не, ну ребят, это нечестно, это же мне с Ксю-Дзи-Тсу договариваться придется, а он капризный, что ужас, — Киол опять возникает из ниоткуда и усаживается на стул с видом человека, готового торговаться до последнего.

— А нам придется договариваться с Галлавалом, нам сложнее, между прочим, — я решаю в торговле поучаствовать, потому что по кино мы все скучаем и достаточно активно. — Так что это наше последнее слово. Если нет, сам себя умертвляй и вообще, делай, что хочешь.

Киол изображает тяжкие раздумья, хотя понятно, что он все уже давно решил, и наконец соглашается: — Ладно, ироды, будет вам вино, внесу в ТЗ на следующий месяц. В общем, сегодня вечером ко мне, буду вас понарошку умертвлять. — Тут он встает и уходит, на этот раз нормально, через дверь.

2

До вечера мы все носились по городу, всяческие дела улаживая и вещи собирая. Я, как обычно, с полным набором создателя кофеен, готовлюсь нам штаб создавать. Лянхаб тоже какие-то свои проблемы решает, ведь у нее работа весьма ответственная, не так что оставит, все население Ксю-Дзи-Тсу будет до ее возвращения матом разговаривать. Терикаси своим

подопечным валерьянку раздает и, наверное, по коленкам поглаживает, в терапевтических целях.

Вечером собираемся мы в любимой кофейне, чтобы перед тем, как к Киолу идти, еще раз все обсудить, как следует. Но в кофейне нам сидится плохо, все дергаются, крутят в руках ложечки и нервно в потолок дымят.

— Ладно, — наконец говорит Терикаси, понимая, что еще чуть-чуть, и мы все ничуть не лучше его подопечных станем. — Поздно уже страдать, уже согласились. Надо думать, что мы там делать будем.

— Об этом мы еще в поезде подумать успеем, у нас целых 16 часов на это будет, если Киол не врет, конечно. А сейчас дай понервничать. Так жить проще, епть, — говорит Лянхаб, поглощая что-то сильно кофейно-алкогольное с вишенкой сверху.

— А что думать вообще, приедем — будем разбираться. Мы же даже не знаем, что и как там, в Галлавале этом. Это мы тут так, привычной атмосферой на прощание дышим, — у меня тоже поджилки трясутся, конечно же, но Терикаси прав, согласились уже, да и понятное дело, заняться кроме нас, этим просто некому.

— Ну, пошли тогда, что ли, — Лянхаб вскакивает, опрокидывает пепельницу и пытается целенаправленно к выходу пойти. Получается не очень. Мы с Терикаси идем за ней.

Дом у Киола странный, совсем. Он, как только о каких-нибудь новинках в мире людском узнает, тут же их к себе домой тащит. То евроремонт делал, приглашал в джакузи купаться, то тренажеров понаставил, никому не нужных, то домашний кинотеатр завел, с плазменным экраном, но без единого фильма. Сейчас он системами безопасности увлекся, так что когда мы к дому подошли, на нас тут же всякие камеры слежения уставились, и откуда-то сверху ехидный Киоловский голос пригласил внутрь.

— Киолушка, друг мой, а зачем тебе вся эта фигня? — спросил Терикаси, оглядываясь по сторонам. — Ты что, считаешь, ты кому-то так сильно понадобиться можешь, да еще и против твоей воли?

— Мало ли, — Киол встретил нас в банном халате, зато с лицом, на котором масса безумно серьезных дум просматривается.

— Нет, это он от поклонниц скрывается, — говорит Лянхаб, — Если Вреста их тут застанет, он потом от нее никакими камерами не отмахается.

— Идите вы… — мрачно говорит Киол. Его вечновозлюбленная Вреста — причина его беспрестанных депрессий, и, пожалуй что, лучшая гарантия нашего возвращения

из Галлавала. Ведь если мы там застрянем, Киол сам вымрет от невозможности пожаловаться на судьбу.

— Да ладно, Киол, ты же знаешь, как мы все тебе сочувствуем, — говорю я, стараясь не улыбаться. — У нас тут у всех свои несчастные Любови. Как говорится, на каждое божество найдется своя Вреста.

— Все, блин, бегом в кабинет. Утомили. — Киол становится деловым, как обычно, когда хочет поменять тему разговора.

Кабинет у Киола тоже достойный, всякий там дуб, книжки умные и глобус, как у Ниро Вульфа. Терикаси утверждает, что это глобус Украины. Киол бесится.

— Так вот, родные мои, — Киол уселся за стол, чтобы нам стало ясно, кто в мире хозяин. — Я вас о некоторых вещах предупредить хочу, прежде, чем начну умертвлять. Дело в том, что мертвые божества, те, которые сами по себе умирают, теряют к жизни всякий интерес, потому и пьют беспрестанно. У них там, конечно, своя деятельность какая-то происходит, но только так, номинально, насколько я понимаю. Вы от этих побочных эффектов, понятно дело, будете избавлены, но вид придется делать. Так что никаких кофеен.

— Э нет, как так никаких кофеен? — возмущаюсь я. — Я без кофеен не могу, мне без них не думается. И им тоже, — я показываю на Лянхаб и Теикаси, которые начинают активно кивать.

— Там нет кофеен, и быть не может. Мертвые божества теряют свое призвание, — терпеливо объясняет Киол. — Там на весь город два гадюшника — Гориип и Оггльо — по именам владельцев. Их мир туда с самого начала направил. И эти хозяева там — практически единственные живые. Так что еще раз — никаких кофеен.

— Ну, Киольчик, ну маленькую, ну мы ее под квартиру замаскируем, а? — меня совершенно не радует перспектива перетекать из одного жуткого кабака в другой.

— Вот в квартире кофе пить и будете. В конце концов, ты, как божество кофеен, должна уметь его варить. Попрактикуешься.

Я уныло замолкаю.

— Ну и понятно, что ваша цель — выяснить, кто убивает наших мертвых богов. Как только выясните — возвращайтесь.

— Из Галлавала не возвращаются, епть, — вдруг вспоминает Лянхаб.

— Мертвые боги — не возвращаются. А вы вернетесь. С Ронах я уже договорился.

— Ронах? — переспрашивает Терикаси.

— Угу, она отвечает за железную дорогу до Галлавала, —

объясняет Киол. — Ты только Терикаси, ни на что не надейся. Она сама полумертвое божество, ее крайне мало что в жизни волнует, кроме ее поезда.

Терикаси вздыхает, мы с Лянхаб переглядываемся.

Дело в том, что Терикаси давно и безуспешно богиню своей мечты найти пытается. Методом проб и ошибок. Кроме ошибок, правда, ему этот метод пока ничего не принес. Но Терикаси, хоть и божество истерик, большой оптимист, потому надежды не теряет. Мы с Лянхаб за давностью знакомства, понятное дело, не считаемся, а вот все остальные божества женского пола в Ксю-Дзи-Тсу, кажется, уже были забракованы, Терикаси сам об этом периодически рассказывает.

— Ну вот, а теперь займемся умертвлением вашим, — торжественно возвещает Киол и начинает руками всякие пассы выделывать. Для красоты, скорее всего. Все же знают, что магии такой, рукотворной, в этом мире нет. Есть только то, что сам мир позволит. Все прочее — атрибутика и желания колдующего.

— Вы только, если что, не пугайтесь, — предупреждает Киол в промежутке между пассами. — Это все не по-настоящему, в любом случае.

В любой — не в любой, но мне в какой-то момент становится неуютно и хреново. Причин объяснить ничем нельзя, все по-прежнему. Но неуютно. И хреново, ага.

Киол видит, что со мной творится, и тут же начинает успокаивать, пока мы все не передумали.

— Это все иллюзия, как есть. Ну, как посталкогольная депрессия. Главное — не обращать внимания. Просто иначе вас Галлавал к себе не пустит. Вот вернетесь — будете жизнерадостными, как раньше. Опять же, стимул вам, побыстрее все это дело распутать.

В других обстоятельствах мы бы уже все Киола, на чем свет стоит, крыли. Но тут мне совершенно все равно. Даже Терикаси сник как-то. Потом мы все втроем молча выходим из кабинета Киола, из дома Киола, с улицы, где живет Киол (примерно так я это все и ощущаю, констатациями), и отправляемся на вокзал, откуда девушка по имени Ронах должна отвести нас в чудесный город Галлавал, где все такие, как мы сейчас, только еще хуже, и умирают иногда насовсем. Впрочем, судя по моим нынешним ощущениям, мертвым-то божествам таким смертям только радоваться. Все лучше, чем так.

— По-моему, нас наебали, — равнодушно говорит Лянхаб, изучая небо над головой.

— Не то слово, как, — также равнодушно отвечает Терикаси.

— Интересно, как, по мнению Киола, мы в таком состоянии

что-то расследовать будем, мы же там сопьемся, — на самом деле мне совершенно неинтересно, но раз мысль возникла — надо высказать.

— Это, кажется, методом погружения называется. Зато поймем, что они чувствуют, — говорит Терикаси.

— Если они такое чувствуют, так это просто самоубийства, — замечает Лянхаб. Ругаться она перестала.

— А может вернуться, попросить Киола нас обратно оживить? — предлагаю я.

— Да какая разница, жизнь, что так, что так дерьмо, только отношение разное. А если выясним, кто это, так хоть кино сможем смотреть. Оно, в отличие от жизни, хорошим бывает, — мрачно возражает Терикаси.

За такими оптимистичными разговорами мы таки добрались до вокзала, где у единственного вагона единственного поезда на единственной платформе нас встретила девушка, при виде которой Терикаси, будь он прежним, тут же решил бы, что он нашел ту самую богиню своей мечты. Но сейчас они только кивнули друг другу, и мы уселись в темное купе, где на столе стояла бутылка водки, видимо, подарок фирмы, которая очень хорошо чувствует настроение клиентов.

3

Ужасно, доложу я вам, мертвым божеством быть. Потому как все, что бывало поводом для смешных шуток, становится поводом для несмешных терзаний. И ладно бы таких терзаний, чтобы душа сворачивалась-разворачивалась, так ведь нет. Душа кукожится и зябко кутается в собственные страдания. Отвратительно.

Водку мы пить не стали, мудро решили, что от нее всегда только хуже становится. К тому же, нам на следующий день надо убийства расследовать, а для этого придется собирать себя во что-то более или менее жизнелюбивое.

Поэтому мы просто сидели в купе и печально друг на друга смотрели. Оно понятно, у божеств, как уже сказано было, проблемы, как правило, только с личной жизнью. И вот эти проблемы на всех навалились изо всех сил.

— Вот, — заявляет наконец Лянхаб, — у Киола хотя бы какая-то динамика в жизни. Они с Врестой друг на друга орут и посудой кидаются. А у меня что — ничего. Даже посуды нет. Потому что я по кафешкам ем. А ведь взрослое божество, надо бы уже семьей обзаводиться.

— Да ну прекрати ты глупости говорить, — Терикаси смотрит в окно и поддерживает разговор, по всему судя, лишь для того,

чтобы хоть что-то держалось. Раз уж с настроением такая дрянь. — Кто бы тебя в божества взял, с такими-то устремлениями. Ты что, Лянхабушка, не заметила еще, божества в этом мире — существа пожизненно одинокие. Всякие любови — они любовями, но одиночество в конечном итоге нам всем куда ценнее. Только не говори, что не знала об этом.

— Ну, догадывалась. Смотрела на всех нас и догадывалась. Но это ведь жестоко как-то получается. К чему нам стремиться-то тогда?

— Нам не стремиться полагается, а жить, — говорю я, посматривая на бутылку с водкой. — А вот когда научимся жить, тогда уже и стремиться можно будет. Тебе что, с твоим Кицни хорошо было? После первых пяти скандалов?

— Ну ведь, мы же мирились потом. И все еще какое-то время было хорошо. Хотя так да, лучше. Приходишь домой, ноги на стол закидываешь. Если что нужно, сама наколдуешь или вон Каф попросишь. А кроме того, что тебе нужно, больше ничего и не надо. Я думать люблю, знаете.

— Хе, правда что ли? — Терикаси даже улыбнулся.

— Не смешно, кстати. — Лянхаб надулась. — Вот прихожу домой, ноги да, на стол, и думаю, бывает по полвечности целых. Обо всяком. Ну вот, к примеру, мир этот. И город наш. Ведь по каким-то критериям он нас выбрал сюда. По каким, очень интересно. Или там, про Ксар-Сохум. Что бы там дальше было, если бы он нас не выпустил. Нам ведь кошка столько всякого нагадала. Есть ведь о чем думать, а если впереди вечность целая, да не одна, почему бы нет.

— Ну, что до критериев, так я тебе частично уже объяснил. А дальше, ну допусти, что мы ему просто симпатичны чем-то. Вот тебе мы симпатичны?

— Ну, да.

— И ему тоже. Все же этот мир и мы тоже создавали, так что это просто та самая обоюдная любовь, о которой ты тут мечтала пять минут назад.

— Угу, — киваю я. — А что до Ксар-Сохума, это ведь та же самая любовь была, только такая, не в меру страстная. Я лично не в меру страстных любвей не люблю, слишком нервов много тратишь. И все лишь на то, чтобы выяснить, что же вам все же друг от друга надо. Ну вот, как Киол с Врестой. Так что нам бы там вряд ли совсем хорошо жилось бы. Хотя они там забавные. И Касавь, и БС, и Геп даже, хоть и сволочь.

— Да не сволочь он, просто такой. Отстраненный. У него работа, ему встречать и провожать нужно, а не нас любить, — за Гепа Лянхаб, похоже, готова, если не убить, то побить точно.

— Ну да, — Терикаси что-то совсем мрачнеет. — Ты еще скажи, у Киола работа такая, гадости нам делать периодические.

— Не, у Киола просто какой-то суперплан в голове зреет, я это чувствую, — говорю я. — У него этих планов всегда гора целая, а тут видимо он хоть один из них до конца продумал и решил в жизнь воплотить. Ну, а какие ж Киоловские планы без нас обходятся.

— Ага, — хмыкает Лянхаб. — Он решил, что мы зажрались и недостаточно сильно восхищаемся собственным бытием. Кино вон захотели. Вот и решил показать, как еще бывает.

— Ну да, и богов этих в Галлавале он сам убивает, точно, — говорит Терикаси.

— А почему бы и нет, с него станется.

— Да ладно, что вы бедного Киолушку опять загнобили. Он же все-таки даже не совсем божество. Так, прораб, по сути дела. Просто миру прораб понадобился, вот его и взяли. Могло быть хуже.

— Не уверен я что-то, что могло быть хуже, чем сейчас.

Тут в дверь купе стучит кто-то. Ну, не кто-то, разумеется, а Ронах, больше-то в поезде никого и нет. Мы, конечно, говорим, чтобы входили.

— Я услышала, вы тут так разговариваете весело, вот, решила присоединиться, а то что-то тоскливо совсем, — говорит Ронах, скромно присаживаясь на полку рядом с Терикаси.

— Весело? Да мы тут, можно сказать, мировой скорби предаемся, — говорю я. — Настолько предаемся, что даже водку не пьем.

— Вы бы покатались с мое в Галлавал, вам бы такие разговоры верхом веселости показались, — печально говорит Ронах.

А Терикаси, кажется, уже начал к своему новому состоянию привыкать, потому что смотрит на Ронах он с явно возрастающим интересом.

А ей, видимо, просто на судьбу пожаловаться некому, вот она к нам и пришла.

— Ведь я же не мертвое совсем божество, иначе меня бы Галлавал не выпустил. Так, полумертвое. Так что я чувствую, что мне хреново, но сделать с этим ничего не могу. Так и мотаюсь. А с мертвыми богами вообще говорить не о чем, они только водку глушат, да на жизнь жалуются.

— Мы вас прекрасно понимаем, — говорит Терикаси и с сочувствием на Ронах смотрит. То есть, пытается изобразить сочувствие, а смотрит с чем-то совсем другим. Ну, я-то только радуюсь, значит, все не так плохо, как нам поначалу казалось.

— Да да, нас вот тоже полуумертвили, чтобы мы это задание выполнить могли. Так что мы, можно сказать, собратья по несчастью, — Лянхаб тоже решила пожаловаться на жизнь.

Остаток вечера прошел в обсуждении того, как плохо быть полумертвым. Обсуждение оживлялось попытками Терикаси обратить на себя внимание Ронах, не совсем, надо отметить, безуспешными. Она целый один раз ему улыбнулась. Мы с Лянхаб даже в тамбур покурить ушли, в рамках ностальгии, и чтобы дать людям пообщаться. Но дальше улыбки дело как-то никуда не пошло.

Наконец мы все захотели спать, позаваливались по своим полкам и попросили Ронах нас за час до приезда разбудить, чтобы успеть хоть как-то к приезду в Галлавал подготовиться. Потому что спать мы тоже можем очень долго. Ронах покивала, напоследок взглянула на Терикаси и ушла куда-то в свои апартаменты.

Спалось мне как-то не очень хорошо, посреди привычно радужных снов возникали какие-то непонятные фигуры и говорили какие-то плохоразличимые, но явно печальные вещи, потом исчезали, и сновидения продолжались, как обычно. Так что утром я проснулась мрачная и злая, как и все остальные впрочем. Добросовестная Ронах посмотрела на наши заспанные лица и решила ретироваться, видимо, мертвые божества или живые, а все с утра одинаково омерзительны.

— И вот это стало быть, подгаллавалье, епть? — Лянхаб смотрит в окно, за которым постоянно мелькает что-то очень темное и депрессивное, разных форм.

— А ты что думала, тебя тут клоуны с шариками вдоль рельсов развлекать будут, — огрызается Терикаси.

— Не надо, вот клоунов только не надо, я их с детства не люблю, — вздрагиваю я.

Ронах поинтересовалась, не будем ли мы чай, я покачала головой, быстренько наколдовала френч-пресс с кипятком и кенийским кофе, чтобы особо внимания не привлекать, и мы продолжили процесс подъезжания к Галлавалу.

— Не понимаю, зачем тут такое количество этих омерзительных домов, — задумчиво говорит Терикаси, тоже глядя в окно. — У нас столько богов во всем мире не наберется, чтобы их заселить. В ближайшие несколько сотен вечностей.

— Это для создания атмосферы, — предполагаю я. — Мрачные трущобы мегаполисов и прочая стандартная атрибутика. Чтобы пить адекватно обстановке. А то представляешь, ты сидишь в мерзком гадюшнике, пьешь мерзкую водку, а вокруг солнышко светит, птички щебечут и картинки, одна пасторальнее другой.

Тут ведь совсем плохо может стать.

— Ну да, наверное. Нет, сил моих больше никаких нет на это все любоваться, — Терикаси отвернулся от окна.

— И то верно, налюбуешься еще. Вряд ли мы приедем и первый, кто попадется нам на вокзале, будет убийца, тудыть, — Лянхаб опять начала ругаться, не знаю только, то ли это признак хороший, то ли просто настроение утреннее.

— А хорошо бы…, - мечтательно говорю я. — Подойдет, ручки протянет, отвезите, скажет, меня к вашему главному, устал я маньячествовать. Красота же…

— Мечтай. Нам скорее по кабакам придется ходить каждый вечер, вытаскивать божеств из салатов и спрашивать «А вы не маньяк ли, случайно?». Эффект неожиданности, может и сработает, — говорит Терикаси.

— Ладно, разберемся, жизнь-то в любом случае хоть немного да налаживается. По крайней мере тоска уже не такая беспросветная, как вчера. Все радость, знаете ли. Только сны вот, — и я рассказываю про странные фигуры. Не потому что это кому-то интересно будет, понятно же, сны пересказать так, чтобы все поняли, каково оно было, пока никому не удавалось. Просто одна из приятных особенностей этого мира состоит в том, что сны себе можно заказывать. Не во всех деталях, но так, тематику хотя бы. И если в тобой заказанные сны какие-то мрачные дядьки заявляются, значит, что-то не так.

— Во, точно, у меня такая же фигня была, — говорит Лянхаб. — Я еще думаю, что-то ведь не так. Но вспомнить не могла. А теперь да, помню — странные и говорят что-то непонятное.

— Конечно, — тут же встревает Терикаси. — Человеческие фигуры среди резиновых утят странно выглядят.

— Да хватит уже про утят-то, — взвивается Лянхаб. — Иззавидовался, что ли, бедненький. Так я тебе на день рождения подарю. Они у меня в Киоловской сумке все равно раз в неделю находятся. Так что на всех хватит.

— Не сердись, Лянхабушка, я пытаюсь обстановку разрядить. Потому что дядьки, особенно коллективные, а мне они тоже снились, это неприятно. С другой стороны, дядьки может нам что хорошее сказать хотят, рассказать, кто убийца, к примеру.

— Угу, еще бы их понять хоть как-нибудь можно было. А то только всю картинку портят, итить их налево, — бурчит Лянхаб.

— Ну, может со временем и станут попонятнее, кто знает, — у меня почему-то странный приступ оптимизма. Мне почему-то кажется, что все у нас будет хорошо. Хотя пейзаж за окном не располагает совершенно. Мы, судя по всему, уже подъезжаем, и

мрачных домов становится все больше и больше. И небо мерзко-серое, и темно как-то, как зимой в пять вечера.

Наконец поезд заскрипел и остановился. Мы встали, собрали шмотки, которых, впрочем, совсем мало было, и пошли выходить. Терикаси трогательно попрощался с Ронах, обещал ей, что на обратном пути мы непременно еще побеседуем, и мы вывалились на перрон. Опять. То есть Терикаси-то не опять, а вот у нас с Лянхаб тут же дежа вю случилась. Только что Геп по перрону не скачет. И вообще никто не скачет. Пустота и тишина. На перроне стоит одинокая лавка, на лавке сидит кто-то тоже весьма одинокий.

— А это, судя по всему, наша делегация, не иначе, — говорит Лянхаб, показывая на скамейку.

— Ну да, а шарики и транспаранты он просто спрятал, чтобы не радовать нас раньше времени, — говорю я, попутно выискивая в карманах сигареты.

4

Сидящий на скамейке, и правда нас встречающим оказался. Когда мы подошли к скамейке, изобразив полную убитость, она встал и начал вещать хорошо поставленным голосом:

Добро пожаловать в Галлавал, меня зовут Аганезбед, я исполняю тут обязанности встречающего. Давайте выпьем, — и достает откуда-то из глубин пальто бутылку водки. Делать нечего, пришлось выпить, чтобы не размаскировываться. Отвратительное все-таки пойло. Мы с Лянхаб долго морщились, только Терикаси сделал вид, что ему это дело привычное.

— Так вот, — продолжил свою речь Аганезбед, после водки ему полегчало, видимо. — Жить тут можно где угодно, в принципе. Нас тут сейчас божеств пятьдесят всего, а домов вон сколько. Но лучше ближе к кабакам, это я вам от себя советую. Во-первых, возвращаться всегда будет проще, а во-вторых, лучше все же ближе к народу. У нас тут божеств кто-то убивает. Не то, чтобы это всех сильно расстраивало, но неприятно. Один вечер пьешь с кем-нибудь, а потом, оп, и нет его.

— Убивают? Да что вы? — почти искренне ужаснулась Лянхаб. — И кто же?

— Если бы мы знали. Да и какая разница. Это нам, тут остающимся, обидно, что собутыльники пропадают, а им так даже лучше, наверное.

— Ну да, ну да, — тут же согласилась Лянхаб, чтобы не выпадать из образа.

— Ладно, давайте еще по одной и идите заселяться, у меня

кроме вас сегодня приезжающих нет. Вас и так-то для здесь много.

— А вот скажи, Аганезбед, — Терикаси все-таки закашлялся. — Куда лучше бухать ходить?

— Ну, — задумался Аганезбед. — Я, вообще, в Оггльо хожу, там поприятнее. Но там завсегдатаи, ну, те, кто здесь дольше двух вечностей. Так что вам-то может лучше в Гориип, там как-то пободрее, что ли, попривычней. Я вот как приехал, туда ходил, все-таки похоже на предыдущую жизнь. Ну, то есть на жизнь, в принципе, — тут Аганезбед как-то совсем загрустил. Потом вспомнил что-то. — Да, вот еще. У нас не принято спрашивать, божеством чего ты был, пока не умер. Захочет кто-нибудь, сам расскажет, — с этими словами он развернулся и к вокзалу побрел. А мы за ним.

Вокзал в Галлавале такой, что замок с привидениями может детской площадкой показаться. Какие-то горгульи на всех углах, сами углы темные и что-то в них неприятно шевелится. Аганезбед на это никакого внимания не обратил, как чесал вперед, так и чешет, а мы от каждой тени шарахаемся. Наконец, вышли на улицу, но там как-то не сильно лучше оказалось.

— Точно тебе говорю, — шепчет мне Лянхаб на ухо. — Самоубийства это, етить. Странно, что тут еще хоть кто-то остался, вот это да, странно.

Я только киваю, потому что и меня эта мысль не покидает. Вокруг какие-то тусклые пятиэтажки и девятиэтажки, темно, синие фонари, и ни одного огонька в окнах.

— В общем, если по этой улице идти, там как раз Гориип. Походите по улице, присмотрите себе что-нибудь. А потом, хотите, приходите к нам в Оггльо. А я пойду уже, меня ждут, — и Аганезбед побрел по улице.

Мы стоим, смотрим друг на друга, что говорить — непонятно.

— Да, — наконец изрел Терикаси. — Депрессняк с гостеприимством так себе сочетается.

— Угу, — соглашаюсь я. — Особенно хронический.

— А чего, может им интересно, новые божества все же, — говорит Лянхаб.

— Ничего им уже давным-давно не интересно, — отвечает Терикаси. — Кроме их вот этих пьянок. Им даже вспоминать о том, чем они были, не хочется. Чтобы, не дай кто-нибудь, снова интересно не стало.

— Мрачные вещи говоришь, Терикаси. Под стать городу, — я мечтаю только об одном, об уютной кофейне, где есть капучино с правильной пенкой и железные пепельницы. — Пойдем лучше жилище искать, нечего нам в здешнее уныние проваливаться.

— Да, да, — подхватывает Лянхаб. — А то застрянем тут навсегда, етить, и ты больше не увидишь свою ненаглядную Ронах.

Услышав имя Ронах, Терикаси подобрался как-то и зашагал вперед, более или менее целенаправленно.

Наконец мы дошли до одноэтажного здания с железной дверью, грязными витринами и надписью «Гориип» справа от двери. В витринах виднелись всяческие мрачные личности, общаться с которыми не возникало желания вообще.

— А придется, — Терикаси явно одну со мной мысль думает. — Вот сейчас заселимся и пойдем общаться.

— Брр, — Лянхаб передернуло. — По сравнению с ними даже Кицни образчиком оптимизма покажется.

— Ага, дорогая, все познается в сравнении, — развеселился Терикаси. — На свадьбу-то позовешь? Я подопечных захвачу, весело будет.

— Иди к черту, друг мой. У нас даже божества свадеб нет.

— И хорошо, — говорю я — Только давайте это все же в доме обсудим. Очень кофе хочется. Мне без него некомфортно.

— Наркоманка, — констатировал Терикаси. — Ладно, пойдем селиться.

Мы выбрали себе девятиэтажку за пару домов от Гориипа, после долгих споров сошлись на седьмом этаже, и теперь с очень кислыми минами свои новые владения изучали.

— Мда, ну хотя бы три комнаты, — Терикаси пытается оптимистом побыть.

— Угу, а мебель-то какая шикарная, етить, — восхитилась Лянхаб, разглядывая раскладные диваны и продавленные кресла.

— Черт, и почему я не божество мебели, — я уселась в одно из кресел и поняла, что сидеть в нем неудобно совсем.

— А чего вы хотели, дорогие? — Терикаси продолжает бодриться — Они сюда приходят, падают, спят, встают и похмеляться идут. Им комфорт ни к чему.

— А я-то думала, что у нас мир идеальный, — грустно сказала я, продолжая ерзать в кресле.

— Конечно, идеальный, — убежденно заявил Терикаси. — И ничего лишнего, прошу заметить.

Лянхаб взгромоздилась на диван, который очень жалобно скрипнул, и попыталась в себя уйти.

— Э, милые, не расслабляться, — Терикаси жажда деятельности обуяла, видимо, он новую встречу с Ронах предвкушает. — Надо все-таки понять, как нам этого маньяка излавливать.

— Вот мне, кстати, чего странно, епть — Лянхаб неожиданно

вернулась из себя. — Если все живут так близко и ходят так вместе, как он вообще убивать умудряется.

— Ну, тут все просто, либо в квартирах, либо, что вероятнее, они все домой в таком состоянии идут, что мир кончиться может, они все равно не заметят, — я сижу и пытаюсь наколдовать хотя бы кофейный аппарат, с помощью которого можно пенку для капучино взбить.

— Сейчас кофе попьем и пойдем с местным населением общаться, слово за слово что-нибудь да выплывет, надо же им говорить о чем-то, — Терикаси стоит у меня над душой и активно предвкушает капучино.

— Готово, вроде. — Аппарат получился вполне себе ничего, маленький и с пеновзбивалкой, как и хотелось. А дальше это все дело пяти минут, пенку взбить, из молока наколдованного, растрясти ее по чашкам с кофе аккуратно и наслаждаться до полного изнеможения.

— Хотя кофейня была бы лучше, честно говоря.

— Не играла ты в детстве в шпионов, Каф, — сказал Терикаси, схватив чашку.

— Ну да, шпионы. Верблюды идут на хуй, Штирлиц живет этажом выше, — процитировала Лянхаб со своего дивана.

— Это на восьмом, что ли? — невозмутимо поинтересовался Терикаси.

Понятное совершенно дело, что до того, как стать божествами, мы все были людьми. А когда перестали ими быть, мир наш этот, по доброте душевной, оставил нам все привычки и все воспоминания. Привычки мы используем активно очень, а вот воспоминания того мира — только когда повыпендриваться надо. Больше они тут ни к чему совершенно.

Я с сожалением допиваю капучино, тушу сигарету в металлической пепельнице (просто не смогла себе в этом отказать, наколдовала) и всем своим видом показываю, что труд, оборона и прочие общественно-полезные вещи теперь мне вполне по плечам, обоим.

Мы опять сделали лица подепрессивнее и поплелись в «Гориип». Когда мы наконец справились с дверью, которая весила как небольшое стадо слонов, и вошли, внимания на нас, несмотря на все Лянхабовские матюги и наши почти матюги, никто не обратил совершенно. В зале сидело человек двадцать божеств, все уже не особо трезвые и очень унылые. У меня от их настроения аж голова начала болеть. Хотя божествам такого вроде не полагается. Но в Галлавале все по-другому, видимо. Иначе как бы местные жители от похмелья мучились.

Мы уселись за свободный столик, закурили и стали смотреть

по сторонам. Увиденное впечатляло. Потому что беспросветность в глазах сидящих была совершенно бесконечной. При этом они умудрялись как-то весьма живо между собой общаться. И смеяться даже. Хотя от этого смеха хотелось пойти и повеситься на первом фонарном столбе. Прямо у входа.

Вдруг к нам подошло двухметровое божество с длиннющими волосами, собранными в хвост, грохнуло перед нами замызганный талмуд и пробасило:

— Добро пожаловать. Я Гориип, это понятно, наверное. В общем так, драться на улице, спать дома, с жалобами на жизнь ко мне не приставать.

— Э, ну нам тогда три водки, кувшин томатного сока и поесть что-нибудь, — Терикаси абсолютно ошалел от душевности хозяина заведения. Мы с Лянхаб просто очень красиво открыли рты и проводили Гориипа взглядом.

— Нет, его тоже можно понять, он тут единственный живой, не считая второго хозяина. Ему это все наверное уже совсем осточертело.

— Угу, тудыть, можно. Тут, Каф, все понять можно. Только совершенно не понятно, на хрена это делать. В конце концов, мы не понимать сюда приехали, а расследовать. Так что не будем в сантименты влезать, — Лянхаб стала какой-то совсем суровой, видимо, от всего увиденного.

— А я вот вернусь в Ксар-Сохум и отрежу Киолу то, с помощью чего люди детей делают, — мечтательно сказал Терикаси.

— Что ж вы злые-то такие, а? Ну понятно, что не сахар здесь, и даже не фруктоза, но если мы крыситься станем, нам что, полегчает резко? — я тоже начинаю потихоньку из себя выходить.

Гориип поставил перед нами наш заказ, посмотрел на нас странно и ушел за свою стойку. На стойке обнаружилось огромное объявление «Разговаривать с барменом за жизнь строго запрещено.»

— Ты права, Каф, пожалуй что. Давайте, что ли, приобщаться к местной культуре.

Мы смешали себе по Блади Мэри, выпили, поели принесенной еды, опознать которую не удалось, и стали слушать и смотреть, в надежде, что к нам сейчас хоть кто-нибудь подойдет познакомиться.

Но божества оказались какими-то абсолютно не желающими общаться. То есть, они смотрели с жалким подобием интереса, но никаких попыток не предпринимали. Пришлось продолжать общаться между собой.

— Слушайте, — говорю я, уже не особо справляясь с

разговаривательными функциями. — Может, нам с Гориипом поговорить, он тут единственное разумное божество, вроде бы.

— Угу, как же. Ты вон, табличку на стойке видела, епта? Мы с ним целых несколько раз поговорим, при таком-то отношении, — Лянхаб изучает томатный сок на дне стакана. — Хотя колоритный такой дядька, и не дурак, вроде.

— Не, с ним говорить точно нельзя, — Терикаси вдруг переходит на шепот. — А вдруг это он убийца. Ему просто осточертела эта пьяная толпа, вот он проблемы своими способами и решает.

— Хотелось бы, кстати, знать, что это за способы такие. Ты вот попробуй убить мало того, что божество, так еще и мертвое, — я начинаю подозрительно коситься в сторону барной стойки. Гориип протирает стаканы и время от времени посматривает в нашу сторону, вызывая у меня еще больше подозрений.

— Или у нас паранойя, — говорит Лянхаб. — Или мы просто пьяные. Или город так действует. Или…не пойти ли нам домой.

— Да, домой — мысль правильная, — Терикаси встает и, пошатываясь, направляется к выходу. Мы, не менее пошатываясь, идем за ним. На лицах сидящих божеств появляется самое настоящее удивление. Видимо, тут не принято в такую рань по домам расходиться.

— Что-то мы не совсем так сделали, — говорю я уже на улице, после очередной борьбы с дверью, которая, с учетом состояния, показалась еще тяжелее.

— Ничего, спишут на то, что мы новенькие, епть — легкомысленное заявляет Лянхаб.

— Может быть. Но завтра придется дольше сидеть, это точно. Как бы это только не пить столько, а то точно все расследование коту под хвост, — Терикаси берет нас под руки, и мы идем по направлению к дому. По примерному направлению.

— Завтра надо будет еще за Гориипом как-то проследить, он и правда какой-то подозрительный, — вспоминаю я.

— Ага, но это все завтра, завтра, — Терикаси явно не терпится до дома добраться. Мне тоже.

Мы завалились в свою квартиру, попадали по диванам и уснули, подтвердив тем самым слова Терикаси о практичности этого мира.

5

Утро второго дня нас ничем особым не встретило. Похмелья у нас, слава кому-нибудь, не случилось, однако, легкая внутренняя

потрепанность ощущалась. Пришлось в себя ударные дозы кофе вливать. Терикаси был как-то нехорошо задумчив, а Лянхаб приобрела некую мечтательность взора, очевидно, Гориип в какую-нибудь часть души ей запал все-таки. Мне на фоне всеобщей деморализации приходилось активную общественную деятельность симулировать. И делать капучино.

— Значится, так. Сегодня мы следим за Гориипом, — говорю я, чтобы хоть как-то вернуть соратников в них же самих. — Сидим почти до закрытия, а потом следим. По этому поводу пьем еще больше томатного сока, и еще меньше водки.

— Если мы будем брать поменьше водки, Гориип поймет, что мы тут не просто так остатки вечностей коротаем, — резонно замечает Терикаси. — Хотя, сегодня мне почему-то кажется, что он тут не при чем, как раз. Просто мы под мертвых богов так себе маскируемся, вот он внимание и обратил.

— Хорошо бы, — Лянхаб явно о чем-то своем думает.

— Да ничего, на самом деле, хорошего. Если это не он, нам нового подозреваемого искать придется. — Я где-то Лянхаб понимаю, не очень приятно, когда тебе потенциальный маньяк-убийца нравится, но с другой стороны, такой удобный вариант был.

— Зато, если он не убийца, с ним посоветоваться можно будет. — Лянхаб, божество необычайной прекрасности, единственная проблема — она существует только в трех режимах: похуистичном (это, как правило), рабочем и в режиме танка (это если ей кто-то очень нравится или чего-то очень хочется). Сейчас у нее совершенно очевидно где-то внутрях включился режим танка.

— Ну, если не он, так может Оггльо, — тем временем Терикаси пытается продемонстрировать нам чудеса дедуктивного мышления, выпивая между делом уже третью чашку кофе.

— Дорогой, а ты не лопнешь случайно? — интересуюсь я, взбивая очередную порцию пенки.

— Нет, не лопну, — спокойно отвечает Терикаси. — Кофе стимулирует мою умственную деятельность. Кому тут еще кроме меня думать. Лянхаб вон, влюбилась, а ты просто кислая какая-то.

— И ничего я не влюбилась, глупости какие, — тут же возразила Лянхаб. — Это ты сам хочешь поскорее свою Ронах увидеть, вот и бегаешь тут как в жопу укушенный, етить.

— О, Лянхабушка обиделась. Значит, точно влюбилась, — реплику про Ронах Терикаси проигнорировал.

— Да ну тебя, — Лянхаб надулась, замолчала и демонстративно повернулась к нам профилем.

— Спалось мне плохо, очень, — я все-таки решилась

рассказать про сны, ведь должен хоть кто-то на это решиться. — Мне опять мрачные дядьки снились, и на этот раз они как-то ближе были. И снова говорили что-то. А мне от этих дядек так жутко становится, что я просыпаюсь. Засыпаю, снова они. И бубнят, сволочи, бубнят, не остановишь. Только все еще не разберешь ничего. Через пару ночей, такими-то темпами, конечно, разберу, но очень уж не хочется, чтобы они совсем близко подбирались.

— Все ясно, — мрачно говорит Терикаси. — Дядьки у нас теперь одни на всех. Я думал все утро — рассказывать или нет. Чтобы не пугать зря. А получается, что и рассказывать ничего не надо. Я вот сегодня ночью возжелал божество своей мечты увидеть. Увидел, только начал к каким-то более-менее активным действиям переходить, а тут они, стоят шагах в пятидесяти и да, бубнят, противно так. А у меня мороз по коже, и уже не до действий.

Лянхаб по-прежнему сидит профилем, но кивает, мол, ей все то же самое снилось.

— Паршиво, — говорю я, и нервно тащу из Киоловского неразменного блока пачку сигарет. — О, смотрите, Мальборо лайтс. Похоже, Киольчику там без нас весьма неплохо живется.

— Вот я и говорю — отрезать, — Терикаси мрачнеет окончательно.

— Ладно, вернемся — отрежем, я уже даже не очень против. Только надо для начала решить, что с дядьками делать.

— Надо попытаться разобраться с ситуацией, пока они не подошли, етить, — Лянхаб все-таки заговорила, видимо, и ее дядьки пробрали до глубины чего-нибудь. — Потому что я жопой чую, если они рядом окажутся, помрем мы, и не знаю, навсегда или так, временно. Но проверять не хотелось бы.

— Это точно. Единственное, чего я не понимаю, что нам с этим убийцей делать, когда мы его найдем? Не убивать же. Мы все равно не умеем. — Мысли про дядек по-прежнему не дают мне покоя, поэтому про все остальное думается не очень хорошо.

— Чего-чего, ничего. Сваливать отсюда к Киоловой матери. И к Киолу. Наше дело — выяснить, а разбирается пусть он. Демиург, блин, великий. — Терикаси начал нервно ходить по комнате.

— Ладно, ты так не нервничай, епта. Найдем — свалим. И правда что, наше дело маленькое, кофейня с краю, и пусть оно все гребется конем, — мы с Лянхаб прекрасно знаем, что такое нервничающий и истерящий Терикаси, и пытаемся этого не допускать совсем. Потому что мы, в отличие от него, с такими состояниями справляться не умеем.

— Слушайте, мне тут вот что подумалось. А если эти самые дядьки и убивают, божеств-то. Ну, то есть, когда они подходят совсем близко, божество и мрет. Судя по ощущениям, такое вполне может быть. Дядьки на роль убийцы подходят куда лучше задолбанного пьяными божествами Гориипа. — мысль эта появилась у меня в голове внезапно, зато уходить оттуда не желала совсем.

— Да, это вполне себе версия, но вот что делать с этими дядьками, вопрос. Мы же не можем приехать к Киолу и заявить, что мертвых божеств, мол, убивают во сне. Он в эти сны все равно не попадет. Ему же сюда нельзя. А у дядек ноги должны откуда-то расти… — Терикаси тоже понравилась эта мысль, он даже ходить по комнате перестал, уселся обратно на диван.

— Откуда, откуда, из жопы. Причем, из той, в которую нас Киолушка ненаглядный засунул, етить, — Лянхаб копается в Киоловской сумке в поисках расчески, поэтому настроение у нее стремительно портится.

— Так, спокойно, — во мне проснулся какой-то в детстве недодушенный Локреш Смолх и начал дедуктировать, прилюдно. — Если это действительно дядьки, значит, Гориипу и Оггльо они сниться не должны. Потому что убивают только мертвых богов. Осталось как-то у этих товарищей выяснить, снятся им странные дядьки или нет.

— А мне вот что интересно, если всем мертвым божествам, или даже не всем, а некоторым, снятся эти самые типы, тудыть их, почему они друг другу об этом не рассказывают. Могли бы додуматься до чего-нибудь, — говорит Лянхаб, по-прежнему роясь в сумке.

— Да все потому же. Потому что этим идиотским мертвым божествам все по фигу. Снятся им дядьки — не снятся. Им ведь и не страшно даже, наверное. Потому что уже все равно. Они мертвые. И вот тот, кто за дядек отвечает, это прекрасно знал. Потому все так и сделал. — Терикаси одним глотком допил четвертую чашку кофе.

— Ну да, ну да, точно. И это, кстати говоря, не отменяет наших подозрений в отношении хозяев местных кабаков, — Лянхаб косится на меня крайне недовольно, но внутренний Локреш Смолх не утихает. — Стало быть, надо за ними все-таки слежку организовать. Они-то как раз все про местных обитателей знают, успели за энное количество вечностей насмотреться.

— Ну, проследим мы за ними, и что дальше, етить, — Лянхаб идея со слежкой явно не нравится. — Ты что, Каф, считаешь, что кто-нибудь из них этих дядек дома в шкафу прячет? И громко по ночам с ними разговаривает. Как мы узнаем, они это или не они?

— Просто других идей нет, Лянхаб. Совсем нет. И вряд ли появятся. А времени у нас крайне мало. Дней пять, никак не больше. Потом дядьки подберутся, и настанет нам ой. Я тут вот что еще подумал, мы же вместе приехали, да? Потому и дядьки нам стали сниться одновременно. А обычно божества сюда поодиночке приезжают, они ведь не так часто умирают-то. Потому и здесь их убивают не всех сразу. Надо выяснить, сколько здесь те, кого убили, прожили. Думаю, что скорее завсегдатаев убили, чем новеньких.

— Ну да, причем, выяснить надо прямо сегодня, все проще плясать будет, если подозрения подтвердятся или не очень. Будем хотя бы знать, сколько у нас времени осталось. И все-таки предлагаю последить за Гориипом, хотя бы для проформы. Кто знает, может и правда в шкафу.

— Ну тогда, етить, надо отправляться в заведение, все нормальные дохленькие божества уже там, наверное, похмеляются, — режим танка у Лянхаб продолжает работать, несмотря ни на что.

— Да вряд ли. Мы же вчера раньше всех ушли. И, судя по их лицам офигевшим, намного раньше. Так что они все спят еще, наверное, — Терикаси прекрасно понимает, чего Лянхаб добивается, но иногда у него случаются приступы вредности. — Я вот чего думаю, давайте до Оггльо доберемся, посмотрим на тамошнего хозяина. Вдруг у него плакат на всю спину «Я убийца». Ну, или пара скелетов за барной стойкой. А потом вернемся в Гориип, будем до закрытия пьянство изображать.

— Неплохая идея, пожалуй что, — задумчиво говорю я. — Может там, кстати, Аганезбед будет. Выясним у него, кто там поумирал и когда. Узнать это у местных монополистов вряд ли удастся, уж больно хорошо они к нам относятся. — я начинаю собираться, то есть кладу в карман сигареты и зажигалку.

— Ладно, черт с вами, пошли в Оггльо, хотя это все равно дурацкая затея, на мой взгляд, — расческу Лянхаб так и не нашла, может, потому на немедленном походе в Гориип и не стала настаивать.

Мы вышли из дома и направились по улице, ведущей к вокзалу, где-то в ее районе должен был находится второй и последний на весь Галлавал кабак.

Утро в Галлавале мало чем отличалось от дня, вечера и ночи. Только что фонари не горели, и чуть-чуть посветлее было. А Терикаси оказался прав. Сквозь стеклянную витрину мы разглядели в Гориипе только пустые столы и сидящего за стойкой хозяина, который в ожидании клиентуры что-то читал.

— О, я знаю, — заговорщицки прошептал Терикаси. — Это

книжка «Как вызвать жутких дядек для убийства мертвых богов. Пособие для начинающих».

— Какое у тебя, милый, зрение отличное, однако, — Лянхаб печально посмотрела на Гориипа, когда мы проходили мимо.

— Это не зрение, это интуиция, — гордо заявил Терикаси. — Зрение тут скорее тебе нужно. Хотя я тебя понимаю. На фоне здешних депрессирующих алкоголиков любое другое божество просто верхом совершенства покажется.

— Может, и так, — неожиданно согласилась Лянхаб.

Оггльо находился минутах в пяти ходьбы от Гориипа, и мало чем от него отличался. Разве что, вместо витрин там была открытая веранда.

— О, какая прелесть, — говорю я. — Можно сидеть и депрессивно любоваться на звезды.

— Угу, — соглашается Терикаси. — Водка, опять же, на свежем воздухе потребляется лучше. Надо будет завтра сюда перебраться.

Мы зашли внутрь, и тут на нас свалился очередной, не очень даже культурный шок. За стойкой в Оггльо сидел Гориип. То есть почти Гориип. Такой же большой и красивый, с таким же длинными волосами, и таким же выражением лица. Вот только Гориип был брюнетом, а этот — блондин. Когда первый шок прошел, мы с Терикаси одновременно посмотрели на Лянхаб. Лицо у нее в тот момент было неописуемое совершенно.

6

— А…, - сказал наконец Терикаси.

— Нет, не брат, — привычно ответил Оггльо. — Мы просто типовые. Киол особо не мучился, когда Галлавал придумывал, потому мы вот такие и получились.

— Ага, — на большее Терикаси не хватило.

Я смотрю на него многозначительно, на что он только плечами пожимает. Мол, ничего лишнего, как и было заявлено.

— А вы тут недавно, да? — этот хозяин явно порадушнее своего двойника оказался. — Тут вчера Аганезбед распинался, под утро уже. Мол, чего это они сразу троих-то прислали. И правда, чего это они…

— Совпадение, — быстро соврал Терикаси. — Случается раз в тридцать вечностей. Умирают три бога. Причем, самых лучших.

— Ну да, — ухмыльнулся Оггльо. — Вижу.

— А что тут еще интересного, кроме нашего появления? — спрашивает Лянхаб, которую, совершенно очевидно, мучает проблема выбора.

— Да что в Галлавале может быть интересного, вы прямо как нездешние, — отвечает Оггльо, наливая нам пива. — Пьют, ноют и идут отсыпаться. И так каждый вечер. А, ну да, убивают их еще иногда. Ну, так в этом точно ничего интересного нет. Только если нам с Гориипом радость.

Мы опять с Терикаси переглядываемся. Переглянуться с Лянхаб не получается, потому что она в этот момент на Оггльо смотрит.

— Да нет, не злые мы, — говорит Оггльо, опережая наши комментарии. — Просто так всем лучше, наверное. Вот вам здесь хорошо?

— Да нет, не особо, — отвечаю, искренне так.

— Вот-вот, а чем дальше, тем хуже. И вам, и нам. Ладно, вот ваше пиво. Я и так с вами слишком долго разговариваю, не в моих это правилах. — Оггльо поставил на стойку три кружки и куда-то демонстративно отвернулся.

Мы уселись на веранде и снова задумались. Это занятие потихоньку начинало надоедать, надо заметить.

— Нет, это точно не они, — заявила Лянхаб, изучая пиво в своей кружке. — Если бы они, так не стали бы распинаться про то, как их это все радует. Вот.

— Может и не они. А может, наоборот, они, — мне пиво изучать не хочется совершенно, ровно, как и пить. Меня вообще спиртосодержание этого места утомляет. — Может, они просто поняли, что к чему, вот и решили таким образом эти самые подозрения отвести.

— Ну да, и вообще, ведут они себя как-то странно. — Терикаси курит куда-то в хронически вечернее небо и светлеет ликом с каждой затяжкой.

— Странно, да, как же, — раздраженно фыркает Лянхаб, делая таки глоток пива. — А мы, значит, не странно себя ведем, ептить. Шляемся тут по утрам, трезвые, радостные, в картину местного бытия не вписываемся. Может, Оглльо и Гориипу просто любопытно стало. Хоть какое-то разнообразие на местном фоне.

— Вот и выясним. В ближайшее же время. Прямо таки сегодня, я думаю, — Терикаси почему-то стал спокоен, как целый прайд дохлых львов. Ощущение такое, что он-то уже все знает. Хотя совершенно непонятно, откуда. — Сегодня проследим за Гориипом, и все узнаем. Так что оставьте свои разговоры в пользу мертвых, барышни, наслаждайтесь. В следующий раз мы сюда попадем только когда умрем по-настоящему. И хотелось бы, чтобы в этот самый, следующий раз, отвратительных дядек у нас во снах уже больше не было.

Я поднимаю кружку с пивом, шепотом провозглашаю тост за

успешность нашего расследования, и мы продолжаем растворяться в местном климате. А так же в местном населении, которое потихоньку начинает подтягиваться. К нам подходит безмерно похмельный Аганезбед, бесцеремонно отхлебывает пива из Терикасиной кружки и сообщает, что сегодня умерло очередное мертвое божество.

— И я по этому поводу собираюсь надраться, — сурово говорит он, продолжая хлебать Терикасино пиво. — Вы со мной или что?

— Мы не знаем, — с одной стороны выпить с Аганезбедом и хоть как-то влезть в контекст очень бы полезно получилось, с другой — нам сегодня нужно торчать в Гориповском кабаке, и за хозяином наблюдать во все органы зрения. — Мы вроде в Гориип собирались. Сюда просто так зашли, пива попить, да посмотреть, как тут.

— А, ну ладно, я тогда пошел за водкой, — Аганезбед, не нашедший в нашем лице потенциальных собутыльников, потерял к нам всякий интерес и побрел ко входу в Оггльо.

— Здоровы они тут пить, епть, — ошарашено сказала Лянхаб, показывая на пустую кружку. — И ведь он еще говорить при этом умудрялся.

— Пойдемте отсюда, что ли, — сказал Терикаси, грустно глядя на кружку. — Все равно пива я уже не попил. А от планов отказываться нельзя, потому что мы потом опять полвечности не сможем решить, что дальше делать. А у нас эта полвечность на вес кофе сейчас. Или табака. В общем, нужна и важна.

— Это точно, — соглашаюсь я, докуривая последнюю «Мальборо Лайтс» от щедрот Киоловых. — Пойдемте.

Лянхаб с тоской посмотрела на дверь Оггльо, пытаясь, видимо, разглядеть где-то за ней хозяина заведения, но кивнула при этом достаточно решительно.

Мы совершили очередной откабачно-докабачный променад, встретили по дороге нескольких абсолютно невменяемых божеств, и водрузились за свой вчерашний столик в Гориипе под подозрительным взглядом хозяина.

— Нам как вчера, только томатного сока побольше, — заказал Терикаси, тоже весьма подозрительно глядя на Гориипа.

— Угу, — буркнул тот. — Тут с вами познакомиться хотят. Что странно. Обычно они не хотят. Ничего, — и показывает нам на каких-то божеств, которые тоже сидят за столиком, разумеется, и с неким подобием интереса в нашу сторону поглядывают. Если бы на меня так в Ксю-Дзи-Тсу кто посмотрел, я бы решила, наверное, что божество на меня сильно за что-то обиделось, и сейчас будет бить. А тут вот как, познакомиться хотят.

— Ну что, итить, будем налаживать стало быть, контакты. — Лянхаб изобразила кривую улыбку, нацеленную на заинтересованный столик. — Сейчас вот нам принесут все, и будем налаживать.

— Угу, контакты. — Терикаси тоже кивает мертвым божествам и разводит руками, мол, выпить-то нечего пока. — Близкие, третьего вида. Я всегда догадывался, что синефилия меня погубит. Только никогда не думал, что все настолько буквально случится.

Гориип принес нам заказ, мы намешали себе очередных кровавых Мэри и пошли знакомиться с мертвыми божествами. Дойти до них было не то, чтобы сильно просто, поскольку за остальными столиками божества также присутствовали, и нам пришлось между ними лавировать, стараясь при этом не поливать их божественной томатно-спиртовой влагой.

— Аганезбед сказал, вас всех вместе прислали, — с ходу заявил мертвый бог, который, видимо, был душой местной не особо душевной компании. — Киол, что ли, геноцид решил устроить?

— Ну, что-то вроде того, — Терикаси явно вжился в роль объясняющего, и врать начал просто с ходу, не особо задумываясь. — У нас же война с судьбами была, пару вечностей тому. Вот всех, кто плохо воевал, и репрессировали. Ну, он сказал, конечно, что мол, время вышло, и миссии свои всяческие мы уже отвыполняли, можно и на покой. Но понятно, что все совершенно не поэтому.

— Вот сволочь, — покачал головой наш пока что единственный собеседник. — Ладно, выпьем, что ли. Не все же вам тут втроем обретаться.

Мы выпили. Потом помолчали. Потом налили и выпили еще. После этого остальные божества вылезли из глубин местной депрессии и начали общаться потихоньку.

— Я, собственно, Кеилат, бывшее божество всяческого хорошего алкоголя. Странно, что мы с вами в Ксю-Дзи-Тсу не пересекались, — продолжил светскую беседу общительный мертвый бог. — Я там таких дел воротил. Наверное, потому и умер. И ведь даже не скажешь, что убили. Сам помер тихо-мирно, после очередного дебоша. И тут же на поезд и сюда. А тут хоть и алкоголь, но кто ж его хорошим назовет. Даже если трубы горят совсем.

— Да мы все больше по кофе, там-то. Это тут уже совсем другого захотелось, — объясняю я, разглядывая местное общество. Производит оно, разумеется, по большей части весьма печальное впечатление, что понятно. Кеилат из них еще самый

бодрый.

— Да вы не рассказывайте, не обязательно, — вмешивается еще один бог. Смутно знакомый почему-то. Видимо, где-то в Ксю-Дзи-Тсу мы все-таки пересекались. Или в Ксар-Сохуме. — Понятно, что тяжело пока, от прошлой-то жизни отвыкать. То есть, от жизни, в принципе. Вот даже мы никак не привыкнем. Хотя не первую уже вечность тут.

— Ну да, итить, — соглашается Лянхаб, оглядывая стол в поисках сигареты, которую можно стрельнуть. В блок неразменный лезть не хочется, не надо этим божествам знать, что магия тут работать умеет. — Вот ведь, живешь, никого не трогаешь, работу даже свою выполняешь, в промежутках между живешь. А приходит время помирать, и никого это не волнует совершенно.

— Точно, точно.

Лянхаб очень хорошо местное настроение уловила, видимо. Все боги тут же кивать начали, очень понимающе. А тот, который согласился, так и вообще погрустнел несусветно. — И никто не спросит даже, доделал ты работу или нет. Умирай и все тут. Я вот у себя в городе хотел каналов сделать. Чтобы как в Венеции. Только с водой чистой, и без гондольеров. Пяток уже сделал даже. И тут нате получите. Садись и поезжай. И, что ужасно, когда умираешь, тебе совсем все равно становится, сделал ты или не сделал. Как и тем, кто решил.

— Угу, — Терикаси успел сходить за наш столик и притащить оттуда томатного сока. Водки и на этом столе было в изобилии. — У меня вот в Ксю-Дзи-Тсу так вообще подопечные остались. И что там с ними теперь будет, непонятно. Они ж, если без присмотра, весь город на уши поставить могут.

— А это уже проблемы Киола, — злорадно сказал Кеилат. — Пусть он теперь с ними разбирается. Сам тебя сюда отправил, сам и виноват.

Я толкаю Лянхаб в бок, мы с ней извиняемся и выходим на улицу. Я тут же лезу в свой неразменный блок, достаю оттуда пачку «Золотой Явы» на этот раз, и мы долго курим, отдыхая от Гориповых внутренностей. Терикаси, надо думать, какое-то время без нас продержится. Что делать и говорить, он уже понял.

— По-моему, они нам ни черта ничем не помогут, етить, — говорит Лянхаб. — Они и правда что, ноют беспрестанно, и, видимо, всегда об одном и том же. И даже непонятно, как бы разговор в нужное русло направить.

— А мне вот что интересно, почему даже божествам всегда враги надобятся? — задумчиво спрашиваю я, глядя сквозь витрину на Терикаси, который, видимо, в подробностях

рассказывает, почему ему подопечных в одиночестве оставлять не стоило.

— Ну, Каф, это ж мертвые божества. А мертвые божества мало чем от людей отличаются. Они ж смысл жизни теряют, Киол говорил. Если смысла жизни нет, тогда только и остается, что врагов искать. Хотя неприятно конечно, и Киол небось, скоро от икоты помрет.

— Ну уж нет, если он помрет, и сам тут окажется, кто ж нас расколдовывать тогда будет. Пошли обратно. Делать что-то с нужным руслом.

Вернувшись за столик, я с удивлением обнаружила там нового бога, при взгляде на которого мне очень захотелось пополнить ряды Терикаси и Лянхаб. Ну то есть, если не влюбиться, так хотя бы серьезно об этом подумать. Потому что из всех воспоминаний, которые нам предыдущий мир оставляет, воспоминания обо всяческих любовях самые почему-то яркие. И если увидишь хоть что-то похожее, тут же ностальгия грызть начинает. А тут еще и двойная. Мало того, что по позапрошлой жизни, когда все это случалось, так еще и по прошлой, когда все это мало волновало, потому как смысл жизни был. Другой совсем.

Лянхаб с Терикаси мою реакцию явно заметили, потому что Лянхаб мне тут же Блади Мэри намешала, а Терикаси просто ухмыльнулся и сказал: — А это Танжи.

— Божество сигарет, экс, — кивнул Танжи, скептично глядя на мою пачку «Золотой Явы».

Я тоже киваю, представляюсь и цежу Блади Мэри, попутно объясняя себе, что очень скоро нас тут не будет, и если появимся мы здесь еще когда-то, то очень нескоро, и кто знает, будет ли Танжи еще здесь, и не доберутся ли до него дядьки из снов, а даже если нет, это все равно город мертвых богов, а потому никому и ни с кем тут ничего не светит совершенно.

Весь вечер и ночь мы провели, выслушивая бесконечные рассказы Кеилата о его подвигах в Ксю-Дзи-Тсу, о некоторых из них нам еще Киол рассказывал, был он при этом сильно расстроен, помнится. Остальные божества тоже иногда что-то из своей прошлой жизни вспоминали, хотя все больше просто печалились, и кляли обе судьбы и нашего общего прораба, который все именно так устроил. Танжи время от времени милостиво жертвовал мне свой «Галуаз», и по большей части молчал, глядя куда-то поверх всех нас в пустоту. Про убийства так никто и не заговорил. То ли мертвых богов это и правда не волнует совершенно, то ли страшно им было говорить об этом. Я так и не поняла. Терикаси с Лянхаб, видимо, тоже. Мы только переглядывались время от времени с одной и той же мыслью,

видимо. О том, когда все это, наконец, придет к своему логическому завершению.

Боги начали разбредаться уже только под какое-то местное утро. Зато совершенно синхронно. Мы сделали вид, что ходить можем только с очень большим трудом, выползли на улицу и, завернув за угол, стали ждать Гориипа.

— Это ужасно, — высказался наконец Терикаси. — Надо очень быстро узнать, кто тут всех убивает….

— Угу, и сказать ему большое спасибо, епть, — перебила его Лянхаб. — Доброе ж дело делает. А в Оггльо все еще хуже, что ли?

— Да нет, там-то лучше, наверное. Может, им за давностью лет ныть надоедает. Чуть-чуть хотя бы? — предположила я.

— А почему тогда Аганезбед сказал, что тут лучше? — удивилась Лянхаб.

— Чтобы мы туда не приходили и им не мешали. Я так думаю.

— Да им же вроде все равно должно быть?

— Ну, видимо, не так все равно, как нам казалось.

— Тсс, — прошипел вдруг Терикаси, выглянув из-за угла. — Гориип выходит.

Гориип и правда вышел, дверь закрыл и направился в сторону Оглльо.

— Я так и думал почему-то, — прошептал Терикаси. — Ладно, пошли за ним.

Мы пошли за Гориипом, стараясь особо на глаза ему не попадаться, но, на тот случай, если попадемся, периодически начинали пошатываться и изображать ногами странные фигуры.

В какой-то момент мы поняли, что улица, по которой идет Гориип, уже не совсем та, которая ведет к Оглльо. А еще мы поняли, что за нами тоже кто-то идет. Терикаси перестал спотыкаться, обернулся и дернул меня за рукав. Шел за нами, оказывается, Оггльо, и вид у него был какой-то не очень радостный. Да и у Гориипа, который развернулся и теперь смотрел на нас, тоже.

— Ну что, — сказал он, подойдя к нам. — Давайте разбираться, что ли.

— Конспираторы, блин, — хмыкнул Оглльо.

7

— Бить, значит, будете? — поинтересовался Терикаси, снова почему-то в небо уставившись.

— Не, зачем бить, — весело ответил Оггльо — Убивать. Чего

мелочиться-то.

— Ух ты, удобно как, — говорю я, закуривая припрятанный Галуаз, — Даже ехать не придется никуда.

— А вот интересно, дядьки у кого из вас в шкафу хранятся? — вдруг радостно спросила Лянхаб.

— Дядьки? — ошарашенно переспросил Гориип, который уже было что-то серьезное говорить начал.

— Дядьки-то…у обоих конечно, — ответил Оггльо, улыбаясь Лянхаб. — Складируем штабелями, по пять дядек в штабеле, как и положено.

— Ладно, — Гориип раздумал, видимо, свое серьезное говорить и даже попробовал улыбнуться. У него это, правда, несколько хуже получилось, чем у его двойника. С непривычки, видимо. — Пойдемте лучше к нам, господа Штирлицы, расскажете, что к чему, чтобы нам больше по утрам в казаки-разбойники не играть.

Гориип с Оггльо жили в огромной четырехкомнатной квартире, которая совершенно непонятно, как в типовой девятиэтажке уместилась. Может, им ее Киол за вредность наколдовал. Или сами они. Без колдовства в любом случае не обошлось. И это как-то успокаивало, значит, мне с моими кофейными фокусами ничего особо страшного не грозит.

— Ну, располагайтесь, что ли, — Оглльо кивнул на диван, Гориип тем временем ретировался куда-то в район кухни. Я представила себе, как он с каменным своим лицом чай заваривает и засохшие вафли в вазочку вываливает, и начала ржать, отмахиваясь от всех вопросительных взглядов.

— Напряжение сказывается, — попытался объяснить Терикаси, который в одиночестве расселся практически по всему дивану. — Слушай, Каф, как довеселишься, может, кофейку организуешь. — Терикаси в любом месте этого мира умудряется себя как дома чувствовать. Невзирая ни на что. Он из-за специфики работы слишком хорошо понимает, что всяким моментом спокойным надо наслаждаться, пока момент этот не кончился.

— А что, есть кофе? — Оггльо так обрадовался, что даже секунд на пять отвлекся от изучения Лянхаб. Изучал он ее непрерывно и с тех пор, как мы совместно решили, что убивать друг друга не будем все-таки.

— Ну, можно попытаться, — говорю, закрываю глаза, нахожу еще одну хорошую, но в том мире исчезнувшую кофейню, изучаю лица мальчиков-девочек, тех, которые там сидят и тех, которые работают, и уже собираюсь перетаскивать в этот мир рецепт тамошнего мега-капучино, но в этот момент раздается жуткий

грохот, и посреди комнаты, неожиданно, для меня даже, приземляется целый деревянный кабинет из той самой кофейни, на шестерых. А на столе стоят огромные цветные чашки с мега-капучиной, а еще корица и шоколад, кому чего захочется.

— Как-то тут у вас все это странно работает, — говорю я, изучая творение не своих рук.

— Да ладно, — отвечает Оггльо, усаживаясь за стол и подвигая к себе фиолетовую чашку. — Работает, и слава нам. Я со времен предыдущего воплощения кофе не пил. Уже и не помню даже, сколько вечностей назад это было.

— Какого предыдущего воплощения? — я тоже располагаюсь за столом и забираю себе желтую кружку. — Когда мы в этом мире появлялись, нам ничего про воплощения не говорили. И потом тоже.

— Киол вам очень много чего не говорит, я так понимаю. Ну, он прав где-то. Ведь вряд ли вы так хорошо все свои работы выполнять будете, если не убедить вас, что мир этот прекрасен до отвращения. — Это Гориип вернулся из кухни, к счастью, без вафель.

— Киол нам слишком много чего не говорит, — заявляет Терикаси с дивана. — Настолько слишком, что нам постоянно во всякие идиотские ситуации попадать приходится. Как вот здесь, к примеру. Он-то, небось, прекрасно знает, что вы никого не убивали.

— Это он хочет, чтобы мы, итить, мозги напрягали, мыслили логически и всякими остальными глупостями занимались, — предположила Лянхаб, тоже уткнувшись в капучино — Только не понимаю, зачем это. И ему зачем, и нам, тем более.

— Нам незачем, это точно, — я пью кофе, возвращаюсь потихоньку к жизни после общения с мертвыми божествами и совершенно ничего напрягать не хочу.

— Он просто пытается сделать из нас людей, наверное, — Терикаси утащил кофе на диван и занялся прикладным сепаратизмом. — Ему так удобнее будет, если мы скорее людьми станем, чем богами. Он ведь привык. А нам, с нашей, божеской стороны, людьми становиться обратно не хочется. Божествам ни логика, ни всяческие размышления, ни мозги не нужны, по большому счету. Если только не для смотрения кино или ведения умных разговоров.

— Вот вернемся, я ему покажу людей. В худшем смысле этого слова, епта, — Лянхаб, кажется, разозлилась совсем. — Как с нами, божествами, невыносимую легкость бытия столовыми ложками хлебать, так это пожалуйста. Его это устраивает. А вот руководить ему, видите ли, людьми удобнее. Не дождется.

— Так что все-таки за воплощения? — спрашиваю я Оггльо.

— Да ничего особенного, я лучше, и правда что, не буду рассказывать, чтобы вам впечатлений от мира не портить окончательно. Чтобы вы смогли нормальными божествами остаться. Если у вас получится, тогда с этим миром, будем верить, все как-нибудь уладится. Давайте вы лучше расскажите, чего вы про убийства наших дохленьких знаете.

Тут мы, перебивая друг друга, начали выдавать подробный и весьма эмоциональный отчет о нашем пребывании в Галлавале.

— Странно, — сказал Гориип, выслушав наши наполовину матерные тирады. — Ни мне, ни Оггльо ничего такого не снится, а мы тут уже черти сколько, с самых тех пор, как миру понадобился город для мертвых божеств.

— Ну, так вы же не мертвые, вы живые, это-то как раз не странно, — Терикаси оброс усами из молочной пенки и вид у него, несмотря на обсуждаемые неприятные вещи, довольный невыразимо.

— А вам тогда почему снятся? — спросил Оггльо.

— Нас потому что Киол заколдовал, епть, — сказала Лянхаб.

— Слушайте, — говорю я, с отвращением вытаскивая из пачки очередную Золотую Яву, — а мы идиоты, наверное. То есть, совсем идиоты. Киол прекрасно все знал про этих дядек. Иначе не стал бы нас заколдовывать в полумертвых. А все эти речи про то, что город не пустит, для отвода глаз просто.

— Знал, стало быть, — очень мрачно проговорила Лянхаб.

— Ну да, знал. Просто не мог понять, откуда они взялись, — подхватил Терикаси. — Вот и отправил нас.

— А мы что, по снам самые крупные специалисты, что ли? — Лянхаб начала злобно тыкать бычком в пепельницу. — Вон, отправил бы Фоймера, итить. Это его все-таки вотчина.

— Значит, дело не только в снах, — вмешался Гориип. — Если бы дело только в снах, я думаю, Киол бы и сам разобрался. Не малое дитятко, все-таки, прораб мира.

— Он этого мира прораб, — Терикаси все-таки пересел к нам и начал, видимо, собираться с мыслями. — А сны — это уже немного другое. Они мало к этому миру отношения имеют. Особенно в этом мире. Но ты прав, Гориип, дело не только в этом. И даже не в том, что наши барышни с городами умеют общий язык находить.

— С этим городом никакого общего языка не найдешь, — печально сказал Оггльо. — Потому что он сам мертвый. И страшный. Я бы решил, что это он божеств убивает, настолько страшный. Но не он. Потому что мертвый. Тут только пара мороков и мы с Гориипом живые, да Аганезбед еще, встречающий.

— Он живой? — поразилась я.

— Угу, — кивнул Гориип. — Только спивается так, что от мертвого уже не отличишь.

— А что за мороки? — заинтересованно спросил Терикаси.

— Да так, ерунда, — ответил Оггльо, с тоской глядя на опустевшую чашку. — Для антуражу. На вокзале местном водятся. Вы видели, наверное.

— Видеть — не видели, но прочувствовали, — Лянхаб передернуло.

— А может с ними того, поговорить стоит? — спрашиваю я, попутно думая о том, как бы наколдовать еще кофе так, чтобы на нас сверху ничего больше не падало.

Лянхаб посмотрела на меня как на врага народа.

— А смысл какой? — Гориип в этом тандеме явно роль скептика отыгрывает. — Они ж только на вокзале и существуют. И никуда оттуда. Говорить-то они умеют, конечно, только вот вряд ли что путного скажут.

— Ну, все-таки мороки только наполовину в этом мире существуют. А вот та вторая половина, которая не в этом, она, может, и знает что, — что-то мне в связи с половинами начало вспоминаться, но так и не довспоминалось.

— Да Киол бы с ними, с мороками, сходим, — Терикаси отмахнулся от меня и от мороков одновременно. — Вы вот что скажите, господа бармены. Кто из вашей клиентуры может быть способен на такое? Если вообще кто-нибудь.

— Это сразу не скажешь. И не сразу, кстати, тоже, — ухмыльнулся Оггльо. — Но, скорее всего, из настоящих мертвецов — никто. Им действительно все равно. Это проверено. Если только среди них еще кто-то живой есть. Кто колдовать может. Причем, в двух мирах. И ведь не проверишь никак. У них, понимаете ведь, рассказать, каким божеством ты был — это тот еще жест доверия, им каждое такое воспоминание как серпом по яйцам. Ну, или там еще по чему. Так что наврать можно всего, чего угодно, никто не проверит. Ну, среди моих есть парочка интересных экземпляров. Не то просто оригиналы, не то и правда живые, может быть. Хотя не понимаю, что живым тут делать.

— А имена можно? Мы сегодня же с ними тогда пообщаемся. Времени у нас мало потому что, — говорит Терикаси. — Мы-то хоть и полумертвые, но непонятно, что случится, когда дядьки до нас дойдут. А проверять не хочется, вы же понимаете.

— Ну да, ну да, — закивал Оггльо. — Значит, одного зовут Кадарул, совершенно жуткий тип. С ним даже мертвые боги пьют с большой неохотой. А вторая — Янаропай. Эта сама ни с кем пить не хочет. Забьется в угол и торчит там всю ночь, красное

сухое хлещет. У меня от нее, честно говоря, мурашки по всем частям тела. Странная тетка. Вам, впрочем, как новеньким, можно попробовать к ним подойти пообщаться будет. Вы о местных обычаях ничего знать не обязаны. Кадарул рад будет, я думаю. И я, кстати, тоже. А то он, как местный отщепенец, все со мной общаться желает. Без всякой взаимности.

— Угу, — кивает Терикаси и на меня смотрит, сильно выжидающе. Я удивленно смотрю обратно на него, а потом понимаю, что это не про убийства, просто еще кофе хочет. Еще раз в ту кофейню переноситься я не рискнула, нашла другую, маленькую, где из всех достопримечательностей только арабский кофе чудесный, с кардамоном. И все само собой получилось, что хорошо, надо было только вкус кардамона ощутить, да керамичность чашек, в которых этот кофе приносят, и они уже на столе оказываются, да еще стаканы с водой, в качестве бонуса за бережное обращение, наверное.

— Умница, — похвалил меня Терикаси и повернулся к Гориипу. — Ну а ты что сказать можешь?

Оггльо совершенно явно обрадовался тому, что говорить ему больше не надо и снова обратил свой взор на Лянхаб. Та, правда, сидела мрачнее Галлавала, видимо, думала о том, что можно будет сделать с Киолом по возвращении в Ксю-Дзи-Тсу.

Гориип задумался минуты на три, потом хлебнул кофе и голосом занудного институтского лектора начал рассказывать:

— У меня вроде, на первый взгляд если, ничего и никого особо подозрительного. Они все относительно новенькие, тут, еще не обвыклись, бодриться пытаются. И вроде все стопроцентно мертвые. Только те два индивида, с которыми вы сегодня общались, меня настораживают несколько. Танжи, он вообще не от мира сего, а вот от какого — большой вопрос. Потому что он, в отличие от остальных, ни на что никогда не жалуется. Скорее, я бы сказал, изучает. И Кеилат. Он наоборот слишком бодрый какой-то. Что в нынешних условиях тоже подозрительно.

Гориип, который, видимо, только что выдал суточную норму слов, устало закурил и уставился в потолок.

Мне от полученной информации невообразимо хорошо стало. Видимо, нам всем судьба такая здесь, интересоваться в личном плане исключительно подозреваемыми. Надо еще про Ронах подумать, чтобы Терикаси себя обделенным не почувствовал. У нее тоже, вроде, мотивы имеются.

Терикаси, наверное, подумал о том же, потому что посмотрел на меня и улыбнулся. Не особо весело, правда.

— Ладно, господа, спасибо, — сказал он, повернувшись к Оггльо и Гориипу. — Мы, наверное тогда к себе домой

отправимся, чтобы всяких ненужных подозрений не вызывать. И будем разбираться. Вы тоже, по мере сил, следите за происходящим, ладно?

— Ага, и это, может, кто-нибудь из вас с нами на вокзал сходит завтра после работы, — Лянхаб многозначительно посмотрела на Оггльо. — А то у нас опыта общения с местными мороками ну просто никакого. Мне от них так вообще не по себе.

— Да да, конечно, я схожу, — быстро согласился Оггльо. — К ним действительно что, подход нужен.

До дома мы шли почти что совсем молча. Даже Терикаси не стал про наши сердечные дела ничего говорить, думал о чем-то. А мне постоянно казалось, что за нами кто-то идет. И увидеть этого кого-то, разумеется, не удавалось.

8

Мне опять снились дядьки. Только называть их дядьками во сне не хотелось и не моглось совершенно. Хотелось пискнуть тоненько и куда-нибудь спрятаться. До расстояния вытянутой руки им оставалось уже совсем немного, и я подумала прямо во сне, что если мы за ближайшие дня два все не поймем, то понимать будет уже некому. А дядьки продолжали стоять и смотреть. Правда, мне показалось, что они чем-то во мне очень удивлены.

Проснулись мы все в омерзительном, разумеется, настроении.

— Ну что, — заявил Терикаси. — Время нас не то, что поджимает даже, просто плющит, как катком. Они как-то быстрее стали подбираться. Четырех дней у нас нет, совершенно точно. Дня два, я правильно понял?

— Угу, мне тоже так показалось, — я попробовала сделанный кофе и поморщилась. Мое настроение на качество кофе слишком сильно влияет. — Радуйте меня, господа, срочно радуйте. Иначе мы сегодня кофе не попьем.

— Было бы чем радовать, епть, — Лянхаб сидит на диване и снова в сумке копается. — Хотя, могу попробовать. У меня тут где-то завалялся оберег один.

— Откуда это у тебя в сумке обереги? — заинтересовался Терикаси.

— Ну, подарили, — неопределенно ответила Лянхаб. — Мне иногда дарят всякое…

— Небось Оггльо вчера положил, когда никто не видел, да? — ехидно предположил Терикаси. — Чтобы мы тут подольше остались. Приостанавливает дядек и все такое?

— Нет, — грустно ответила Лянхаб. — Ничего он мне не

подкладывал. Это Кицни подарил когда-то, сто вечностей назад. Сказал, если совсем припрет, найду. А до того — нет. Он даже с Киолом об этом договаривался. Вот я и хочу проверить, приперло нас или не совсем еще.

— А что он делает-то, оберег твой? — мне как-то не верится, что Кицни, со своей жизненной философией мог хоть что-то полезное Лянхаб подарить. Если только пистолет, чтобы, «когда припрет», застрелиться.

— Понятия не имею. Ты же знаешь Кицни. Он ведь если дело доброе сделает, три ночи после этого спать не будет. Я и такому-то проявлению его драгоценного внимания удивлялась долго. Но он умный, хоть и сволочь. И будущее иногда видит в окнах. Знаете, ходишь когда вечером по городу, смотришь в окна, кто там и как живет. А Кицни в этих вот окнах видит будущее. Такой побочный эффект нахождения в этом мире.

— Ни фига себе, — удивляюсь я, сражаясь с пенкой для капучино. — А почему он никогда об этом не рассказывал?

— Так божеству цинизма не полагается даже верить в то, что будущее увидеть можно. Не говоря уже о том, чтобы видеть самому. Стеснялся он, одним словом. Но вот когда мы уже совсем разбегаться стали, он однажды часа три вечером по городу шлялся, потом вернулся с изменившейся мордой и подарил мне эту штуку. — Лянхаб наконец вытащила из сумки что-то очень похожее на маленький череп. — Не знаю даже, радоваться или как. С одной стороны оберег, даже не пойми как работающий — хорошо, а с другой — совсем жопа, кажется.

— Нет, это хорошо, Лянхабушка. Если даже мы с Каф тут загнемся от контактов с непонятными дядьками, ты, наверное, сможешь вернуться в Ксю-Дзи-Тсу и придушить Киола. И передай Ронах, что я о ней думал, изредка, — Терикаси смахнул воображаемую слезу.

— Хорош в Кицни играть, епть, — Лянхаб недоверчиво найденный оберег изучает. — Тебе ж Ронах понравилась.

— Понравилась, да. Но если мы тут все помрем, это мало значения иметь будет. Так что я стараюсь об этом не думать особо, не расстраиваться чтобы. — Терикаси схватил первую получившуюся чашку кофе и показал мне язык. — В общем, нам надо сегодня ударными темпами проверить всех, о ком нам Оггльо с Гориипом рассказали. А утром пойдем на вокзал. И если ничего не выясним, уезжаем отсюда к Киоловой матери. Точнее, к самому Киолу.

— Слушайте, а может нам сейчас прямо уехать? — предлагаю я. — У меня каждый раз, когда я этих дядек вижу, ощущение такое, что я пару вечностей собственной жизни теряю.

— Да нас Киол обратно не пустит, епть, — Лянхаб, видимо, так и не разобралась, как работает оберег, поэтому просто сунула его в карман.

— Пустит, никуда не денется, в конце концов, мы с самим миром можем поговорить, уж он-то точно не захочет запросто так с тремя богами распрощаться. К тому же, живыми, — говорит Терикаси, — вот только есть у меня ощущение, что сейчас уезжать — это неправильно. У нас все-таки есть еще возможность во всей этой неприятной фигне разобраться. Да и местных дохленьких жалко. Они, конечно, уроды уродами, но ведь когда-то были божествами, поэтому…

— Подожди, подожди, — перебиваю я, — как с самим миром переговорить? Киол же говорит, кроме него это никому не позволяется.

— Ну, Киол может говорить все, что хочет, — Терикаси хитро улыбается в чашку с кофе. — А надо будет — переговорим.

— Епта, как мы тут много нового и интересного узнаем, — не то восхитилась, не то возмутилась Лянхаб.

— Экстремальные условия, — усмехнулся Терикаси. — Вот вернемся в родной Ксю-Дзи-Тсу, будем жить как раньше, приятно и радостно, да еще и кино смотреть, если получится.

— Ага, так ты вот почему уезжать сразу не хочешь, — говорю я, — тебе все мысли про кино покоя не дают.

— И это тоже, — вполне серьезно кивает Терикаси. — Мы все-таки должны получить хоть что-то за свои в этом городе мытарства. Ладно, сегодня засиживаться за кофе не получится, барышни. Надо идти пытать подозреваемых.

— А куда сначала? — поинтересовалась Лянхаб, изучая себя в зеркало, которое каким-то чудом обнаружилось в нашей квартире.

— В Оггльо, я думаю, — ответил Терикаси. — Посмотрим на этих двух индивидов. А потом уже в Гориип, там попривычней, да и время уже то самое будет, когда там Кеилат сотоварищи пить-жаловаться начнут.

— Интересно, а как мы будем проверять вообще, они это — не они? Не интересоваться же в лоб, — спрашиваю я, быстренько отправляя в никуда кофейный автомат.

— А почему бы и нет, перетудыть, — говорит Лянхаб. — Меня лично уже порядком достало вокруг да около всего в этом милом городе ходить. Вон, с Гориипом и Оггльо как получилось в итоге. А если бы они и правда убийцами оказались.

— Действовать будем по ситуации, — Терикаси уже стоит у дверей и на нас нетерпеливо смотрит. — Мне, правда, кажется, что и они все тут не при чем совершенно, что все куда хуже и

сложней.

— Угу, вот и мне так кажется, — соглашаюсь я. — Правда, не знаю, действительно ли хуже. Есть у меня ощущение, только вот не разберусь пока, какое именно. Но даже если оно врет, у нас еще оберег Кицни есть.

— Ну да, из него вылезет сам Кицни с топором и отрубит нам головы, чтобы не мучились, — предположил Терикаси.

— Ха-ха, — мрачно сказала Лянхаб и вышла из квартиры. Мы воспоследовали.

До Оггльо мы добрались без приключений, мне, правда, опять казалось, что за нами кто-то следит, и я постоянно головой по сторонам крутила, авось удастся этого странного следящего увидеть. Не то, чтобы это ощущение какой-то ужас неземной навевало, просто очень хотелось увидеть, кому же мы потребовались. Но следящий отличался, по всему судя, какой-то патологической формой скромности, поэтому все мои упражнения для мышц шеи ничем интересным не увенчались. Говорить об этом я никому не стала, если только я это чувствую, значит, эта загадка Галлавала только для меня одной, и разбираться самой придется.

Когда мы до пункта назначения добрались, там уже порядочная толпа божеств собралась. Примерно половина от пока еще живых, то есть. Но тех, о ком Оггльо говорил, мы увидели сразу. Они на улице сидели, в разных углах, но с одинаково нерадостными выражениями лиц. Нерадостными даже по местным меркам. На лице у Кадарула, казалось, весь мрак рода человеческого и божественного поселился, а Янаропай просто сидела и затравленно смотрела по сторонам, как будто ожидая, что на нее сейчас целое стадо маньяков набросится.

— Слушайте, а они бы вместе идеально смотрелись, — прошептала Лянхаб, разглядывая наших очередных подозреваемых.

— Угу, только вот они друг на друга так смотрят, что, того и гляди, самовоспламенятся оба, — Терикаси с неподдельным интересом разглядывал Янаропай. Посмотреть там было на что, если, конечно, от выражения лица как-нибудь отвлечься. — Ладно, давайте разделимся. Я пойду с барышней поговорю, Каф, ты иди с Кадарулом выпей, тебе всегда таинственные божества нравились, а Лянхабушка пойдет к Оггльо, узнать, что и как на мертвобожественном фронте.

— И за что ты, Терикасенька, меня так ненавидишь? — спрашиваю я, пытаясь куда-нибудь мурашки с тела стряхнуть.

— За сегодняшний кофе, разумеется, — отвечает он, и начинает к столику Янаропай пробираться.

— Ладно, удачи, — Лянхаб, возрадовавшись своей миссии, тоже куда-то очень быстро исчезла. Я мысленно много всего доброго своим друзьям сказала и, сжав себя в кулак, отправилась к столику Кадарула. По дороге мне встретился Аганезбед, висящий на мертвой, но весьма симпатичной богине. Хватило его только на то, чтобы кивнуть мне печально.

— Извините, а можно присесть за ваш столик? — спросила я, пытаясь обнаружить в Кадаруле хоть что-то, что меня бы с ним примирило. Получалось как-то не очень успешно. От этого божества хотелось бежать далеко и желательно с использованием скоростных транспортных средств. Зато он моему появлению около своего столика явно обрадовался. Улыбнулся, кивнул и графин с водкой ко мне поближе пододвинул.

— Пожалуйста, пожалуйста, а от тут от меня все шарахаются постоянно, — сказал Кадарул, грустно опрокинув в себя рюмку. — Я их понимаю, с одной стороны, приятного во мне мало. А с другой, мне же тут все вечности коротать предстоит. И не хотелось бы, чтобы в одиночестве.

— Местечко тут не самое радостное, — сказала я, оглядываясь на Терикаси, который в чем-то горячо убеждал Янаропай. — В одиночку, и правда что, совсем уж печально.

— Именно, — подтвердил Кадарул. — Так уж получилось, что я был раньше божеством нежити. Не той, что здесь обитает, конечно. А всякой зловещей. Упыри там, привидения, мороки злобные. Ну, работа отпечаток и наложила. И никак он не сотрется что-то. Хотя мне до работы уже давно никакого дела. Ну, вы понимаете, наверное.

— Мороки, — повторила я, думая о том, как бы добраться до барной стойки и томатного сока у Оггльо выпросить. — А те, которые здесь на вокзале живут, тоже ваши?

— Эти нет, эти местные. Я с ними попытался пообщаться, как приехал, так они про всю остальную нечисть понятия не имеют. По крайней мере ту, что в этом мире водится. Странные какие-то. Ненастоящие.

Я улыбнулась. — А что, все остальные настоящие?

— Остальные да. Странно звучит, понимаю, — Кадарул улыбнулся мне в ответ, от этого мне тут же захотелось под стол залезть и сидеть там тихонько. — Мороки ведь из чьих-то жизней обычно появляются. Кусочек страха там, кусочек надежды тут, и готов морок. А этих здесь вроде мебели поставили, вот они и болтаются не пойми, зачем. И боятся чего-то постоянно.

— Ну, это не удивительно. Тут город такой, что только бояться и остается. Или пить. Но морокам этого не дано.

— Это да, — согласился Кадарул. — Кстати, давайте, что ли,

выпьем. За знакомство, как полагается.

— Ага, — говорю, — сейчас. Я только за соком схожу. Не привыкла еще все это просто так потреблять.

— Давайте лучше я схожу, — галантно предложил Кадарул и пошел внутрь. Божества, когда он в их поле зрения возникал, и правда что, старались расступиться куда-нибудь, пусть даже на ноги соседям.

Я снова оглянулась на Терикаси. У него разговор явно наладился. Янаропай даже улыбалась время от времени. Все еще испуганно, правда. Я незаметно достала из неразменного блока пачку «Союз Аполлона», чертыхнулась и попыталась в себя прийти. От разговора с Кадарулом, несмотря на то, что он милым и общительным оказался, все равно на душе совсем паршиво становилось. Как будто бы вся его нежить где-то рядышком стояла и дышала мне в затылок. Холодно и тоскливо.

Кадарул вернулся, поставил передо мной стакан с томатным соком и снова улыбнулся. У меня в ответ только нервно икнуть получилось.

— Вам со мной тоже паршиво, да? — спросил он, наливая нам водки. — Это видно, вы не думайте. Я даже и не обижаюсь уже. В конце концов, я, пока жив был, таким свойствам организма радовался даже. Теперь вот расплачиваюсь.

— Да нет, нормально все. Почти, — говорю я и залпом выпиваю всю свою Блади Мэри. — Наверное, привыкну скоро.

— Не привыкнете. Ко мне вообще не привыкают. Мне вот только странно, что вы так долго со мной общаетесь. Не просто так, наверняка.

— Да. Если честно, то не просто. Вы скажите, вам с тех пор, как вы сюда приехали, люди такие странные не снятся. Стоят и говорят что-то. Я просто не знаю, может, это для этого города нормально. Я же здесь недавно совсем.

Тут Кадарул меняется в лице и становится один в один дядьки из сна. А у меня перед глазами все начинает как-то очень нехорошо плыть.

9

Когда ко мне четкость восприятия вернулась, я обнаружила рядом Терикаси, который на меня смотрел испуганно, и Кадарула, которому, судя по всему, просто очень сквозь землю хотелось провалиться.

— Я не сообразил, да и откуда мне знать было. Хотя догадаться мог, — смущенно сказал он, подвигая ко мне стакан с Блади Мэри. — Я просто, когда нервничаю, собеседник у меня на

лице свою смерть видит. Ты меня прости. Это все побочные эффекты призвания. Никуда не денешься.

Я киваю молча, выпиваю Блади Мэри, закуриваю и слушаю, как Терикаси с Кадарулом общаются.

— Значит, совершенно точно, смерть, да?

— Она самая, видишь, как получается. Теперь и я, значит, знаю, как моя смерть выглядеть будет. Точнее, какое у нее будет лицо. Стало быть, совсем мне недолго осталось. Дней несколько, от силы. Лица-то я уже рассмотреть могу. Услышать только не получается пока.

— Нам надо в этом разобраться поскорее, тогда, может и удастся сделать что-нибудь. Мы-то в любой момент уехать можем, но не хочется всех вас тут с ними оставлять, — Терикаси печально смотрит на Янаропай, которая по-прежнему за своим столиком сидит. К Кадарулу она, видимо, подойти не решилась.

Кадарул только плечами пожал. — Не знаю, чем я вам тут помочь смогу. У меня же теперь знания, те, которые остались, теоретические исключительно. Да, понимаю, что убивают. Еще с самого начала понял, когда их первый раз во сне увидел. Но они-то сами не нежить. Они, я даже не очень могу сформулировать кто. Части. Если можно так выразиться. Кого-то или чего-то. Вот если узнаете, чьи, тогда вам проще будет, да и нам. Хотя мне, если задуматься, может, лучше и исчезнуть будет. Говорят, божества, которые исчезают из этого мира, появляются в другом. Но это только говорят.

Мне от этих разговоров совсем грустно стало, я сказала Терикаси, что прогуляться хочу и пошла для начала к барной стойке. Там Лянхаб о чем-то самозабвенно с Оггльо общалась.

— Лянхабушка, — сказала я, изобразив на лице умиление от их дуэта. — А дай-ка мне ту штучку, которую ты сегодня у себя в сумке нашла. Я прогуляюсь схожу. — Лянхаб удивилась, конечно, но вытащила из кармана оберег Кицни и мне в руку его сунула, потом лучезарно улыбнулась Оггльо и опять о чем-то беседовать стала. О чем именно, мне узнать не удалось, потому что меня как по голове чем-то стукнуло, что надо пойти погулять, и я почти что пулей с территории кабака вылетела, по-прежнему оберег в кулаке сжимая. На всякий случай. Мне нужно было понять, кто же все-таки за нами следит в последнее время.

Улицы Галлавала людными никак не назовешь. Поэтому некоторое время я наслаждалась прогулкой в одиночестве, изучала все оттенки местного неба и думала о том, каково это — видеть будущее в окнах домов. Очень меня почему-то это заинтересовало. Я в Ксю-Дзи-Тсу, когда по вечерам гуляю, очень часто в эти самые окна заглядываю. Не то, чтобы мне интересно,

какие именно божества там живут и чем занимаются. Просто это квадратики чужих жизней, ими можно играть в пятнашки или просто складывать, как паззл. А Кицни, в них, оказывается, свое будущее мог углядеть. Значит, чужих жизней попробовать у него и не получилось толком. Впрочем, богу цинизма это как раз ни к чему.

Задумавшись обо всем этом, я на одной из маленьких окологориипповских улочек чуть не врезалась в какое-то божество.

— Ну вот, как в дурацком романе, — пробормотала я, разглядев в препятствии Танжи.

— Да уж, в высшей степени неожиданная встреча, — ухмыльнулся он. — Опять ты какую-то дрянь куришь. И откуда только берешь…

— Долгая история, давай я у тебя лучше Голуаз стрельну, — мне совершенно не хочется вникать в подробности появления у меня Золотой Явы и Союз Аполлона.

— А давай-ка мы лучше прогуляемся сейчас, — говорит Танжи и как-то очень настойчиво меня под руку берет. И вряд ли это можно неожиданным порывом страсти объяснить. — Ты мне и расскажешь. Я хочу тебя с одним своим другом, гм, познакомить. Хотя, вы знакомы, я думаю. А Галуаз-то, пожалуйста. У меня тут еще Житан появился, старого образца, черный. Не желаешь?

— Еще как желаю, — по возможности радостно говорю я. Значит, следил за нами Танжи, скорее всего. Иначе бы он меня в этих закоулках не отыскал. И что это за друг его такой… — Надеюсь, ты местным маньяком-убийцей не окажешься, и не будешь сейчас меня на части в особо извращенной форме резать…

Танжи улыбнулся. — Стал бы я на будущую жертву черный Житан переводить. Велика была бы честь, знаешь ли. Да и если бы собирался даже. У тебя ж оберег в кармане лежит. Очень, кстати, сильная штука, вы-то и не знаете, наверное.

— Угу, не знаем. Зато ты, очевидно, знаешь, — очень хотелось бы удивиться его осведомленности, но как-то не получается.

— Знать не знаю, но догадываюсь. Ты бы и сама догадаться могла. Если божество цинизма вдруг, неожиданно для себя, во что-то верить начинает, в предсказание, к примеру, будущего, его вера ценится раз в пять выше, чем вера обычного суеверного существа. И вся его вера практически в этот оберег ушла. Так что не бойся, тебя тут никто тронуть не сможет при всем желании. Да и нет желания такого, если честно. Если бы как-то обстоятельства чуть по-другому сложились, я бы даже …но сейчас и здесь это маловажно, правда ведь? — Танжи ведет меня по каким-то совсем

уж жутким улицам Галлавала, наверное, у пьяных божеств просто сил нет сюда добираться.

— Сейчас и здесь, пожалуй что. Да и вообще, это напоминало бы все тот же дурацкий роман. Нам бы еще потом полагалось жить долго и счастливо.

— Ну, это я думаю, у нас получится, как раз, — грустно улыбнулся Танжи. — Только у каждого в отдельности. Впрочем, не так уж это и мало.

— Так значит, ты живой все-таки?

— Живой, да, можно и так сказать. Только малость потерявшийся. И потерявший. Впрочем, не буду тебя раньше времени интриговать. Моя-то задача была, отловить тебя и отвести куда полагается. Ну и проследить, чтобы вы тут дел не наворотили. Сыщики из вас кстати, паршивые. Весь Галлавал встал на уши, пытаясь понять, чего вы тут вынюхиваете. Даже те, кому уже совсем все равно. — Танжи снова улыбнулся, на этот раз вполне жизнерадостно.

— Это мы уже и сами поняли. Еще когда на Гориипа с Оггльо в темной подворотне наткнулись. Можно подумать, у нас выбор был какой-нибудь. Приходилось расследовать. В меру сил и способностей. Которых нет, тут ты прав, конечно.

— Ну, прости за банальность, выбор-то всегда есть. Выбор у вас еще в Ксю-Дзи-Тсу был, я так понимаю. Но вы все-таки сюда приехали, и даже дали себя умертвить наполовину. Неужели это все ради каких-то картинок на целлулоиде?

— И ради них тоже. А еще…знаешь ведь, если один раз твоя судьба в какую-то интересную колею завалится, ты потом сам ее туда направлять будешь. Божеством хорошо быть, покоя и легкости бытия той самой полно, но разве ощутишь это в полной мере, если время от времени себя вот в такую задницу не запихнешь. Тоже кстати, прописная истина, и что я тут распинаюсь.

Танжи кивнул. — Ну да. У меня-то просто этого покоя не было уже очень давно. Вот и удивляюсь. Хотя кино тоже люблю, не без этого. Мы пришли, кстати.

Пришли мы к очередному темному типовому дому на пять этажей. От остальных он только тем отличался, что на третьем этаже свет горел. А в большой комнате этой самой квартиры на третьем этаже сидела моя обратная сторона и пила кофе.

— Ну, здравствуй, — сказала обратная сторона, размешивая сахар. — Я тут как раз кофе сварил. Со специями, как ты любишь. Так что присаживайся, беседовать станем. И ты Танжи, тоже садись, кофе и слов на всех хватит, я думаю.

Я чуть-чуть рот пооткрывала изумленно, но потом все-таки

уселась за стол, уж больно кофе пах приятственно.

— Да, довелось нам все-таки снова кофе попить, и то радость, — говорю я, с удовольствием засовывая нос в чашку

— Обстоятельства только не очень радостные, — заметил мой собеседник.

— Ну, если в этих обстоятельствах находится место для кофе со специями и сигареты, значит, все не настолько плохо, — со мной опять приступ неконтролируемого оптимизма случился. Я потому что очень свою вторую сторону рада увидеть. После нашей встречи в Ксар-Сохуме мне и не думалось, что удастся еще повидаться. Поэтому о дважды мертвых божествах и неживом городе Галлавале я на какое-то время просто забыла.

— Ладно, ты пей тогда, а я буду объяснять, в чем дело. Может, и к лучшему, что вы сюда приехали, а не сам Киол, к примеру. Ему было бы сложнее объяснить. Да и кому угодно, кроме тебя, пожалуй.

Танжи только смотрел на нас обоих и улыбался, чему-то, как обычно, своему.

— Я уже тебе говорил, что у каждого есть своя обратная сторона, да? И что существуют они в разных совершенно плоскостях и занимаются разным, и знать друг о друге не знают. Это только нам с тобой повезло так. Но если с обратной стороной человека или божества случается что-то, человек, ну, или божество, это все равно чувствует. Только редко когда может понять, в чем дело. Списывает на депрессию, год неудачный или любовь несчастную.

Я киваю и тяну руку за Житаном, потому что начинаю понимать в чем дело, а вот что делать, наоборот, понимать перестаю.

— И вот, пока здешние мертвые боги пьянствуют ежевечерне, их обратные стороны в разных совершенно мирах потихоньку теряют себя. Потому что вроде и мертвые они, божества эти, а с другой стороны, вроде и нет. Если обратная сторона умирает, то тут все понятно. Человек помучается с недельку от бесцельности бытия, а потом у него другая обратная сторона найдется, из таких же, потерявших. А так эти мучения уже не первую вечность продолжаются. Просто у друга моего одного обратная сторона как раз тут обреталась. И когда ее в Галлавал отправили, он потихоньку с ума начал сползать. Ну, я подумал какое-то время, вспомнил про этот мир, про тебя, и понял, в чем дело. Вот мы и решили, что нужно мертвых богов сделать совсем мертвыми, чтобы их обратные стороны не страдали сильно долго. Сложно было, конечно, обычным людям учиться сразу в двух мирах существовать, но удалось все-таки. Пробились в сны здешних

обитателей. А у меня, когда такое же настроение случилось, я сразу понял, что ты в Галлавал поехала. И даже понял почему. И тогда мы с Танжи сюда отправились, чтобы вам все объяснить.

— Ну да, объяснить, можно подумать, нам эти самые обратные стороны не снились, — я не то, чтобы злюсь, просто воспоминания о дядьках из сна уж больно неприятные.

— Снились, они же всем снятся, кто сюда приезжает. Они живут в двух мирах одновременно, им некогда разбираться. К тому же, вас изнутри очень хорошо под мертвых замаскировали, — вмешался Танжи. — Если бы мы не предупредили вовремя, они бы вас тоже прибрали.

— Вряд ли, — говорит моя обратная сторона, наливая мне еще кофе, который на столе каким-то загадочным образом материализуется. — Они еще вчера удивились, вроде мертвые божества, а вроде и не очень.

— А Танжи-то тут вообще при чем? — спрашиваю я. — Он же вроде вполне нормальное божество, вон, живое даже.

— Я тут при чем, — Танжи тоже потянулся за пачкой. — Я просто тоже потерял свою обратную сторону. А ты себе не представляешь, что это такое. Когда всякий смысл всего напрочь теряется. Это еще хуже, чем быть мертвым божеством. Так что я просто помочь решил. На благотворительных началах. Чтобы никому это целыми вечностями переживать не приходилось. Я в этом мире еще появлюсь, когда Киол таки соберется новый город создать. А пока что болтаюсь в двоемирии и жду, пока у меня обратная сторона появится. Отвлекаюсь, опять же.

— Не сказала бы, что мне все это нравится, — говорю я, — какой-то все-таки странный у вас гуманизм. Эти божества, хоть и мертвые, тоже все-таки чего-то хотеть могут.

— Ничего они не хотят! — Танжи от избытка чувств аж кофе на стол пролил. — Ты же знаешь, ты же сама полумертвая. А они полностью. У них это все в два раза сильнее. Им главное — забыть о том, что они ничего не хотят, вот и упиваются до полного забытья. А тут им это забытье буквально на блюдечке. К тому же, говорят, когда боги исчезают из этого мира, они появляются где-то еще.

— Но это только говорят, — повторяю я слова Кадарула.

— По крайней мере, это шанс, — Танжи готов, видимо, до последнего вздоха все обездоленные обратные стороны защищать.

— Такие вот дела, Каф, — моя обратная сторона решила в наш малоконструктивный диалог вмешаться. — Дальше вам самим решать, конечно. Можете рассказать Киолу, и он тут же все это безобразие прекратит. Просто закроет вход в этот мир. Или в этот город. Это ему под силу. Но ты подумай все-таки. Вы все

подумайте. Потому что Танжи правильно говорит. Местным мертвым божествам это все тоже не очень приятно. К тому же, несколько дней у них есть, чтобы насладиться всеми прелестями местного существования. Более, чем достаточно, пожалуй.

Я молчу, думаю про всех, кого нам тут встретить довелось и понимаю, что может и правы эти обратные стороны. Может.

— Ладно, ненаглядная моя, прощаться нам надо. Мне очень тяжело в этом мире находиться. Да еще и рядом с тобой. Разные высшие силы не одобряют. Боятся. Ну, я объяснял тебе в прошлый раз. Так что я сейчас исчезну отсюда потихоньку. Дай кто-нибудь, свидимся при других обстоятельствах, за спиной у всяческих высших сил. И по одну сторону этих дурацких баррикад. Танжи тебя обратно проводит. Ему хорошо, он этому миру уже почти принадлежит. А вы просто подумайте, пока обратно будете ехать, — с этими словами моя обратная сторона допивает свой кофе и исчезает, как и обещал. Только не потихоньку, а весь сразу.

— Вот так вот, — говорю я в пустое пространство, которое на месте моей изнанки образовалось. — Самое сокровенное какое-нибудь, и то против тебя окажется. Дурацкий все-таки мир.

— Это очень правильный мир, поверь мне, — Танжи закурил и протянул мне пачку. — Один из самых правильных. Просто у всякого есть эта самая обратная сторона. И у миров, и у порядков, и у событий. А помнить об этом тяжело. Вот и получается такое.

— Ладно, — говорю я, вставая. — Пойдем, отведешь меня обратно в Оггльо. Мне еще надо друзей всяческими новостями обрадовать. Одно счастье, уедем отсюда наконец-то. Не лучшее место для живых божеств. Как ты тут обретаешься, не понимаю.

— Это временно, — ответил Танжи и неожиданно сплюнул через левое плечо. — Очень надеюсь, что временно.

10

Около Оггльо Танжи остановился.

— Мне надо в Гориип возвращаться, а то там мои собутыльники ждут, не дождутся, наверное. Они ко мне привыкли. Я для них незаменимая деталь интерьера. Опять же, всегда есть у кого сигарету стрельнуть, — сказал он и подмигнул.

— О, хорошо, что напомнил, давай-ка я у тебя еще парочку житанин позаимствую, а то кто его знает, что мне из моего блока достанется. Там ведь марка сигарет от настроения Киола зависит. Такой вот подарочек.

— Да, не повезло, — улыбнулся Танжи, отдал мне пачку и пошел в сторону Гориипа. Прошел десяток шагов, обернулся и

отсалютовал. Потом все-таки заговорил — Вот еще что. Если Киол создаст Адоесс, с тебя кофейня.

Я улыбнулась, кивнула и пошла в Оггльо, вытаскивать оттуда своих Пинкертонов при исполнении.

Пинкертоны, правда, ничего особо не исполняли. Терикаси продолжал общаться с Янаропай, а Лянхаб, очевидно, с Оггльо. Я улыбнулась Кадарулу, который продолжал в одиночестве пить водку, и подошла к Терикаси. Янаропай от меня по инерции шарахнулась.

— Пойдем, друг мой, — говорю я, отпивая Блади Мэри из его стакана. — Есть один очень серьезный и окончательный разговор.

Терикаси посмотрел на меня ошалело, но встал все-таки, раскланялся с Янаропай и направился к выходу.

— Еще Лянхаб забрать надо, — остановила я его. — А то она с Оггльо до утра может проворковать.

— Это точно, — улыбнулся он. — А что случилось все-таки?

— Ну, как тебе сказать, Терикаси. Все, пожалуй что. Все уже случилось. Нам осталось только решать.

Лянхаб с Оггльо, как и предполагалось, продолжали весьма живо общаться, обмениваясь взглядами разной степени огнеопасности. Я ее бесцеремонно за шкирку оттащила, объяснила, что мы очень скоро едем домой, а до того мне еще рассказать многое надо и мы, попрощавшись с Оггльо, пошли к Терикаси, который весь извелся и искурился в ожидании того, что же я все-таки расскажу.

— Нет, не смотрите на меня так, дорогие, пока не дойдем до места, где можно сидеть и пить кофе, я вам ни слова не скажу, — говорю я, глядя на их озадаченные лица. — У меня был тяжелый вечер, знаете ли.

— Да нет, не знаем, етить. Вот поэтому и хотим, чтобы ты рассказала. А то ходишь тут с видом величайшего конспиратора всех времен и народов, — Лянхаб, видимо, пообижаться решила.

— Да ладно, Лянхабушка, ты не расстраивайся. Когда тебе придет время сюда приезжать, будет с кем проводить свободное время, по крайней мере. Хороший задел на будущее, — говорит Терикаси, обняв ее за плечи.

— Иди в жопу. Можно подумать, ты тут страдал за идею. Тоже, вроде, времени не терял даром, — огрызнулась Лянхаб.

— Э, спокойнее, дорогие. Я очень надеюсь, что мы в самое ближайшее время отсюда уедем, и потом очень долго еще тут не появимся. Вы, по-моему, с местным населением переобщались, — у меня настроение такое, что эта еще ссора ни к чему совершенно.

— Вечер добрый, — перед нами буквально из ниоткуда вырос

Аганезбед, очень нетрезвый и очень злой.

— А, здравствуй, — Терикаси остановился и меня за рукав дернул.

— И что же все-таки такие чудесные живые боги в нашем поганом мертвом городе делают, — поинтересовался Аганезбед, подходя ближе.

— Да вот, переетить, расследуем, кто таких чудесных мертвых богов, в другой мир отправляет, — мрачно проговорила Лянхаб, явно намереваясь идти дальше.

— Угу, замечательно, — Аганезбед сделал еще пару шагов вперед.

— А ты что, хочешь нас убить, чтобы мы тут не контрастировали, да? — спрашиваю я, чувствуя, как у меня в кармане оберег задергался.

— Ну, что-то вроде того, — ухмыльнулся Аганезбед.

— Мы божества вообще-то, — спокойно сказал Терикаси. — Нас убить тяжеловато.

— Ну, я очень постараюсь, — пообещал Аганезбед. — У меня работа такая, того, кто не совсем умер, совсем мертвым делать. Ведь всякое случается. Бывает, и у мертвых богов остатки жизни внутри застревают. Меня Киол лично учил.

— И чего это ты злой такой, а? — Терикаси пытается сохранять остатки спокойствия.

— Живой потому что, — Аганезбед уставился на нас с такой ненавистью, что мне, в который уже раз за вечер, не по себе стало. — Вот вы подумайте, каково мне тут, живому, с этими дохлыми ублюдками пить каждый вечер. И при этом делать вид, что все нормально. И на вокзале их встречать. Да если их тут всех попереубивают, я только счастлив буду, может, меня утилизируют за ненадобностью тогда. А тут вы приезжаете. Живые, довольные. Оттуда, — Аганезбед махнул рукой, наверное, в сторону Ксю-Дзи-Тсу.

Я нащупываю в кармане оберег и зажимаю в кулаке, прикидывая, попаду я им по лбу Аганезбеду, если что, или нет.

— Ну, будь моя воля, я бы тебя давно уже за ненадобностью утилизировал, — говорит Терикаси. — Но хочешь, мы с Киолом поговорим, все-таки он нас слушает иногда.

— Неа, не хочу, — Аганезбед начинает руками что-то в воздухе изображать. — Я вас лучше убью, а потом вы вообще из этого мира исчезнете. Этот ублюдок все равно ничего менять не станет. Ему что мир нашепчет, то он и делает. А так, мне хоть приятно будет.

— Да, ты тут, етить, совсем крышей съехал, — Лянхаб начала злиться. — Давай-ка ты нас сейчас пропустишь быстренько, а мы

тебе за это голову отгрызать не станем, перетудыть.

— Не пропущу, — Аганезбед продолжает пассы руками делать, и я чувствую, что где-то во мне что-то начинает меняться, и от этого мне крайне паршиво. Почти как после Киоловых экзерсисов. Я понимаю, что еще чуть-чуть, и мы правда мертвыми станем, поэтому очень быстро вытаскиваю оберег из кармана. Он поднимается в воздух, летит к Аганезбеду, зависает у его уха и, кажется, что-то ему нашептывать начинает. По крайней мере, у Аганезбеда лицо крайне задумчивое становится. Минуты через три нашептываний он просто разворачивается и уходит, совершенно о нашем существовании забыв.

— Уф, — Терикаси нервно шарит по карманам в поисках сигарет. Я ему пачку Житана протягиваю. — Все-таки, Лянхаб, не зря ты все эти вечности с Кицни мучилась. Если бы не он, дядьки до нас бы точно добрались.

Я задумываюсь о том, что сделала бы моя обратная сторона, если бы меня тут убили. — А давайте-ка, мы не будем никуда возвращаться, пожалуй. Сейчас быстренько на вокзал, в поезд и домой. Там вам все и расскажу. Как-то слишком много неожиданностей для одного вечера.

— Очень хорошее предложение, етить, — говорит Лянхаб. — Только не понимаю, чего теперь-то рассказывать? Разве не Аганезбед во всем виноват?

— Неа, — отвечает вместо меня Терикаси. — Он тут просто с ума сошел. Я его понимаю, кстати. Вон, мы через три дня начали друг на друга кидаться. А он тут сколько уже вечностей.

— Ну и что, — возразила Лянхаб. — Киол с Оггльо тут тоже с самого начала. И все с ними нормально.

— Лянхабушка, божества разные бывают, — терпеливо объяснил Терикаси. — К тому же, они хоть друг с другом могут общаться. А он, видимо, только с мертвыми. Не знаю, правда, почему.

— Доедем, у Киола спросим, — говорю я. — И еще много чего тоже.

До вокзала мы почти что добежали, слава Киолу, желания наши кто-то почувствовал, и поезд уже на перроне стоял. И на столике бутылка водки, как обычно. В обратную ведь сторону никто не ездил.

Ронах, увидев наши лица, только головой покачала и скрылась где-то в своем купе, видимо, решив нас не трогать пока.

— Вот не знаю, — говорю я, глядя как Галлавал начинает за окном мелькать. — То ли кофе наколдовать, то ли водки накатить. Для снятия многочисленных стрессов.

— Лучше кофе, — посоветовал Терикаси. — Надо привыкать

к относительно здоровой жизни. Все-таки домой едем. Там водку каждый вечер пить не надо.

— Ты прав, пожалуй, — согласилась я и начала наколдовать глиссе. Хотелось чего-нибудь мягкого и уютного.

Лянхаб просто смотрела в окно и никакого участия в обсуждении напитков не принимала. Мысленно прощалась с Оггльо, наверное. До поры до времени.

Кофе, хоть и не с первой попытки, наколдовался вполне пристойный, мы вооружились чашками, и я начала рассказывать все, что от своей обратной стороны и от Танжи узнала.

— Так вот что тебе тогда замок в Ксар-Сохуме показал, — покачала головой Лянхаб, как только я рассказывать закончила. — Какой однако, город-то, предусмотрительный. Значит, и то, что он мне показал, пригодится. Ой, бля, — и Лянхаб о чем-то очень глубоко задумалась.

— Да, грустно все как-то, — сказал Терикаси. — Они же там неплохие, божества эти мертвые. А так получается, что у них и правда, никакого выбора. С другой стороны, какой вообще у мертвых выбор. Пусть даже у мертвых божеств. Так что я думаю, не будем ничего Киолу рассказывать.

— Согласна, — говорит Лянхаб из глубины своей задумчивости. — Жуткий город же. И жить им там не менее жутко. Вон, некоторые так вообще с ума сходят.

— Ну что, единогласно, стало быть, — говорю я, докуривая последний Житан и думая, соответственно, о Танжи, который в Галлавале остался в Чип и Дейла играть.

Лянхаб и Терикаси только кивнули.

Эпилог

Вернувшись в Ксю-Дзи-Тсу мы первым делом отправились в любимую кофейню и часа три говорили ни о чем. Очень приятное оказалось занятие.

А вторым делом мы пошли к Киолу.

— Так, етить твою налево, прораб фигов. А ну быстро нас расколдовал. Надоело в полумертвом состоянии существовать, — заявила Лянхаб с порога.

— Да, Киолушка, она права, — Терикаси очень как-то нехорошо на Киола уставился. Настолько нехорошо, что сам Киол весьма быстро все понял и нас расколдовал. И даже сразу же кинотеатр создал, маленький и рядом с любимой кофейней. О чем тут же нам и сообщил, а так же о том, что божество кино теперь там же обретается, и что насчет репертуара с ним договариваться.

— Огромное спасибо, — сказали мы хором и на выход отправились. Чтобы побыстрее решить, что смотреть будем.

— Да, и психов своих успокой, — заявила напоследок Лянхаб.

— А кто убийца-то? — спросил нам вслед Киол.

Терикаси обернулся.

— Ну как, Киолушка, неужели ты не знаешь? Дворецкий, конечно же.

Елена Некрасова

ВОВА ЧЕТВЕРОДНЕВНЫЙ

1

Он понимал — это амба, не сегодня, так завтра… вчера еще хоть жратва оставалась и сигареты, сегодня пробовал пожевать кору, еле отплевался. Левый сапог утоп в болоте, пальцы кровят, надо бы замотать, оторвать второй рукав… а, все равно подыхать. Зимой-то легче — замерз и все дела, а тут без курева, жрать охота… толку что лавэ прихватил… высунешься из тайги — мигом замочат. Жопу теперь можно этим баблом подтирать, только срать уже нечем. И где эти кедровые, бля, орехи? Одни сосны вокруг. Трещит что-то, странно… черт! Медведь еще учует… самая поганая смерть. А ведь точно. Попадется бешенная медвежиха с дитями…

Вова остановился, прислушался, достал из кармана накидыш, вскинул лезвие. Может и не медведь, лисица там, соболь какой-нибудь, лось… стремно тут. Всадить себе в горло, самое то… все отмотать по-честному и чтоб такое напоследок! За месяц до звонка! Троих замочил… или все-таки двоих? Тот вертухай еще дергал цаплями, но видать, в агонии. Пожизненно терь припаяют… а не дойдет до припайки, как собаку пришьют, если зачалят, типа оказал сопротивление… И на что надеется желторотый, зассал… такие все равно подставляют дупло, рано или поздно… если выживет, станет фуфлыжником, только наврядли его оставят в живых, им его раскладка невыгодная, как пить дать пришили уже желторотика… ага, только сперва отымели до усрачки во все дыры…

Вова кружит по тайге уже пятые сутки, смеркается, скоро темняк… Последние две ночи он провел в скалистом ущелье, там ручей, можно было напиться, но хавать нечего… чем медленно издыхать от голода, лучше уж продвигаться вперед… иногда слышен шум вертолетов — ищут, бляди, да хрен найдут, вот если б он подался на юг, там степь начинается, открытая местность… там бы его голыми руками… а так не возьмут. Сам подохнет, ну хоть сам… если идти по течению, рано или поздно Ангара сольется с Енисеем, это факт, он помнит, как это на карте нарисовано… а если потом на север по Енисею… это, бля, сотни километров глухой тайги, тысячи, бля… а на юг Красноярск, дней шесть пути. Но там лысая тайга, цивилизация куда ни плюнь, мусора….в Красноярске братва бы выручила, ксиву наладила, то-се… но нельзя. Сколько ж дней ему осталось? Все его… вот на

медведя только не напороться… а медведю, в натуре, тоже жрать охота, какая на хуй разница… Шум реки то тише, то громче, башка тоже трещит с голодухи, скоро ночь, пора зарываться…

Вова держится реки, но по самому берегу нельзя, заметят, а река петляет… нет, он бы и до зимы продержался, найти подходящую пещерку… спичек еще два коробка и зажигалка… пистолет в болоте утоп, зато собаки след потеряли… нож есть, зверя он как-нибудь выследит… пить охота… скалистый высокий берег, не… никак ему не спуститься, только шею свернешь… тоже дело. Если сразу откинуть копыта. А то валяться с переломанными костями… птицы еще налетят, шнифты выклюют… не, если прыгать, надо искать скалы повыше… в Омске братан, но хрен до туда дойдешь… фу, наконец-то! Ежевика. Кусты сплошь усыпаны незрелыми ягодами, но жрать можно… кисляк, аж сводит… на болотах навалом ягод, но топь закончилась, бля, нету болот…

Вова глотал зеленые ягоды, жевал и сплевывал ежевичные листья, полегчало… хоть что-то кинул в топку, теперь бы попить и устроиться на ночлег. Он снова ищет подходы к берегу, неудачное место… и гнус, бля, такой жестокий, хуже чем на болоте, в натуре… и в глаза норовит, веки уже опухли… к утру всю кровь высосут, если так лечь… костер нельзя, курево кончилось… не, без курева хуевей всего… Вова видит тропу, нормальную, вытоптанную, уходящую вниз… понятно, звериная. К реке или к норе? Скорей всего водопой, Вова достает накидыш. Озираясь, осторожно спускается вниз между двух валунов. Так и есть — тропа выводит к самой воде. Последние лучи солнца серебрят Ангару, сине-голубая дымка окутывает предгорья Саян, сосны замерли на слоистых утесах, красота… а спокойствие… ни ветерка, ничего не шевелится даже… давно он не видел такого простора… На хуй эту красоту, кому красота, а ему, бля, тут подыхать… Хоть в чем-то повезло — эта маленькая бухточка без острых камней, можно спокойно зайти в воду остудить ноги, особенно левую… Зверье соображает, где топтать, но оставаться опасно…

Вова оглядывает бухту и замечает какую-то яму у подножья валуна… а, фуфло, неглубокая, просто почву подмыло… а вот рядом — то, что надо! Расщелина. Узкая расщелина в валуне, тут он протиснется, а дальше… сумерки уже сильно сгущаются, затянул он с ночлегом… ого, дальше небольшое расширение, так что можно спать сидя… и гнуса среди камней почти нет… повезло. Засыпая в расщелине, Вова успел подумать, что сдохнуть во сне было бы лучше всего… взять и не проснуться.

Но Вова проснулся. Солнце светило вовсю и уже напекло ему дыню.

Тело болит, согнутые ноги затекли, но все равно отдохнули. Во рту помойка, надо хлебнуть воды… Он помнит — в бухте могут быть звери, прежде чем показаться, выглядывает… никого. Попив, заходит поглубже, всматривается в воду — голяк, рыбы не видно, а вода ледяная, аж ноги крутит. Один пахан рассказывал, как под Сургутом они жрали мороженный трупак ихнего корефана, а получилось зря — на другой день их замели… а Сема-расписной, когда был в бегах, отрезал с голодухи небольшой кусок собственной жопы, и сварил… а кстати! Тут же зверье должно шастать. Сесть в засаде и подождать, авось повезет…

Вова прикидывает, где спрятаться и как половчей завалить зверя, далеко от тропы нельзя, можно упустить, а близко — учует… лучше всего наброситься, когда зверюга будет пить, но место сильно открытое… попробовать подкатить тот камень? Здоровый, сука… тяжелый, бля… ни с места. А на хрена мучаться? Можно маленькие натаскать друг на друга, ну да… типа будет такая стена… Хорошо бы еще зверь попался не крупный, а если опасный, то забуриться в расщелину…

Вова подбирает камни, укладывает… один длинный острый камень ему понравился — кинуться, оглушить по голове этим камнем, а потом заколоть… еще можно поснимать с себя ветошь, связать, типа сеть… хотя нет, если зверь подерет одежду когтями, будет совсем хуево — гнус зажрет насмерь и ночи холодные… можно будет содрать шкуру, конечно… да ну, бля, он же не Маугли бля какой-то… надо примериться, как он выскочит из засады.

Вова кладет, почти ставит на берег свою заскорузлую куртку, прячется за баррикаду, сжимая в руке острый камень. Вот он, пьет типа, ну давай… раз, два, три, ну, бля!! Он бросается к куртке и чувствует дикую боль в левой ноге, о бля!.. Боль пронзает до самого мозга, Вова падает как подкошенный, вдобавок поранив ладонь острым камнем. О-ху-у-еть… вроде с утра было еще терпимо, бля, бля, бля, как же больно! Он пробует встать… он не может опираться на левую ногу… не… так он не накроет зверюгу, скорей наоборот. Вода дает облегчение, но стопа как-то странно раздулась, опухла… неужели вывихнул? Скорей всего, а хули рванул, как тупой маклак… И тут вдруг — горячая вспышка во весь Вовин мозг! Бля! Как же просто! На хуй ебаную баррикаду! Тропа ведь одна! Ловушка! Вот оно. Охуеть, до чего просто. Надо вырыть яму посреди самой тропы, закидать ветками, засесть в кустах и зверь сам попадется.

Вова роет ножом, острым камнем, руками… понятно, пока он тут маячит, звери не пойдут на тропу, но ничего, уже скоро… В небе ни облачка, солнце висит и жарит прямо над ним, он уже несколько раз окунался и высыхал, нога пухнет и дергает, рукам хоть бы хрен — толстая грубая шкура, как у слона… Яма растет. Надо не меньше метра, а то выскочит… а еще можно обстругать крепкую ветку, сделать кол и колоть зверя сверху… только нож надо подточить о камень… запах сырого кровавого мяса, а что, сырое тоже хавать можно… Он уже не достает руками до дна, надо рыть изнутри… стены ямы приятно холодят, и камешки влажные… зато у них с Серым будет свое бомбоубежище, скорей бы уже эта война началась… всех разбомбят, а они выживут и заберут все продукты… и машины с мотоциклами… даже и самолеты можно, только как ими управлять непонятно… Таньку Колесникову тоже надо пустить в убежище, она красивая, жалко если умрет… а родителей не жалко, может хоть бить не будут… Черт! Шум вертолета, ну да! Нарастает! Как же он это, бля! Чуть не вырубился случайно…

Вова мигом откатывается в кусты, бля-я! Ежевичные. Всю рожу подрали, но как вовремя он услышал вертолет… кажется пронесло. А яма нормальная, хули дальше рыть, глубокая уже яма… Он срезает еловые ветки, прикрывает ловушку, все… а, еще надо кол…

Солнце клонится к закату, Вова прячется в дальних кустах. Если зверь провалится в яму, сразу не вылезет, а так хоть не учует… Он всматривается сквозь расплывающуюся зелень, тихо, никого… комарье искусало, нет живого места, безумно хочется пить… спуститься к реке? А вдруг он спугнет проклятую зверюгу… суки… где же их носит… только бы не заснуть. Зеленое месиво качается, усыпляет… Вова в отключке, ему кажется, что кто-то нежно вылизывает его тело, будто огромным мягким языком… может это Нинка? Не, откуда тут Нинка… что-то окутывает его тело, что-то зеленое, пушистое… теплое, как кисель, который в детстве ему варила мама… или это мама? Мама купает его, трет шершавой мочалкой…

Вова завалился набок, очнулся. Блядь, почти темно! Кишки сводит, яма не тронута, где тут эта ебаная ежевика… Наглотавшись кислятины, Вова спускается к реке, пьет… ни хуя не понятно, куда подевались все звери, неужели такие хитрожопые эти твари? Напившись и чуть успокоив в холодной воде распухшую ногу, он лезет в свою расщелину и сразу проваливается в черный сон…

По утру Вова просыпался долго и мучительно, то включался,

то отрубался… голова гудела, кровь стучала в висках… пошевелившись, он понял, как все затекло и болит… физия распухла, глаза заклеены какими-то твердыми соплями, тянешь веки, чтоб их расщелить, а хрен… расковыряв колючий гной руками, Вова попробовал встать на ноги, хуево… сегодня что-то совсем. Левая ступня в два раза шире, чем ей полагается, пальцы торчат, как сардельки, а боль такая, что не прикоснуться. Дальше идти он не сможет, вылезти хотя бы к воде… сушняк дерет глотку, огромный язык ворочается во рту, вот и конец, видать. Тут он и останется, тут и сгниет, и нормально… тут хоть комарье не сильно жалит. И жрать уже не тянет, только пить, пить… Вова хочет вылезти из расщелины, это не просто… тело не слушается, ноги соскальзывают, этот валун совсем не цепкий, даже какой-то жирный на ощупь, и как он раньше умудрялся здесь пролезать… хуже всего, если свалится вниз и застрянет ногами в той узкой щели. Падать невысоко, но уж если застрянет, то не выберется, нет у него ни хуя больше сил… а неохота подыхать не напившись… Все, пронесло, теперь он точно вылезет…

Вова высовывает голову наружу, мало ли что… не… не может быть… Бляха!!! Роскошная голая баба выходит из воды! Розовая, фигуристая, груди упруго стоят! Выходит из реки и вокруг ни души! А на берегу еще волосы распустила, у обычных баб таких волос нету… прямо плащ до колен… Или он уже сдох?! Тот свет?! Не может такого быть! Он сдох уже? Неужели?! У Вовы от ужаса помутилось в башке, все замелькало, сдвинулось… он отпрянул назад в расщелину, оступился, схватился за край валуна, но не удержался и выпал наружу, больно ударившись щекой и плечом, о-о… и кажется свернул шею. Ну нет, он еще не сдох, слишком хуево… Голая подходит, участливо склоняется над Вовой, уф… он видит ее лобок в завитушках, длинные волосы шекочут Вове шею.

— Больно, да? Можешь сам подняться?

— Ааа. я-аяуууу…яау…

Вова и сам не поймет, почему из него исходит этакое мычание, он хотел сказать…

— Ты что, не русский? Ладно, давай помогу… еще не можешь встать? Ну садись…

— Я р-руский! А я живой?

— А то! Ты откуда взялся, такой красивый? О… нога я смотрю у тебя, покажи-ка…

— Аааа!

— Так лучше? Сможешь идти?

— Куда?

— Тут не далеко… Нет, ты не сможешь. Расслабься, я тебе шею поправлю…

— Мне в поселок нельзя, я это… меня сразу заметут, я ж это… я, короче, ты только не бойся, беглый я, короче… — Вова понимает, что это и так видно, а если баба дура, то уж там, в деревне, его мигом зашухарят. А ничего, улыбается как ни в чем не бывало… ну наконец-то, бля, оделась в какое-то странное… похоже на мешок с карманами, дурное одеянье у бабы, но так-то лучше… — Ты это, сестренка, курева можешь принести? И пож… поесть бы чего-то, а? Мне в поселок нельзя, я дальше пойду.

Говорить тяжело, язык не слушается, ни хрена нет слюны, губы чужие, ватные. Вова собирается доползти до воды и напиться. А она достала из кармана здоровый гребень, грабли просто какие-то, и чешет свою черную гриву…

— Какой тут может быть поселок? Тут дней пять по тайге до ближайшей дороги… а до людей все семь… и как тебя вообще сюда занесло… Яму вырыл, совсем оголодал, да? Только эта тропа не звериная…

— Так я не врубился, ты что, одна тут живешь? Чота я не понял…

— Только наша семья, да не бойся ты, никто тебя не выдаст… люди к нам не ходят. — Заплела две толстых косищи, потом скрепила их между собой и привычным движением зашпилила на затылке, — Ладно, ты погоди, я сейчас кого-нибудь позову…

— Эй, эй! Сестренка! Ты это… стой, да подожди!

Ага, давай, похрипи еще ей вслед, только пятки мелькнули… а что, нормально… видимо они лесники… или богомольцы какие-нибудь, ушли в тайгу с концами… семья… а что, богомольцы вроде не закладывают… хотя чего уже париться, даже если его сдадут, живым он все равно не дастся, а так бы уже сегодня шаркнул хвостом прямо здесь…

Вова не верит своему счастью, неужели еще поживет, пожрет… даже и не надеялся. Напившись из реки, он отползает в тень валуна, глаза слипаются, нельзя спать, бля, сейчас же придут эти… но Вова впадает в спокойное забытье…

2

Свежий запах деревянного дома Вова запомнил с детства, он вдыхал его, не нарадовался… пока их новый дом не закурили отцовы дружки. От вонючего дыма Вова чихал, долго не мог заснуть… Мама сперва ругалась, выгоняла пьянчуг, а потом и сама пристрастилась… да… а он помнит, как ловко батя орудовал рубанком, как скручивалась и пахла нежная белая стружка… а он собирал ее в мешок и вытряхивал за забором… а потом родители стали бухать по-черному и дом сгорел, пока он был в школе, ну

да… в одиннадцать лет, как раз в его день рождения, отметили, бля, уроды… От папы с мамой остались зубастые черные чушки, с жутким оскалом, а его определили в ебаный приют… Эта изба на ихнюю совсем не похожа, но запах тот же, прямо из детства. Тут всякие коврики, полосатые дорожки, полки горшками украшены… даже над его кроватью какие-то занавесочки, бля, с петухами… все чистее некуда, а простыни аж хрустят. Ни хрена не помнит, как его сюда принесли, как укладывали… очнулся вечером в чистой постели, раны чем-то замазаны, надеты чужие кальсоны… весь день вчера продрых, как убитый. А баба что надо, в душу не лезет, жрать дает, примочки делает… Елена. Нормальная киска. Та, что мыла полы, ни то ни се, хоть и помоложе… к одному омскому вальту, как его… а хуй с ним, шастала похожая жучка, глазки в пол, прям охуенная скромница, а оказалась та еще кистяра… Мужики к нему не заходили, но Вова видел одного из окна — бородатый здоровяк о чем-то базарил с Еленой… курева у них нет… да и хуй с ним, пока неохота. Сломать ногу на ровном месте, бля, это ж кому рассказать! На Рыбинской даче один пыжик потянулся спросонья и как заорет — сломал себе обе крабины, да еще и в ногах вывихнул суставы… но это понятно — наркота сушит кости, да и барыге этому доходяжному лет шестьдесят уже было, а тут? Полная хуйня…

В комнату входит Елена, ставит у кровати миску с травяной кашей, опять будет мазать ему раны. Бесформенная рубаха, но телка явно без лифчика, груди упруго подрагивают, а какие там сосцы… так по виду ей лет тридцать, сколько ж времени у него не было бабы… раньше хоть Нинка приезжала, замуж выскочила, сучка… хотя чего? Она ж не виновата…

— Как самочувствие? Может, поешь?

— Не…

— Там Теодопулос делает костыли, чтоб ты мог вставать… здесь не болит?

— Чо?! Я не понял… кто делает?

— Да Теодопулос, мой брат, это имя такое… греческое. Смотри, раны почти уже затянулись.

— Так вы это… греки что ли тут?

— Ну… не совсем, у нас кровь давно уже перемешана… хотя наши предки приплыли с Кипра… слышал о таком?

— Вроде слышал… а муж у тебя есть?

— А что? Хочешь посвататься?

— Я?! Шутишь…

— Мужа пока нет, так что попробуй.

— И ты б за такого пошла?

— За какого такого? Мужчина ты видный, мне глаза у тебя нравятся… такие они… как сказать… простые, ясные, как у ребенка.

— Ну, это… ты того… ты чего это? Я ж так не могу, я ж это, зачем ты… ты ж меня не знаешь, нет, я само собой не отморозок… но это, вилы у меня, понимаешь? Я, короче, не мокрушник, я медвежатник, по сейфам я, то-се, замки разные, понимаешь? Я бы пятнадцатого вылупился, все путем, по-человечески… июля, пятнадцатого, прикинь! Откинулся бы по-человечески. А теперь вилы, я ж троих замочил…. кума с карасем, и еще одного вертухая… а он шестерил, падло, а потом, короче, в конец ссучился… ну, в том смысле, что стал стукачом… но я ж не хотел, бля буду! Я ж их случайно заштопал, в окно, понимаешь?! Заглянул, а они молявок уже раком поставили, в чем мать родила, приборы свои повытащили и пристраиваются… у тех очко на ноль, понятно, кому охота дупло подставлять, так и будешь по жизни фуфлыжником… а жалко молявок, один-то вообще шустряк, братана моего ученик, короче, не выдержал я, вскипишнулся, и это…

Вова переводит дыхание, хули он как на исповеди? Зацепила его эта баба, вот же, бля, ситуация… смотрит участливо…

— Погоди, ты успокойся, не надо так волноваться. Я только поняла, что ты кого-то убил, но не хотел, правильно? Я тебе верю, я только язык этот ваш не очень понимаю, «замочил» и еще пару слов, больше ничего… ты по-русски можешь мне рассказать, что случилось?

Вот те на… по русски. Не врубается… это ж заново, бля, все начинать…

— Я, короче… не это… не по мокрому делу, ну, не убийца я, короче. Работаю по замкам, ну вот… а у кума замок в новом доме заело, вот он меня и позвал…

— У твоего кума?

— Да нет, кум — это начальник колонии… а он у нас недавно, я и не знал, что он пидор… Не понимаешь? Раньше Игнатов был, так мы его уважали, человек был… а этот — гнида паршивая, так что я не сильно и удивился, когда это все увидел, ну вот….

— Погоди, что увидел?

— Ну как… со мной же двух молявок привезли, типа мусор сжигать, то-се, по хозяйству, а они оба желторотики…

— Молодые совсем?

— Ну да, молодые, но главное — срок мотают по первому разу, желторотики… причем одного я знал нормально, у меня ж братан двоюродный в Омске… ну вот, так этот Димон из ихней

кодлы, а второй — маклер из Минусинска, он, короче… подделывал бумажки, бухгалтерию всякую, букварь, короче… но с Димоном они скорешились, так что считай…

— А почему букварь?

— Ну типа сильно умный. Но гнилой. Я говорю — пошли, а он зассал… вдвоем-то легче пробираться, больше шансов, Димона тот козел маранул, вафлер, падла, вонючий… ты это, извини, чота я…

— Слушай, давай лучше по-порядку, привезли с тобой этих двоих. И что дальше?

— А что дальше?! Они их привезли для другой, понимаешь, цели — чтобы опустить, ну… отыметь, понимаешь?… Нет? Совсем вы тут дикие… Короче, изнасиловать, как женщину, только в задницу, теперь ясно? А я слышу, крики, шум из бани какой-то идет, заглядываю, а карась, сука, ну, надзиратель… Димона пизд… бъет Димона, короче, по дыне флюшками… по голове… кирзухой, бля! Видать он им не давался, а второй раком стоит, мордой в лавку уткнулся, дупло выставил, сам рыдает, трясется весь, но беззвучно, а кум уже калошу натягивает, сам бухой в жопу…

— Зачем?

— Что зачем?

— Я про калошу не поняла.

— А, ну это… в смысле резинку, гондон надевает, не важно, короче, это я так… -

Вова думает — вот же, бля, влип в историю… про такие дела бабе рассказывать, а она к тому же не врубается, слова, бля, подбирать надо разные… — Ну вот, а эта крыса кумовская… там же охранник с ними еще был… бывший мерин… ну, зэк скурвившийся, то есть, как сказать… выслужился перед начальством, короче… так он меня заметил в окне и лыбится мне прямо в рожу, падло, — мол, ни ху… мол, смотри-смотри, все равно ничего не сделаешь, не пикнешь даже, а у меня к тому же месяц остался до звонка…

— До звонка?

— До свободы, выйти я должен был пятнадцатого, я ж те говорил, ну короче… чо-та я вольтанулся, такое зло вдруг взяло, аж в мозгах помутилось… что ж вы суки из нормального цигоря бабу делаете? А тут еще кум решил поссать, вышел во двор, выставил аппарат…

— Опять не понимаю…

— Чо не понимаешь-то? Поссать? По-маленькому захотел, пидерюга… Тут меня перемкнуло, взял полено и дал ему наркозу… поленом по голове его треснул, он и не взвизгнул, а у

него из шкаров керогаз выпал… ну, пистолет вывалился из кармана, тут я вообще соображать перестал, а по любому уже вилы, сечешь? И еще этот козлина выруливает… охранник, что лыбился, но хипиж поднять не успел, я его жекой полоснул по горлу, чтоб не шуметь… а потом засмолил

карася, а Димон…

— Как это засмолил?

— Да пришил. Застрелил, короче… тот говноед во дворе еще хрипел и корячился, но я на него патроны тратить не стал, все равно не жилец был, а кума таки пришлось напоследок заделать… а Димона, прикинь, они насмерть забили, я как стал его поднимать, у него кровь горлом пошла, опоздал я, короче… ну и свинтил, а хули было делать? Обшмонал там все, нарыл у кума патроны, жратвы набрал, колбасы там, все такое… а, это, лавэ на всякий случай прихватил, пару прессов, там до ху… короче, там много денег… а, бля! Они ж мешке остались! В камнях, бля!

— Тихо, ты куда вскакиваешь? Поправишься и заберешь свои деньги, нам они не нужны…

— Да не, я это… это я так, вспомнил просто…

У Вовы ходят желваки, вот же рог, вот тундра! Вспомнил, бля, про лавэ, чухан тупорылый… вот же западло! Подумает, что он жлоб, шнурок какой-то вонючий… вскочил еще, как подстреленный буратино, надо ей сказать… как это, бля сказать-то… что пусть забирает всю эту капусту, купит себе чего-нибудь, платье там, по хозяйству, не… лучше наверное потом самому принести…

— А второй-то что?

— А? Чего?

— Второй-то выжил или нет? Как его… букварь?

— Букварь пустил парашу, завис, бля… я говорю — лучше уж сдохнуть вольнячими, шевели гнилушками, они ж на тебе отыграются! Получишь особняк, что бы ты там не чирикал, дупло порвут и срок еще намотают…

— Особняк дадут? Это как?

— Строгача дадут, особый режим… в трюм посадят, в карцер, понимаешь? Накажут, короче… это в лучшем случае. А могут и дело пришить… обвинить, короче, в случившемся. А он уперся и канючит — ты, говорит свяжи меня и оставь в сарае, я бежать не могу, мне пожить еще охота… гнилая дыхалка, бля… Типа его привезли, сразу вырубили, связали и бросили в сарай, синяк у него на пол рожи, это точно. А Димона типа одного в баню повели, а этого на закусь. И ни хрена он не видел и не слышал, ну чистый фраер… так что остался, такие вот дела…

Вова дышит прерывисто, он отвык так долго говорить… закрывает глаза, надо передохнуть… Сердце колотится от умственной натуги, в теле какой-то озноб. А еще она так смотрит… поглаживает его по руке, бля… как будто он маленький… а что, если он ей и правда пришелся, заживут как люди… или перекантоваться хоть какое-то время… не, нехорошо так с ней, а в натуре — тайга, охота, все дела, ему ж всегда хотелось чего-то такого, типа настоящего… чтоб свой дом, чтоб баба хозяйственная… родители, суки, всю жизнь ему изговняли, и братан… вот на хуя было выдергивать малолетку? Он же учился нормально, в техникум хотел поступать… ага, это сейчас Вова так грамотно рассуждает, а тогда сразу крышу снесло — бабла немерянно, крутые шмотки, дорогие шмары… понятно, кому понравится ишачить при таком раскладе, не… каждому свое, от судьбы не скроешься ни хуя… Вова открывает глаза, он дышит уже ровнее. Елена потихоньку ушла, а он и не услышал, надо же… и зачем он ей нужен? Если, конечно, не врет… эх, красивая баба, но трахнуть ее он сейчас бы не смог…

Вовины костыли пахнут сосной, смола аж сочится наружу… Не село, но вполне себе маленькая деревенька, он насчитал восемь домов, не считая всяких сараев. Елена сказала, что здесь живет двадцать пять человек, есть даже дети… ничего себе семейка. Дома все как один похожие, просто кубики без нормальной крыши, заборов у них нет, скотины тоже нигде не видно… и не слышно. Даже петухи на рассвете не орали, на занавесочках у них петухи, бля, а в хозяйстве нету… одни коты вокруг. Котов до хуя. И все такие ленивые, толстомордые, еле ворочаются. В основном они дрыхнут под навесами, но некоторые и на солнышке отдыхают. Вон, жирный котяра сидит на дорожке и ни с места, ишь, бля, уставился прямо в глаза… ну, чего вылупился? А ряха довольная, наглая… ну, хотя бы коты.

Сегодня ночью Вова спал не крепко, ворочался, пару раз просыпался поссать… похоже, он за эти два дня отдохнул. Рано утром его разбудило хоровое пенье, выглянул в окно — у самого здоровенного сарая народ распевает что-то занудное… бабы в этих идиотских серых мешках, а мужики все бородатые, патлы длиннющие. Пока пожрал-посрал, пока принесли ему костыли, люди уже куда-то подевались, даже детей не видно, как вымерли все… только один старикан греет лысину на скамейке у дома, Вова присмотрелся — бля, вяжет спицами! Да так ловко орудует… охуеть. Вова ему — "Здорово, батя! " А он и ухом не ведет, глухой что ли дед… Оказывается, тот сарай — ихняя церковь, так что Вова был прав — богомольцы, только греческие

какие-то… но церковь эта на вид — чистая тюряга. Обструганные сосновые стволы выставлены по квадрату, а сверху еще остро заточены, только колючей проволки не хватает… а крыша, как крышка у гроба. Такое все у них квадратное, прямо тоска берет… а в доме все путем, уютно, и не подумаешь. Русская изба со всеми делами… Надо будет спросить у Елены, что это за хуйня такая… хотя и одежда у них хуевая, ладно… а то еще обидится. Греки так греки… жратва вполне нормальная, мясо с картошкой, борщ… да много разного, утром принесли блины со сметаной, варенья всякие, овощи… вот только где они все это берут, если огородов у них нет, не видно ни хуя… может где-то дальше они, надо будет спросить. Хрена тут тогда? Ни скотины, ни огорода, со скуки же сдохнешь… А может они котов этих жрут?! Хуй знает, чье мясо ему давали… откармливают и хавают котов, они ж греки, бля, хуй их знает… не, это бля, вообще… да ну, не может быть. Елена ушла собирать какие-то травы, сказала, что к обеду вернется… некуда ему отсюда деваться, а тут, похоже, тоска… и как-то муторно на душе, погано.

Вова уже два раза обошел всю деревню, рассмотрел каждый дом, ни хуя интересного… и вдруг видит — бля, из леса ж выходит народ! И быстро так приближаются, никуда уже на хуй не денешься, до дому ковылять далеко. Да, вся их кодла откуда-то валит, детей никаких не видно… хм, и все вроде приветливые такие… "Здравствуй!" — все мужики кивают, проходя мимо Вовы, смотрят по доброму… как-то сочувственно даже, охуеть… а бабы прямо лыбятся во всю, надо ж, крепкие какие у них бабы, зубастые… а морды так себе, грубые и сильно морщинистые… Елена! Она идет позади всех, она, точно это она! Вовино сердце сразу бьется сильнее, а ноги слабеют, устал он наматывать круги…

— Гуляешь? Молодец. Еще не устал?

— Я это… не, нормально. Я только чуть посижу… о, вот тут посижу, на бревнах…

Она помогает Вове устроиться и касается его спины своими большими грудями, а он вспомнает все ее тело и его член начинает крепчать, да, бля…

— Слушай, а чего у вас это… ну, скотины тут нету что ли? Одни коты и ни ху… ну, куры там, свиньи, короче, не знаю…

— Здесь мы живем, а хозяйство есть, конечно… только надо немного пройти, я потом тебе покажу.

— А… а то я смотрю — одни коты, я даже подумал, прикинь, что вы это… едите их, может…

— Кошек едим?!

Она смеется так заразительно, что Вовин рот невольно

растягивается в ухмылке. Вова знает — зубы у него не того… за последний год чота сильно они скрошились, думал на воле повставлять, теперь уже хрен…

— Это кошки Святой Елены, красивые, правда? Они тебе нравятся?

— Нормальные… а на ху… а почему их так много?

— А мы их любим… наши предки привезли их с собой в Россию, вернее, не их самих, конечно, а тоже их предков… понимаешь, в четвертом веке Святая Елена основала на Кипре несколько монастырей, Святой Дух подсказал ей нужные места… но в тех местах водились ядовитые змеи, ужасно много змей, они постоянно кусали монахов… и Елена придумала, как истребить змей, она привезла из Рима целый корабль кошек, представляешь? И расселила по монастырям… а это их потомки.

Гонит какую-ту пургу, опять Елена, еще святая, бля… змеи… может у них тут все бабы Елены, все в мешках и имена одинаковые… и хуй стоит…

— Я это, котов… не, они нормальные, но я собак больше люблю, у меня в детстве собака была, овчарка… ну, в смысле пес, Лазарь, ну короче…

— Лазарь?! Нет, правда Лазарь?

— А чо такого? Нормальное имя…

— Поразительно! А почему ты его… это ты его Лазарем назвал?

— Да корифан мой, Серега, ну, одноклассник… это ж сначала ему завели… но его мамаша сильно чихала, шерсть не переносила, короче. А у них своего двора не было, только квартира, ну и я, короче, забрал… но он Серегу все равно потом слушался, ну типа два хозяина было, я даже это, поссорился я с ним, короче…

— С Лазарем?

— Не, с Серегой. Я говорю — на хуя ты… ну, в смысле… что не надо давать ему команды, а он все равно давал, сидеть там, лежать, то-се… он говорит — я что, виноват, что он меня слушается? А причем тут это?! Раз ты не хозяин уже, то и не командуй, правильно? Ну и подрались, короче… и потом уже только через год помирились, когда батя Лазаря по пьянке забил, урод, бля…

— Как это… насмерть забил?

— А то, бля…

— Ну надо же, какое совпадение, выходит, у тебя был пес Лазарь… я думаю, это неспроста… интересно.

Чего неспроста? Не, странная все-таки баба… так вдруг раздухарилась… аж разрумянилась вся… ну Лазарь и Лазарь…

— Так это… у тебя тоже был пес Лазарь?

— Понимаешь… ладно. Раз уж об этом зашла речь… это имя связано с нашей семьей, мы называем себя лазаритами, потому что наш учитель и прародитель — Лазарь из Вифании, близкий друг Иисуса Христа… знаешь эту историю? Нет? Ну так вот… Лазарь умер и пробыл в гробу четыре дня, а потом пришел Иисус и воскресил его, и многие люди тогда уверовали в Иисуса, Лазарь ведь уже разлагался вовсю… а после распятия фарисеи захотели убить Лазаря, и ему пришлось бежать на остров Кипр, там он женился и родил пятерых детей, и еще написал Евангелие, которое нам удалось сохранить… но я не хочу сейчас подробно об этом рассказывать, а в двух словах не получится… мы лучше потом поговорим…

О боже! Что это она делает?! Сумасшедшая баба… зачем она руку туда?! Она расстегивает ширинку, о… берет рукой освободившийся тугой хуй, да как же… прямо здесь, на этих бревнах?! О, как она сжимает его… как охуительно дрочит…

— Расслабься, закрой глаза, нас никто не видит… я же чувствую, как ты возбужден… тебе станет легче, вот увидишь….

О-о-о…

3

Тяжелые от помокревшего снега, гнутся еловые лапища, во всем уже присутствует весна… даже идти стало труднее, заныла нога, так-то оно ничего, а на погоду все еще ноет… наверное Анфим и Мелетий уже готовят баньку, они пошли по короткой дороге… а он любит эту тропинку вдоль реки, здесь простор…

Вова вдохнул полной грудью… сколько ж всего намешано! И талая хвоя, и прелый дух открывающейся земли, и Ангара… даже запах камней он теперь различает… а ведь раньше, когда курил, совершенно не понимал воздуха, да… теперь вот он станет отцом. К этой мысли Вова пока не привык, он узнал только вчера. Елена еще… как будто даже и не рада, странные эти бабы… или так хитро прикидываются? Я, говорит, забеременела. Вздохнула тяжело и отвернулась мыть посуду, вот и весь разговор. Что тут скажешь…он хотел было обнять ее, то-се… а потом как ошпарило — а вдруг пожалела? Что с зэком спуталась… да нет, чушь это, конечно, ерунда… а может она забоялась рожать? У нее ж мать умерла тут от родов… так вроде не из пугливых, и потом — почти два года они живут, ну да, в июне будет два года уже, и сколько разговоров было про ребеночка, они и надеяться перестали, и вот на тебе… не, бабы странные, что у них там в голове… вообще он слыхал, что беременные женщины бесятся, сами не знают, чего

хотят, как болезнь это у них, тогда еще ладно… или как один карась рассказывал, что его баба жрала говно, когда ходила беременная, а иначе ее тошнило… вот зачем такое рассказывать кому попало… жрала… Елена бы сразу одернула… просто вспоминая карася, Вова мысленно повторил его слова, сам бы он так уже не сказал… а чего ей стоило отучить его от фени, и материться через каждое слово… стала бы она так с ним нянчиться, если б не любила? То-то и оно… дурные мысли сегодня лезут в голову, а погода отличная…

Вова постоял на высоком берегу Ангары, как хорошо-то… он привык к этой размеренной жизни, а другой и быть у него не может, на том спасибо… люди тут хорошие, главное, что не вяжутся к нему со своей религией… а поговорить даже любопытно бывает, но только с бабами и можно, мужики-то все молчуны — слова не вытянешь. Хотя даже эту странность, что мужчины в семье никогда не улыбаются и не смеются, со временем перестаешь замечать, а сперва было удивительно — лица каменные, ничто не дрогнет, ну разве что чуть уголок рта… такая вот традиция, этот их воскрешенный Лазарь никогда не улыбался, и они туда же… вроде дикость какая-то, а у нас разве лучше? Вот он Вова Бобров, и что дальше? Какого он роду-племени? Даже бабушку с дедушкой своих никогда не видел, жили где-то на Украине, померли и ладно, батя их не любил… а мать вообще детдомовская, а он вор и убийца… а эти киприоты молодцы, знают всех своих предков, поименно… А ведь его сын станет таким же бородатым, будет гимны распевать возле сарая… да уж, мальчиков они воспитывают по всей строгости, в своем духе… а если родится девочка, может оно и лучше… женщины тут в почете, заняты только домом, а так — гуляют себе, где хотят, травы сушат, книжки читают, если бы не Елена, прочел бы Вова когда-нибудь Льва Толстого? Навряд ли. А уж байки свои рассказывают — заслушаешься… Им даже петь не обязательно… главное, чтобы рожали. Он как-то спросил у Елены, откуда вообще лазариты берут женихов и невест, не в тайге же находят, хотя пару раз и такое бывало… так выяснилось, что мужики вообще не женятся, через них передается только это… типа святого духа, а женщин приходится выводить из тайги на лесоповалы, или ловить дальнобойщиков, или вон на мраморные рудники… главное держаться подальше от мест, где могут спросить документы. Парочка бородатых сопровождает ее обязательно, с оружием, все путем, это ж десятки километров они идут по тайге, опасно… и там она познакомится с кем-нибудь, пару раз переспит, для верности можно и с несколькими, главное, чтобы с виду здоровые, а там уж как повезет, бывало и уроды

рождались. Так что чужаки в семью попадают редко, Елене сильно повезло… ее тоже пару раз выводили, но она не беременела, ну и решили, что бесплодная. Так что прыгать до потолка должна от радости, а она… ну все, дурные мысли пошли по кругу, надо о хорошем… сейчас он попарится в баньке, почувствует каждую косточку, а потом они с мужиками тяпнут по маленькой самогона, завтра начинается пост и до самой Пасхи уже ни-ни…

Живот у Елены слегка наметился, еще даже не округлился, а только плотно натянулся, это заметно, когда она раздета. Теперь, во время беременности, Елена носит длинную выбеленую рубаху и красный мешок на лямках, типа сарафана, сама пошила и покрасила в тазу. Выглядит диковато, но беременным у них так положено, значит… Лазарь Четвородневный был жителем Вифании и близким другом Иисуса Христа, не раз оказывал ему гостеприимство вместе со своими сестрами Марфой и Марией. Иисус воскресил Лазаря спустя четыре дня после погребения, Марфа напомнила, что тело уже начало разлагаться. Но Иисус приказал отвалить камень от склепа и позвал — "Лазарь, иди вон!"… и тот вышел из пещеры… вышел из пещеры, оплетенный погребальными пеленами, так… дальше распятие, это он нормально знает… а после распятия фарисеи преследовали Лазаря, и спасая свою жизнь, он уехал на Кипр, где стал епископом Китиона… вернее, сначала женился и родил пятерых, так, по старшинству, это важно… Феофила, Алексиоса, Константина, Иеронима и Анну… в тридцать лет он уехал, в тридцать третьем году… а в сорок пятом…

Вова то и дело отвлекается, смотрит в окошко, а ведь до обряда осталось всего два дня. Но Елена! Ходит по двору голяком, то вдруг встанет и раскачивается тихонько, улыбается, что-то бормочет, понятно, что молитва какая-то, но блин, возбуждает! Она так теперь часто. Сам обряд Вова еще не выучил, но там вроде ничего сложного, Теодополус обещал пройтись с ним вечерком по пунктам… а все эти даты-события он может перепутать к чертям… ну и что, не возьмут его в лазариты? Непонятно… сказали, что что если он не ответит на половину вопросов, придется ему уйти из деревни. Вове, если честно, не верится… нет, ну они ж видят, что он старается, просто память не резиновая, ладно… короче, на чем он, а, в сорок пятом на Кипр прибыли апостолы Павел и Варнава, обратили в христианство весь Кипр и самого этого римского, как же его… а, проконсула, и назначили Лазаря епископом Китиона, так-так-так… затем Лазарь творил чудеса, чудо сотворения озера, это он помнит, ладно… и ни разу не улыбался, только один раз на базаре, когда увидел, как

вор украл горшок и бросился бежать, Лазарь рассмеялся и сказал — "Глина украла глину!", да.

Вова путается в мыслях, не может сосредоточиться. Он будет таким же бородатым, и улыбаться теперь нельзя, странно… а если он случайно улыбнется или засмеется? Сразу ведь невозможно отвыкнуть. В сущности, что изменится? Будет на рассвете распевать эти гимны, а по субботам ходить в сарай, интересно, как там внутри у них все устроено, в этой церкви ихней… а, блин, с церквями надо еще разобраться, так… церковь Святого Лазаря в Ларнаке, Ларнака это по ихнему — гроб, откуда мощи Лазаря якобы были переправлены в Константинополь, а на самом деле выкрадены и сохранены семьей, теперь они тут, в сарае… тьфу ты! Сарай и сарай, так ведь и назовет эту их главную святыню сараем… дальше. Монастырь Агнос Неофитос в Пафосе, Киккос в горах Тродоса, тьфу, китайская грамота! А лазариты жили в Лемесосе, рядом с монастырем Святого Николаса, оттуда и кошек своих привезли… так… турки их притесняли, все такое… потом вообще обнаглели — стали совать монахам в рот уздечки и ездить на них, повесили кипрского архиепископа, обезглавили митрополитов, этих… а, игуменов. Семья бежала сначала в горы, а потом переправилась на корабле в Россию, это было в 1821 году… с собой они вывезли — мощи святого Лазаря Четвородневного, Евангелие Святого Лазаря, берцовую кость Апостола Варнавы, несколько кошек и котов из монастыря Святого Николаса и Евангелие от Матфея, найденное на груди Апостола Варнавы в его гробнице. Теперь надо пройтись по епископам. Кирилл Пафский, Геласий Саламинский, Спиридон Тримифутский…

В ночь на Лазареву Субботу Вова плохо спал, сны снились нехорошие. Ну например — стоит он на шатком-прешатком железном балконе, а внизу расстилается море. Вове страшно даже пошевелиться, вся конструкция вот-вот рухнет, а плавать он не умеет… или про парашу. Тужится он на параше… в смысле, в отхожем месте, в камере, и тут вдруг входят гости и начинается шмон, ищут наркоту. И его сгоняют с параши, а там, бля! Полная параша пластилина! И так выходит, что это его наркота, а он же ни сном, ни духом… а тихарь уже шмоняет по карманам, и там! Вова что-то стал им доказывать, мол не мое, то-се, тут его и вырубили ударом в башку… Проснулся. Елена говорит, что ничего страшного, что он просто волнуется перед обрядом, может и так… опять феня полезла. Елена-то промолчала, он сам спохватился… сегодня все женщины в красных мешках, а мужики в белых, так теперь до Пасхи и будут ходить, всю неделю, это у

них самые главные праздничные дни… сейчас еще теплынь, а в прошлом году какая была мерзкая погода — ветер, мокрый снег, по ночам заморозки, а они в мешках разгуливают… Вове даже смотреть было холодно. Сегодня утром ему тоже принесли надеть это белое, выглядит он теперь как полный… короче, лучше в зеркало не смотреться, на других он уже попривык видеть, а сам вот… особенно раздражает, что руки остаются голые. Елена побрила ему голову и все тело, затем натерла хвощевой мазью, он ее не распрашивал, надо так надо… и так понятно, типа новая жизнь начинается, все такое… вот только не ясно — если такие серьезные приготовления, неужели все равно могут выгнать? Ну перепутает он с перепугу какого-нибудь Юстиниана с Димитрианом, и чего? Ногой под зад? Вот про это Вова спросил. Елена считает, что все будет хорошо, успокаивает… мол, если он твердо решил остаться, то все это поймут и он останется, понятно, если бы зависело от нее… успокаивает. Под окном голоса, похоже, за ним уже пришли… Вова силится вспомнить, как звали старуху, пожалевшую для Лазаря гроздь винограда, и не может… черт! А ведь знал. Вот так все и повылетит из головы, и в школе так было…

Вова выходит на крыльцо, смотри-ка, да тут вся семья в сборе… даже старших пацанят привели, Прокла и Антония. Близнецам по двенадцать лет, а они возятся, как котята, щипают друг друга и постоянно хихикают… а к пятнадцати уже должны быть как все… чудеса, это же дети, ну посмотрим…

Выход Вовы сопровождается трещотками и радостным улюлюканьем женщин, его окружают, ведут к сараю, а дорога выложена еловыми ветками, они колются, щиколотки-то голые… к Святилищу, тьфу ты господи! Перед самым входом женщины осыпают Вову разноцветными хлебными шариками… один шарик больно ударяет в переносицу, придумали, блин, идиотское конфети, оно ж как глина… он опускает голову, мало ли… Все женщины остаются снаружи, и Елена… и близнецов не пустили…

Внутри Святилища Вова ожидал полумрак, но это же мрак какой-то полный, темень! Не видно даже собственных рук. Его слегка направляют, подталкивают, ведут куда-то… Вова предупрежден, что нельзя говорить, пока не начнут задавать вопросы… спрашивать будет сначала старик Анфемиос, потом остальные, скорей бы уж… эта темнота и молчаливое шарканье ног начинают его раздражать…

— Мир тебе! — и кто-то твердо удерживает Вовино плечо, надо остановиться? Пожалуйста… — Какова твоя воля?

Вова чувствует, как его горла касается острие, так… он знает про это, он должен быть спокоен, шевелиться нельзя, иначе

поранишься.

— Я слушаю и таю в себе, иначе будет рассечено мое горло и язык мой вырван из уст моих.

— Есть ли у тебя цепь?

— Есть.

— Какой она длины?

— Как от моего языка до моего горла.

— Занят ли ты чем-нибудь?

— Нет.

— Беден ты или богат?

— Ни то, ни другое.

— Будешь ли ты отдавать или забирать?

— И то, и другое, или как ты пожелаешь…

— Кто есть я?

— Ты есть Анфемиос семиждывоплощенный, Архиепископ Кипрский, обретший Святые Мощи Лазаря Четвородневного и его Святое Евангелие в году четыреста семьдесят восьмом от Рождества Господа нашего Иисуса.

— А как ты отыщешь Великий Светоч?

— Он тут, в Святилище. Там, где солнце, покинув юг, касается западного угла.

Фу, пока все вроде гладко, ни разу не сбился… эти ответы он вызубрил, хоть и полная дурь, а легко запоминается, вот с датами у него гораздо хуже. Хриплый голос делает паузы, видно, тяжело старику… Душно. Кажется, что темень сожрала весь воздух… сердце колотится, как после Елены, сегодня ночью она была такая… он даже волновался, не повредит ли это ребенку… все! Куда опять мысли…

— Сколько есть братственных уз?

— Пять. Рука в руке, ступня к ступне, колено к колену, сердце к сердцу, ухо к уху.

— Дай мне слово Иерусалима.

— Гиблии.

— Дай мне слово Вселенной.

— Боаз.

Сказал, и вдруг — светлее! Все становится вокруг светлее… вот видны уже силуэты… ага, зажигают свечи по кругу. Такие огромные толстенные свечи, Вова таких еще не видел. Ха, Анфемиос прямо царь — восседает на высоком стуле типа трона, мантия до пола, шапка с камнями острая… что теперь, интересно? Экзамен, наверное…

— Клянись!

Странно, вроде клятва в конце должна быть, после всех дел…

— Клянусь служить Господу и помогать своим братьям,

клянусь воплотиться или умереть!

Вова в замешательстве — неужто пронесло? И никто больше не станет его допрашивать? А он, блин, боялся… Эта клятва должна была прозвучать в самом конце, если его примут в семью, так говорил Теодополус… перепутал? Или Вову уже и так приняли? А что, он отвечал без запинки… Старик Анфемиос с трудом слезает со своего трона, вот бедняга, он же еле передвигается, сто четыре года, не шутка… но главное, не в маразме. Вову опять легонько подталкивают в спину, ну да, он засмотрелся на старикана, а все уже куда-то идут со свечами. Выстроились в два ряда, а он… ага, понятно, он должен пройтись по этому коридору… Анфемиос берет его за руку, с ума сойти, какая сухонькая горячая ручонка, цепкая… Вову немного пошатывает и неприятно сосет в желудке, голод дает знать… он ведь не ел уже больше суток, только травяные отвары давали ему пить перед обрядом…

— Ныне ты узришь Великий Светоч, ты готов?

— Я готов.

Там, в конце живого коридора, виднеется какое-то возвышение… похоже, стол… черт, это гроб… Ну конечно! Великий Светоч — это же мощи ихнего Лазаря, что-то Вова совсем отупел, ведь он же знает… значит, сейчас ему покажут эти кости, ну посмотрим…

— Перед лицом Великого Светоча готов ли ты ответить нам?

О, блин, вот оно что… он расслабился, а тут все только начинается… размечтался. Лазариты опускаются на колени, забормотали молитву по-своему… а еще как назло в Святилище проснулась какая-то муха и теперь мечется, ее жирное жужжание то дальше, то ближе, наверняка такая огромная черная муха… хоть бы долго не мучали его, муха эта еще… Старик сделал ему знак оставаться на месте, а сам подходит к гробу вплотную и трижды кланяется до земли, ну ничего ж себе! Вова так бы не смог… а старик как будто полегчал и расправился, прямо помолодел, походка пружинит, спина ровная… Анфемиос сдернул покрывало, зажег возле гроба две свечи, слышится скрип… ага, крышка ползет вбок, механизм у них там встроен какой-то… теперь подзывает его…

Вова подходит к Святыне со всем почтением, на какое только способен, даже руки на груди зачем-то скрестил, ничего, пусть видят, как он уважает их веру… уфф… в глубоком гробе лежит маленькая сморщенная голова… то ли птичья, то ли человеческая, с седыми спутанными волосами… и несколько разрозненных косточек… голова выглядит ужасно, особенно в неровном свете свечей. Острый ссохшийся нос — чистый клюв,

длиннющие кустистые брови над черными провалами, а в этих глазных ямах поддрагивают тени, и кажется, что оно живое… жуть. Вову передергивает от вида шеи — ее нет, один обглоданный позвоночник, голова насажена на тонкую палочку…

— Хочешь ли ты стать нашим братом? Отвечай.

— Да, я хочу… — голос все-таки немного дрогнул, может быть не заметили…

— Подумай. Сейчас ты еще волен уйти.

Черт, старик услышал… как там надо сказать, черт, черт, а, вспомнил!

— Я твердо решил остаться и хочу перевоплотиться! Перевоплотиться или умереть!

— Хорошо, мы верим тебе…Ты проведешь в гробу четыре дня, и тебе будет видение, из которого узнаешь свое новое имя. Если же этого не случится, значит, ты не избран и ступай с миром… ты готов к испытанию?

— Я… я? Как это?!

У Вовы клокочет в ушах, в глазах опять темно, что они хотят?! Этого быть не может… не может! Ему же никто… с ним лежать?!

— Не бойся, мы все через это прошли…

Это говорит Теодополус, он подошел, смотрит мягко… глаза точно как у Елены, Вову всегда удивляли эти Еленины глаза на заросшем лице Теодополуса, Елена… да о чем он, какая Елена?! Не, он не будет, сейчас он им скажет…

— Послушай… в тебя войдет еще одна душа. Это может быть член семьи, или монах, или мученник, или Апостол… а может и сам Лазарь, это маловероятно, хотя мы всегда надеемся. Во мне живет Симон-прокаженный, в Анфиме — епископ Серафим, наш дальний предок, и так в каждом… и все мы ждем второго воплощения Лазаря, так завещано…

Теодополус продолжает, но Вова уже не различает слов, он не может оторвать взгляд от разверстого гроба и этой жуткой головы, тошнота подкатывает к горлу, если только даже коснуться этой мерзости с шевелящимися как черви глазницами… а они все лежали тут с ней и его хотят…

— Эй, эй, Владимир! Что с тобой?!

Теодополус заметил, что с Вовой неладно, хочет отвести его в сторону от гроба, но Вова как будто прирос, не отрывая взгляда от Лазаря, он шевелит губами, пытается сказать… но выходит только что-то отрывочное: " я…я…не…я… и не…"

— Святой Лазарь! Святые Отцы-киприоты! — Теодополус вдруг понимает. — Разумеется, нет! О Господи, как ты мог подумать, что будешь лежать вместе с Великим Светочем?!

Нельзя! Ты будешь в отдельном гробу, Владимир! Это хороший большой гроб, он там, немного ниже… ты успокойся, тебя никто не принуждает. Но решать надо прямо сейчас — да или нет. Все в твоих руках. Ты прошел обряд и стоишь на пороге Великого Посвящения… так что ты решаешь, Владимир? Да или нет?

Нет, конечно нет!! Вы же все больные придурки! Да лучше сдохнуть в тайге, чем такое! Четыре дня в гробу и никто даже не намекнул, ни слова! Даже она! Сука, бля… она-то могла бы! Скореее отсюда, выйти на воздух, скорей, бля…

— Отвечай. Ты готов?

— Да, да! Я готов!!

Это кричит Вова, но что он… зачем?! Победный вой лазаритов сотрясает застоявшийся воздух, они машут руками и истошно орут, на Вову прямо ветром задуло… О черт! На него что-то накинули, что за блядь?! Мешок? Но зачем, на хуя?! И поверх чем-то вяжут, обматывают! Вова бъется внутри, кричит-извивается, он переду-у-умал!! Поздно, уже куда-то его несут… Но Вова не сдается, должны же они понять наконец! Он дергается из последних сил, волосатый мешок забивается в рот, а-а-пччх!! А-а-а… пчхх! А в носу тоже какая-то труха, да он задохнется, какие четыре на хуй дня?! Уроды, бля! Развяжите меня! Козлы вонючие!! А-а-а-а!!!

Отдав весь воздух последнему крику, Вова мякнет в несущих его руках. Он теряет сознание, нет больше сил…

4

Вова слушает свое дыхание… оно скупое, но ровное. Не глубокое, приспособилось во сне. А вот сколько времени он спал, это вопрос. Час? День? Пару минут? Руки примотаны к бокам и онемели… он открывает глаза, закрывает… один хрен. Вова делает глубокий вздох, получается, этот мешок пропускает воздух… воздух, как в погребе, и вообще зябко, нога уже стала ныть потихоньку… Ему хочется ощупать гроб, прикоснуться к чему-нибудь, поворочаться… не, если бы знал, что его засунут в мешок и обвяжут, послал бы всех сразу… вот как его угораздило? Причем по собственной воле… Батя закрывал Вову в пыльном чулане, там висели старые шмотки, густо посыпанные нафталином, и Вова приникал носом к единственой щелочке, но воздуха все равно не хватало… и весь день потом трещала голова, и слезилось, и чихалось… ведь за всякую ерунду закрывал, сволочь. А все-таки непонятно — сколько он тут пролежал… такого страха натерпеться, да еще с голодухи… вполне можно было отрубиться на сутки. Хорошо бы… вот теперь гадай, когда

его достанут… И гадкая мыслишка крутится возле Вовы, как та муха — а достанут ли? А если они принесли его в жертву своему Лазарю? Этой голове… Ведь явно они сумасшедшие, два года почти с ними прожил, ну мало ли, богомольцы… а тут, бля… А он не их крови, так что вполне. И ребенок его будет таким же уродом, в пятнадцать лет они их в гроб засовывают, теперь-то Вова понял… хоть бы девочка родилась… а Елена… не даром она так напоследок расстаралась в постели… не любит. А то сказала бы… а может обойдется? Во-первых, от него еще может быть польза в смысле детей, а что? Чем по тайге мужиков выискивать… да и вкалывает он не хуже других, и относятся к нему, не, обойдется… Лежится вроде пока нормально, он немного расшатал путы, так что руки уже не перетягивает, знать бы сколько еще… и есть неохота, наверное сильно переволновался, или отвары эти отбили аппетит… они-то знали, что делают… а если он вдруг поссать захочет, или чего доброго… вот уроды! Пока не хочется, но три дня ведь еще… два, как минимум… лучше всего заснуть, отрубиться и все… Вова пробует, но не выходит. В принципе можно попробовать вылезти из мешка, но их же не поймешь… вдруг не засчитается этот их дурацкий обряд… подумают, что хотел сбежать… Вова вспоминает что-то смутное… имя… Анфемиос говорил про какое-то имя, ему должны будут сказать новое имя… кто должен? Ни хрена не понятно, тут же нет никого… или это уже наверху ему скажут? Вспомнить бы… нет, невозможно. Он как увидел этого Лазаря… и почему было так жутко, подумаешь, голова… но как только Вова вспоминает голову, это возвращается… а ведь он и не такое видал в своей жизни, и похуже бывало… Когда Колян барнаульский пытался свинтить из бура, они его собаками… так собаки порвали Коляна на части, натурально, и таскали туда-сюда по территории… а голову ж вообще долго не могли отобрать у этих тварей, все лицо ему на хер содрали, родная бы мама не узнала… А еще Вова помнит, как один флегон, его сосед по камере… ну эскимос, что с него взять, захотел на больничку и три дня жрал только нифеля и спал голяком на цементном полу, чтоб простудиться получше… а его все не забирали, вертухай хитрожопый попался, что-то он заподозрил. Ты у меня, говорит, мутила, заместо прогулочки в клетку пойдешь, за скребок, бля… раскусил он его, короче. А эскимос совсем уже доходит, кровью харкает… так и откинулся в камере, страшно было — вскочил среди ночи и давай башкой о нары биться и выть, никто ж не ожидал… а потом у него кровь горлом хлынула, а он мечется и на всех кидается, бля, царапается… всех оплевал, измазал… ну вырубили его, конечно, а к утру он уже окоченел, руки-ноги все повывернуты, как у

паука, бля… и такое лицо, что Вова никогда не забудет… глаза чисто красные, выпяченные из орбит, как две помидорины, губы зубами насквозь прокусаны, жуть… одному ихнему даже дурно сделалось, всю парашу облевал…

Вова пошевелил ступнями, размял кисти рук, сколько же прошло времени, непонятно… за три дня вряд ли появятся пролежни, но зад хорошо онемел, он сжимает и не чувствует ягодиц… что хуже? Когда он подыхал в тайге или сейчас… вот дерьмо! Тошнота вдруг подкатила к горлу, и так ясно перед глазами всплыл скрюченный труп эскимоса… не, надо думать о чем-то хорошем, вспомнить приятное, а то бля… Вове хочется сесть, приподняться, сменить положение тела, понять хотя бы размеры этого гроба… Он перекатывается от стенки к стенке, больше метра он в ширину, в длину не очень, чуть больше Вовиного роста, подползаешь чуть-чуть, и голова сразу же упирается, то голова, то ноги… а высоту, интересно? Он осторожно начинает движение вверх, но почему-то усиливается тошнота, мешок щекочет нос и Вова заходится в чихе… а теперь сердце стало бешенно колотиться, прямо выпрыгивает, тьфу ты! Он опять дышит ртом, опять не хватает ему воздуха… все! Не надо ему дергаться, когда тихо лежишь, легче переносится…

Вова думает о хорошем… он представляет запах теплого конского навоза, вот он входит в конюшню, гладит теплые бока… однажды у них с Еленой там было на сене… а Гера, его любимица, приревновала и давай ржать… А протопить зимой баньку и всласть попариться… и плюхнуться в снег! А как они славно рыбачат с Мелетием и Анфимом… а их шалаш… прошлым летом Вова устроил на берегу шалаш, он с детства мечтал о таком, а как понравилось Елене! И в шалаше они часто… а выглянешь — красота, все вокруг розово-голубое, потому что цветет золототысячник и эти огромные васильки… или как их там… она ему говорила… Васильки колышутся, теплый ветерок обдувает разгоряченное тело, так хорошо… а она прикасается кончиком языка и он опять встает… и теперь Вова входит в нее сзади, так глубоко… ее волосы шелковисто рассыпаны по спине, пахнут ромашкой… ее груди напряглись в его руках… что это?

Вова возбудился, член поднимается… а он освободит руку, да, это идея… сейчас он подрочит, и тогда уж точно сможет заснуть…

Ему снится бескрайний луг и ясное синее небо, ни облачка, ни ветерка… Вова знает — где-то там, среди травы, есть озерцо и можно напиться. Он разводит руками высокие стебли, идет… и вдруг чувствует, что кто-то наблюдает за ним, ага, это же кот Спиридон! Рыжий толстяк крадется сзади, след в след, что за игру

он затеял? Вова останавливается, ну, чего тебе? А котяра спокойно уставился на Вову, смотрит неотрывно… Глаза у кота все еще больные, припухшие, чем только Елена не промывала ему… и от этого взгляд Спиридона кажется презрительным и надменным, раздражает Вову этот мокрый бесцветный прищур… "Мя-а-уу"" — кот явно чего-то хочет, но чего… да блин, так это ж не кот! Господи, это же его маленькая дочурка лежит прямо в траве! Совсем голенькая и беленькая, как мог он принять ее за кота?! Наверное, она только что родилась, где же Елена? А, неважно… какое беззащитное тельце, боже ты мой… надо скорее отнести ее в дом. Вова берет ребеночка, с ума сойти, она помещается на одной его ладони, и лежит так тихонько, совсем не плачет, только смотрит, моргает… что за черт… у девочки глаза точь в точь, как у кота Спиридона, бесцветные, с острыми зрачками-иголками, и слезятся, и тот же неприятный прищур… Вову передергивает, почему же это случилось? Неужели заразилась от кота? Взгляд не детский, внимательный… а кожа прохладная и немного скользкая… он хочет взять ее поудобнее, но что-то… что это?! Ужас пронзает Вову, малышка вдруг начинает расползаться в его руках! Как будто все косточки отдельно ходят под кожей… как будто мясо не крепится к ним… как вареная курица в супе! Белая кожица сходит кусками, липнет к рукам, Боже! Вова истошно орет, стряхивая с рук эту мерзость, но это же дочь, он понимает, понимает!! Такая боль внутри, такая тоска! Горячие слезы текут по лицу, он воет и знает, что сейчас его сердце лопнет…

А-а-аааа!! Вова вскакивает и сильно бъется головой о крышку гроба. Но он не понимает, где он находится, и думает — вот оно, умер, поэтому так темно… он хочет сбросить то, что на лице, что мешает ему дышать, но он… связан?! Руки примотаны к телу, совсем не крепко… можно вытащить, так, так… и сверху надета какая-то дрянь, но не повернуться тут, ужасно тесно… он ворочается в этом пространстве, вот так, можно приподняться немного… Вова не думает… думает только его тело, оно пытается снять мешок… фу-у… наконец-то…

Он помнит, что ему было плохо, что плакал, что умирал… теперь вспоминает размякшее тельце, свою дочку, Господи! Как темно на том свете, и правда… никакого света, но почему же так тесно? Он осторожно щупает вокруг, шершавое….. черт! Это гроб?! Но когда же… ведь не могли его так быстро похоронить, похорон точно не было… сердце бъется в ушах и в глазах, мешает думать… Теодополус не улыбается, а всегда кажется, что он вот-вот улыбнется, такое сладкое лицо… почему-то оно всплывает в памяти… "Это хороший большой гроб, Владимир…" Он

вспомнил!! Его засунули сюда лазариты! Этот их обряд, голова на палочке… а Вова снял мешок, вот бля… он спал, ему приснился кошмар… он скажет, что ничего не соображал… Между ногами все мокрое, обоссался, бля… ноют все кости, какая тут сырость… сколько ж ему еще осталось?! Уроды ебанные, так издеваться над человеком, заживо закопать, бля… такая злость вскипает в Вове, ну просто хочется всех убить! Бывают же, бля, отморозки! Он пробует приподнять крышку, как же! Забили наглухо, даже не шевелится… Козлы! Всех замочу на хуй уродов! Вова понимает, что выбраться невозможно, что его не услышат, а если и услышат, только хуже будет, но не может остановиться… он бьется головой, колотит ногами, сдирает в кровь пальцы… Выпустите меня отсюда! Козлы! Суки вшивые! Ебал я вашего вонючего Лазаря!!..черные волны подкатывают к глазам… сквозь них так мало остается, так плохо видно. А, вот кусочек голубого, это же небо… Волны маслянные, плотные, мерно шумят. Вова знает — он маленький, а вокруг все большое… большие иногда склоняются над ним, но гораздо лучше, когда их нет. Они слишком большие… Сос-на… сос-на… он повторяет, он знает — сос-на, он всегда говорит сос-на… и снова волны бегут к нему, так тяжело отогнать их назад, а зачем… так надо… лучше закрыть глаза… и тогда никаких волн уже нет, только одна темнота… Волны. Такие они разные. Бывает, что на них есть белые гребешки, что-то белое мельтешит… а бывает, что и нет… а бывает, что-то вдруг появляется вдалеке, и оно вроде бы все ближе и ближе… но никогда нельзя рассмотреть… он вглядывается, он хочет понять, но нельзя. Он-то маленький. Он тоже будет летать, как эти, как же их… они носятся по небу быстро-быстро, им хорошо… а большие неповоротливые, тяжелые, даже смотреть на них тяжело. Когда они приближаются, земля под ними дрожит. Они приходят и звучит "еда!", ему не нравится как это звучит, плохо… «еда». Он чувствует, что это очень опасно, что его хотят сделать большим, для этого и нужна «еда». Он любит, когда дают что-нибудь мокрое, когда можно глотать… а если проталкивают во внутрь, то ненавидит, делает а-а-а-а-а…! Плюет. Маленькие и быстрые, тюль-тюль-тюль-тюль… Сос-на, сос-на… наз-а… на-зарь, на-зарь, на-а- зарь… Почему они опять? Окружили его большие, так неприятно звучат, машут своими, этими… которыми дают «еда», чего ж они машут? Думают, что полетят, как маленькие? Не… не выйдет у них, слишком тяжелые, очень большие… или они показывают, как ему надо делать? Тюль-тюль-тюль-тюль-тюль! Не… ни с места, только устал… А этот большой такой странный, прижимается передом, и такой толстый у него там нарост, что-то напоминает… скорей бы

ушел он, а то уже начинаются волны, пока еще не сильные, но шумные какие-то, в голове от них шум нарастает… а иногда волны не накрывают его, и это так приятно. Они остаются где-то внизу, там себе перекатываются… а он смотрит сверху и даже как будто над ними летит, но очень уж медленно, не выходит быстрее…

Вове надоело сидеть, надо размять ноги… он встает, ходит туда-сюда, он не видит преграды, но она всегда появляется у него на пути, и надо поворачивать обратно… так-так-так… сос-на… о-о-о, опять пришли… зачем его ведут? Да сколько ж можно его трогать, как он устал от них…

Фр, фрр… и-и-иифр! Вова трясет головой. Он подражает другому большому, которое фыркает. Как хорошо! Оно везет его, а он лежит на сене, смотрит на небо… се-но…се-но… так хорошо пахнет… только светоч опять спрятался, ушел в это… это… почему надо прятаться? Так хорошо, когда он на небе, сразу такая радость… Он теплый. Он маленький… Све-точ, све-точ… све-точ-ла-зарь-све-точ-ла-зарь… Вова видит светоч сквозь белое, так на него можно смотреть, даже не щурясь… ну что еще? Куда его тянет большой?

Вова и большой идут теперь ногами, хрус-хряст, хрус-хряст… ходить хорошо, особенно если нет преград и за ногу не привязали… большой впереди, расчищает дорогу от веток и все время оглядывается…

Теодопулос ведет Вову поближе к людям, авось подберут, пожалеют… Три месяца лазариты продержали Владимира, и никаких улучшений… скоро начнет холодать, а он в доме не может, воет и бьется головой… может лекарства какие бывают, чтоб не так бился. Да и чужой он им, о-хо-хох… вот беда, Елена так голосила… а что поделаешь, если он никак не приходит в себя, бедолага…

Све-точ… све-точ… ла-а-азарь….Вова весь наполнен светом, и он наконец-то один… маленькие летают и прыгают вокруг, стрррр-тртрр… зззжжжжж…. стрстрсстр….некоторые даже сидят прямо на Вове. Другие маленькие. Там, внизу, есть большие, там есть это… откуда выносят еда и где так тесно, так неприятно и светоч не видно, он не любит… Но еда не несут почему-то. Хочется еда, чтобы можно глотать…

Вова оглядывается — никто не подходит к нему, странно… они что, не видят, что он тут сидит? Светоч не печет кожу и чтобы посмотреть на него, уже не надо задирать голову, и не щипет глаза… ну да, светоч прямо перед ним. Почему нет еда?! Вова обеспокоен, он изо всех сил раздувает щеки и ждет… теперь он

стал больше, они должны его заметить! Когда уходит светоч и на небе появляются маленькие, которые не летают, он должен лежать там на мягком… почему его забыли? Маленькие стоят и даже не шевелятся, ну может быть совсем чуть-чуть… но они такие красивые, он любит их, когда он лежит на мягком, у него внутри происходиттакое урр… ууррррч… он слушает эти свои звуки, и волны идут прямо с неба, закрывают ему глаза, а маленькие все наверху видны сквозь волны, так бывает хорошо… а сейчас внутри плохо! Почему они не идут?! Он не любит еда, кричит, плюется, иногда делает тюль-тюль-тюль… или вертит головой быстро-быстро, чтобы они отстали… зато потом сразу хорошо, он любит это ууррррч… что же происходит, как же так?!

Вове надо к большим, он поднимается, ай-я-яй… волны бъются, толкаются, мешают нормально идти… о, что он видит! Совсем рядом ходят большие с хвостом, такие не носят еда, но пусть позовут тех других! Ммм…умммммыы… А-а-а-а! — Вова бежит к ним, скорей, скорей, как заплетаются ноги… аммм-ыыыуу… он хватает большого за хвост, помоги, помоги!

Вова получает копытом в затылок, падает…

5

Над Вовой ночь — черная чаша усыпана звездами, и даже есть млечный путь… А в голове у Вовы ясно, как днем, светло и празднично… хотя немного побаливает. Вова лежит на лугу, кони ушли… он не помнит коней, не помнит удара, он улыбается. Бляя-аа… какая же благодать… поскорей бы рассвет, ведь ему надо к людям… Вова знает — его послал Светоч-Лазарь, чтобы он всем рассказал эту весть… весть… да, у него есть благая весть, Благавесть! Он Лазарь Четвородневный, Светоч-Лазарь… да нет, что это он… какой он Светоч-Лазарь?! Он же его посланец… Светоч высоко и не может спуститься, поэтому он послал Вову. Светоч-Лазарь главный на небе, а Вова тут, на земле… его будут слушаться, поклоняться ему, потому что он один знает, как надо, а они нет… а он будет всех любить, даже плохих, и они станут хорошими, если будут делать, как он скажет… Вова им объяснит, что надо снести все дома, посносить их на хуй, чтобы не было никаких крыш, в натуре, только небо…

Вова встречает рассвет, Светоч-Лазарь… ооооо!!! Царь всей земли! Как медленно и величаво он всходит… он приветствует своего посланника Вову! Улю-лю-лю-люуууу!! Вова машет Светочу руками, прыгает на лугу… Все лежат под ужасными крышами, не видят Светоч, вот козлы же, бля, несчастные… ну как можно быть такими уродами? И вдруг какие-то звуки, длинные такие,

тягучие… они стелятся по влажной траве, прямо дрожь во всем теле. А за ними посыпались другие — быстрые и перекатистые, что-то очень знакомое, что-то… Вова вспомнил! Колокольный звон! Так звонят в церквах, там молятся Богу… Богу?! Но это же смешно, где там Бог?! Смешно, смешно, он смеется, о-ха-ха! Как же они ошибаются… там внутри душно, ужасно муторно, пахнет чем-то таким… сладко пахнет, воздуха нет. И еще горят эти, как их… и дым, и какие-то скатерти… зачем они это? Вова не помнит… может быть думают, что это горит Бог? Ошибаются, ошибаются! Светоч-Лазарь дает им огонь, все им дает, а как же… но эти их маленькие огонечки не Бог! Бог — это Светоч-Лазарь, да, так его звать, и он один, он главнее всех, он на небе! Во веки веков! И это… Лазарьвышелизпещерыобвитый погребальнымипеленамилицоегобылообвязаноплатком….главные монастырикипраставроуникиккосагиоснагоревпредместьяхпафоса… Развяжите его, пусть идет!.. что это с ним, Вова сам уже не понимает, что говорит… а, Лазарь! И Вова его посланец… Эти церкви тоже надо разрушить, чтобы камня на камне… эх, бедные вы люди… Вова идет на колокольный звон, уже виднеются купола… туда, туда, а Светоч-то! Встал прямехонько над ихней церквью, он следит, чтобы Вова все делал правильно…

Вова входит под крышу, темно, жуть… ага, этот запах… Внутри так тихо и тяжело, как они тут могут находиться… но людей немного… один мужик напялил длинное платье и заунывно поет, седая борода торчком… старухи стоят на коленях и тюкаются то и дело головами в пол… душно, гадко… от спертого воздуха сразу так ноет голова, как же он будет… а! Надо выманить их отсюда наружу! А это что еще там…а-а-а-ааа!! Вова не может сдержать крик, так ему страшно. Горячий пот по спине, Вова закрывает лицо ладонями, страшно, страшно! Там прибит голый человек, худущий, перекрученный, весь в каплях крови, голова безжизненно висит… что они сделали, зачем?!

Вова бежит вон из церкви, скорей, скорей на воздух! Фу… как же он устал кричать, там колодец, он хочет пить…

Вова жадно пьет из ведра, вода тухловатая, теплая, но ничего… видит — к нему приближаются люди, ага, сами идут, хорошо… впереди тот бородатый в длинном платье, как женщина прямо… а пузо-то отрастил, еле ходит… остальные держатся подальше, ишь, сами вышли, это Светоч ему помог, не иначе…

— Люди, слушайте мою Благавесть! Это говорю вам я, Вова, посланец Светоча-Лазаря, царя небес и земли! Посмотрите, опомнитесь! Вот ваш Бог, а эти огоньки — полный фуфел в натуре! Ну не западло вам шариться в духоте? Там же воняет… как параша, бля! Все надо разрушать, все! Главное — уничтожить

крыши, потому что крыши закрывают Светоч, короче, он послал меня вам это сказать, бля буду…

Вова волнуется, торопится сказать главное, в голове у него еще какие-то слова, много разных слов, которые он не понимает… наверняка это Светоч-Лазарь внушает ему, только Вова не успевает, он не может подвести Светоч, не может… он набирает в грудь побольше воздуха и продолжает:

— Люди! Я буду теперь вашим Богом, я вам все объясню! Надо встречать Светоч-Лазарь каждый день когда он выходит, каждый день! Надо сломать все дома и все крыши! На хуй все! Под крышами темно и нельзя! Там хуево… смерть… смерть… и тогда
иисуссказалимпрямолазарьумернопойдемкнемутогдафомаиначеназыва
гробу… гроб… там гроб! Крыша-гроб! Крыша-гроб! Сарай! Святилище! Лазарь — друг Христа! Друг… так начертано! Да! Лазарь Четвородневный! Так начертано…
восемнадцатьлетпрослужилвхрамескончалсявшестьдесяттретьемгоду
отрождествахристовародилпятерыхдетей…
главныемонастырикипраэто…

Светоч уже внутри, он вошел в Вову, значит, так надо, Благавесть… теперь можно не думать, как правильно им объяснить, Вовина речь льется сама собой, без всякого напряжения, это сам Светоч-Лазарь говорит его ртом…

А люди потихоньку подходят, слушают… Вова доволен, но он подустал уже, попить бы… попьет. Люди ничего, подождут, никуда не денутся… он идет к колодцу, прикладывается к ведру…

— Тебя как звать, а мужик?… Ты речь понимаешь? Что я говорю, понимаешь, а мужик?

Вова не понял, это у него что ли спрашивают? Ну да, этот их главный обращается… и те сзади что-то бубнят, обрывки фраз доносятся до него…

— … бесноватый, но вроде спокойный… про Христа даже… отец Василий поможет, только кто его туда… если только до Казачинского довезти, а потом… не, ничего не соображает… не реагирует… а может и не бесноватый он, просто тюкнутый… бес это, к отцу Василию надо… да из дурдома он сбежал, надо позвонить в Енисейск…

Бородато-пузатый подходит к нему вплотную, смотрит ласково, где-то то он уже что-то такое… что-то было…

— А сам ты откуда? Где живешь? Ну… откуда пришел, не помнишь? А имя есть у тебя? Как зовут… имя? Ну, Николай, Иван, Василий, имя свое не помнишь?

— Почему не помню? Я Вова.

Вова удивлен, странный какой-то этот в платье… одежда странная и сам тоже…

— Ну вот, Вова! Молодец… а живешь где? Где твой дом?

— Дом — зло, смерть, нельзя под крышей! Дома надо разрушить!

— Хорошо, хорошо, я понял, ты успокойся… ты из каких мест, Вова? Ну… город, село… как называется? Где ты родился?

— В Калачинске родился, а что?

— Ты смотри, все знает… молодец. В Калачинске. Под Омском, значит, да… далековато отсюда. А теперь где живешь?… Ну вспомни, Вова, как ты здесь очутился?… А фамилия твоя какая? Знаешь свою фамилию?

Вове надоело слушать бородато-пузатого, совсем дурной, ну точно как баба — что, почему, откуда, как зовут… он должен продолжать Благавесть, зачем ему, бля, мешают? Заткнуть бы хайло этому шурику, чистая маргаритка, хуе-мое, ути-пуси… главный тут выискался…

— Ты это, мужик, короче… кончай франзать, мне с народом говорить надо.

Люди!! Откройте глаза свои, прозрейте же в натуре! Над вами Бог, каждый день он это… светит вам, короче! С небес! Он Светоч-Лазарь! А я его единственный посланец, он послал меня сказать Благавесть! Я это, короче… как же это, бля…

— Ты, Вова, не волнуйся, мы же все понимаем. Ты так интересно рассказываешь, вот только народу тут маловато, тебе в деревню надо пойти, там — другое дело… Пойдем, поешь там, отдохнешь с дороги, сразу же силы появятся и ты…

Опять этот влез… хотя в чем-то он прав, Вова бы поел. И насчет людей тоже… а что, и правда пойти в деревню… там у них дома, надо будет все разрушить…

— Церковь тоже надо сломать! Она не нужна, церковь не нужна!

— Само собой… обязательно сломаем, только не сейчас, попозже… сейчас тебе нужен отдых, Вова. Ну так как? Пойдем в деревню?

— Ладно уж… пойдем.

Вова понимает — он нужен людям, раз ему оказан такой почет. Да, он точно их царь. Лежит на душистом сене, покушал вкусное… но этот окровавленный, прибитый гвоздями, все не выходит из головы. Пузатый говорит, что не настоящий… мол, из дерева вырезан и раскрашен… даже если так, на хуя это было делать? Чтобы напугать Вову до смерти? Непонятно… наверняка сам же и вырезал, противный он, явно что-то замышляет, не

нравится он Вове, а остальные к нему близко не подходят, слишком уважают, это правильно… пора вставать и проповедовать Благавесть, надо ломать дома, хотя бы начать можно… но глаза ужасно слипаются, только откроешь их — тут же веки ползут назад… а во всем теле так приятно и тепло… и Светоч-Лазарь ушел за облака, давно уже не показывается, что это значит? Может быть он разрешает Вове немного поспать, чтобы с новыми силами… а-а-а-а… Вова сладко зевает, в животе сыто урчит… еще бородатый сказал, что не надо торопиться, что скоро приедут самые главные люди, они приедут издалека, даже главнее бородатого… чтобы тоже послушать Благавесть. Это очень важные люди, все их слушаются, а они хотят увидеть Вову, потому что он все равно их главнее… он посланник… а-а-а-а-аа… И они скажут всем делать, как Вова им объяснит… как же хорошо пахнет сено, как вообще хорошо… и эти теплые красные волны убаюкивают его, вверх-вниз, вверх-вниз… ух ты, это Светоч, наверное, ему посылает, чтобы Вова не сомневался…

Шур-шшир, шур- ши-ирр, шшш- шу-ур… странные звуки, Вова силится открыть глаза, но сон не отпускает… Вова ворочается, ага, сено, люди… он помнит. Ого-го!

Светоч-Лазарь уже так высоко, а он проспал, бля, не встретил! Сон улетучился мгновенно, Вова вскакивает. Светоч обиделся?!

— О Светоч-Лазарь! Я иду! Я буду говорить твою Благавесть! Люди!

Вова оглядывается, людей нигде не видно… только опять это ш-шур, шу-ур, шырр… о бля!! Да тут… да что же… строят дом?!

Вова видит. Это совсем рядом. В горле зудит, рот пересох, но он чувствует, как обильные слюни стекают по подбородку, и откуда их столько берется… он хочет крикнуть, но не может, только натужно-писклявое а-а-ыыы, ы-у-у… строят… козлы… чуханы рогатые… кто разрешил?!

Вова как вкопанный… они делают крышу, копошатся там наверху… а один внизу… шш-ш-у-ур-шыр-р-к… рубанок! Он вспомнил! О-о-о… белое вьется, отпрыгивает, падает вниз, двор усыпан этим… стружка! Ветер гоняетт стружку по земле… дом, дом, дом… крыша-гроб, крыша-гроб… Черная жижа хлюпает перед Вовой, откуда она взялась, эта жижа? А где Светоч-Лазарь?! Каково ему это видеть?! Ужас! Черное наползает на Светоч, вот-вот сожрет… стружка, стружка… А-а-а! Горит дом, их дом горит! Вова несется земля-трава-земля-трава… горелые хлопья лезут в нос, уже близко-близко… горит, горит! Черное летает вокруг, люди смотрят… там велосипед-марки-клюшка… Клюшка! Откуда вдруг з-з-з-з-ззз…?! Кто-то влез к нему в голову, иззз-з-з-з… это

мама и кресло, мамаикресло… не отдерешь лучше не трогать… белые зубы и все… белые-белые… Стружка! Батя похож, батя-то похож еще немного… зыз-з-з-зззз… голова на палочке, голова на палочке! Нос- гроб, нос-гроб… Лазарьпопросилгроздьвинограданожаднаястаруханедалаилазарь превратилвсольеевиноградник… ззззззззз-з-зз… А, бля! Вот же оно!

Вова видит — мужик пилит бревно. Электропила! Вова знает! Все распилить, все разрушить, распилить этот дом! Крыша-зло, крыша-зло!

— Нахуйнахуйнахуй! Аа-ы-ыы!!

Вова бежит к электропиле, ага, не ожидали! Мужик бросает пилу, испугался… Вова знает — опасно, надо за рукоятку… как он ловко подхватывает инструмент, молодец, молодец! Сейчас он распилит дом, он покажет им, кто тут главный… ай! Что такое? В ногу попал камень! Еще летит! Камнями кидаться?!

— Суки блядь! Недоебки рогатые! На хуй всех замочу!

Светоч снова вошел в Вову и говорит слова! Благавесть, Благавесть! Он кричит на людей, он машет электропилой… И вдруг — желтая вспышка в глазах… Вове попали камнем в ухо. Двор качнулся, Светоч ослепил, все куда-то плывет, о-о-о-о… Светоч… почему твой посланник так страдает?! Светоч-Лазарь спустился с небес и теперь входит в Вову, влезает… как же ему горячо…о-о-оо…а как же сам Вова? Куда ему теперь…

Пила воткнулась в живот, Вова падает, хлещет кровь, кишки валятся прямо на землю, больно-о-О-О-О-ООО!

Вова видит — небо над ним темнеет… там Светоча нет, он уже весь внутри Вовы… но боль прошла, спасибо… а это… лицо склоняется, огромное… старое… женщина…

— Так как же твоя фамилия? На могилке хоть написать… а, милок?

— Ла… яла… про…пы…

Так тяжело. Он хочет сказать, что все они прокляты, Светоч ушел от них, разве не ясно… тьма, будет тьма…

— Ты уж постарайся, милок… нехорошо человеку лежать без фамилии.

— Че… че… четверо…дневный Ла… уш…ел… те…те…вы бля…

Вова не видит уже, темно… но еще слышится вдалеке старушачий, с хрипотцой говор…

— Вот и славно, так и напишем, Четвородневный Владимир, а хто его знает… может и родичи сыщутся, да… жаль человека, кто же знал, что он такой буйный…

Кинбурнская Коса, июль 2005-го

ГЛОССАРИЙ

Амба — безвыходное положение, смерть
Аппарат — мужской половой член

Базарить — разговаривать
Барыга — наркоторговец
Бур — барак усиленного режима
Больничка — больничный режим в исправительно-трудовом учреждении

Вертухай — надзиратель
Вырубиться — потерять сознание
Вилы — неопровержимые улики, свидетельствующие о причастности лица к преступлению
Вылупиться — выйти на свободу после отбытия срока наказания
Вафлер — лицо, занимающееся минетом
Врубаться — понимать

Дупло — анальное отверстие
Дача — места лишения свободы: СИЗО; ИВС; ИТК
Дыня — голова

Желторотик — осужденный впервые
Жучка — 1: преданная сожительница вора; 2: мелкая воровка; 3: женщина легкого поведения
Жек — небольшой нож
Жлоб — жадный человек

Замочить — убить
Звонок — день окончания срока наказания
Зачалить — поймать
Зассать- испугаться
Замести — поймать
Зашухарить — выдать
Заштопать — случайно увидеть
Заткнуть хайло — вставить кляп в рот

Ксива — документ
Корифан — друг
Кистяра — проститутка.

Крабины — руки
Кум — начальник оперативно-режимной части ИТК
Карась — надхиратель в ИТК
Кодла — группа преступников
Козел — пассивный гомосексуалист, самое оскорбительное ругательство в среде преступников
Капуста — деньги
Клетка — штрафной изолятор
Кипиж — скандал

Лавэ — деньги

Мусор — милиционер
Мокрушник — убийца
Медвежатник — взломщик сейфов
Молявка — неопытный молодой преступник
Маранути — убить
Мерин — преступник, не пользующийся аворитетом в своей среде
Мутила — лжец
Маргаритка — пассивный гомосексуалист

Накидыш — нож с выбрасывающимся лезвием

Отмотать — отбыть срок наказания
Откинуть копыта — умереть
Очко на ноль — сильный испуг
Обшманать — обыскать
Отморозок — Безнравственный преступник, без тормозов.
Отыметь — совершить половой акт без согласия партнера

Припаять — вынести приговор с лишением свободы
Пришить — убить, зарезать
Пыжик — наркоман
Прибор — мужской половой член
Пустить парашу — 1: ныть, бояться 2: сплетничать
Перекантоваться — пересидеть в безопасном месте
Пластилин — гашиш
Параша — ведро, бак для нечистот

Раскладка — показания
Расклад — некоторая сложившаяся ситуация
Раздухариться — вести себя беспокойно или скандально
Расписной — имеющий татуировки

Рог — тупой человек

Стремно — опасно
Ссучиться — предать, изменить
Свинтить- сбежать
Скребок — нарушение режима в ИТК

Темняк — ночь
тундра — глупый человек

Фуфлыжник — пассивный гомосексуалист
фуфлыжный — плохой
Фуфло — анальное отверстие
флюшки — ноги
Франзать — красоваться, показывать себя с выгодной стороны
Фраер — человек, не имеющий к делу никакого отношения

Цапли — руки
Цигорь — вор

Шаркнуть хвостом — умереть
Шнифты — глаза
Шестерить — пресмыкаться перед кем-либо
Шустряк — сборщик денег для общака, из числа молодых воров
Шмара — 1: проститутка; 2: девушка
шмон — обыск
шмонять — обыскивать
шнурок — мелочный человке

Эскимос — азиат

notes

1

retrosaria — ниточно-иголочно-пуговичная лавочка. очень волшебное место, очень.

2

cafetaria — это не советский кафетерий, а просто маленькое уличное кафе: кофе, вода, два-три вида булочек. Если в здании четыре подъезда, два из них, как правило, такие кафешки.

3

Ourivesaria — ювелирная лавочка или ювелирный магазин.

4

Nossa Senhora dos Prazeres или Nossa Senhora das Sete Alegrias — Богоматерь Праведных удовольствий или Богоматерь Семи Веселий. К весельям и удовольствиям относятся: явление ангела, рождение Христа, приход волхвов и т. д.

5

Troia — полустров, разделяющий реку Sado и океан, 50 км чистейшего песчаного пляжа.

6

Livraria — это просто книжная лавочка. И как любая книжная лавочка — просто прекрасное место.

ervanaria — травная лавочка. и, разумеется, исключительно волшебное место.

8

pastelaria — кондитерская. хорошая кондитерская — это очень, очень волшебное место.

9

fabrico proprio — эта фраза значит, что сладости делаются прямо там, при кондитерской, а не заказываются непонятно где.

берлинский шарик — bola de Berlim, круглый пончик с желтковым или заварным кремом.

11

Papelaria — очень расплывчатое название. Это может быть и магазин «канцтовары», и замечательный магазин письменно-рисовальных принадлежностей, а может быть просто газетная лавочка. И тогда это — очень волшебное место.

12

Строго говоря, фамильярное fofinha переводится на русский язык как «пышечка», но, поскольку мы склонны обозначать этим словом только пухленьких барышень, а Тереза — совсем наоборот, длинная и костистая, пусть будет "пупсик".

13

farmacia — это просто себе аптека. В Португалии они действительно закрываются на обед. И открыты — в лучшем случае- до 19.00 Но, с другой стороны, они все равно очень волшебные.

14

Loja de brinquedos — магазин игрушек. Я тут немножко нарушаю собственное правило писать только о лавочках с традиционно звучащими именами, оканчивающимися на — ia, но, с другой стороны, не могла же я принести такое волшебное место как магазин игрушек в жертву пустой формальности!

15

Крокодилица Кука — персонаж книги "Орден желтого дятла" и одноименного детского сериала

16

Ненуку — ужасная кукла-младенец в натуральную младенческую величину. Лысая, с крошечными белесыми глазками, и печатью дебилизма на опухшей морде. Почему-то производители игрушек считают, что именно так и выглядят настоящие живые дети, и производят Ненуку в промышленных количествах.

17

Florista — это, строго говоря, цветочница, но цветочная лавочка тоже называется florista.

18

Coaxar [коашар] — порт. квакать

19

Elder — «старейшина» (англ.), звание, присваеваемое молодым мормонским миссионерам в знак того, что они несут в массы волю «старейшины» — Пророка. Собственно, каждый мормон, будь он мальчик или девочка, по достижении 19 лет может посвятить себя миссионерской работе. Повинность эта длится два года, в течение которых юные «старейшины» попарно (мальчик с мальчиком, девочка с девочкой) едут туда, куда их направляет Пророк, и занимаются там ловлей душ. На табличках, которые миссионеры пришпиливают к одежде, написано Elder Такой-то. В Португалии принято путать elder и Helder (распространенное имя), поэтому все очень удивляются — с чего бы это всех мормонов одинаково зовут?

20

fartura — португальское «ярмарочное» лакомство — огромное колесо из жареного в масле теста, которое режут на кусочки и посыпают корицей и ванилью;

21

churro — «огурцы» из такого же жареного в масле теста. при помощи специальной палочки в них проделывают дырочку, которую заполняют шоколадом или вареньем;

22

caldo verde — португальский суп из вареной картошки, вареного лука и некоей травки, которая так и называется "caldo verde";

в отличие от России, португальские медсестры заканчивают высшее, а не среднее учебное заведение. сестринское дело считается почти таким же престижным, как и собственно медицина, и поступить на сестринское дело довольно сложно. хотя, конечно, не так сложно, как на медицину.